

П. М. Невѣжинъ.

ВЪ БОЮ

И

ДРУГІЕ РАЗСКАЗЫ.



БИБЛИОТЕКА
МОСКОВСКАГО
АНГЛІЙСКАГО
КЛУБА.



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
МОСКВА.—1908.

ВЪ БОЮ.

Между бумагами моего покойнаго пріятеля найдено нѣсколько рукописей, которыя достались мнѣ. Разказы эти не лишены интереса, а потому я и рѣшился напечатать ихъ. На первый разъ я печатаю „Въ бою“, а впослѣдствіи, если предлагаемый разказъ вызоветъ вниманіе читателей, мною выпущено будетъ еще нѣсколько.

Военныя дѣйствія тянулись медленно. Отрядъ нашъ, разбитый на мелкія части, неожиданно для турокъ появлялся то тутъ, то тамъ. Мы маневрировали и тѣмъ заставляли турокъ думать, что насъ больше, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ, и это было нашимъ спасеніемъ. Турки не осмѣливались сдѣлать рѣшительнаго натиска.

Бригада, въ которой я служилъ, была послана наблюдать долину небольшой рѣчки, по берегамъ которой шли безконечныя бахчи. Въ долину упиралась широкая балка, и въ эту-то балку, куда не могъ проникнуть взоръ непріятеля, поставленъ былъ нашъ маленькій отрядъ.

Одинъ подъемъ лошины, поросшій кустарникомъ, былъ очень крутъ, другой же былъ отлогъ и поднимался на значительную высоту. Наше положеніе было незавидно. Мы видѣли надъ собой небо, а вокругъ—откосы. Это было даже антиги-

гієнично, но незначительность нашихъ силъ заставляла скрывать нашу численность, и поневолѣ приходилось располагаться тамъ, гдѣ было и не совсѣмъ удобно. Мы валялись беззаботно на нашихъ логовищахъ, играли въ карты, судили и пересуживали и удивлялись только одному, какъ долго оставляютъ насъ въ покоѣ турки. Мы отпраздновали даже полковой праздникъ, на которомъ вмѣсто шампанскаго пили виноградную водку и закусывали бутербродами изъ сыра съ черными сухарями и копченой колбасы, которую, несмотря на челоуѣческія усилія, было невозможно разжевать. Впрочемъ, эта неполная ея доброкачественность не мѣшала маркитанту брать по четыре серебряныхъ франка за фунтъ.

Простояли мы такъ съ недѣлю. Ходили на рекогносцировку, на которой имѣли небольшую стычку съ черкесами, послѣ чего думали, что наступленіе турокъ будетъ не по тому направленію, гдѣ сгоимъ мы, а поэтому и не предвидѣли возможности опять перевѣдаться съ врагомъ. Однако судьба рѣшила иначе.

Въ началѣ сентября, на зарѣ, пасшійся около нашего шатра оселъ затянулъ свою унылую пѣсню. На этотъ разъ онъ какъ-то особенно жалостно, съ заливомъ, выкрикивалъ свои дикіе звуки. Въ денщицѣй палаткѣ послышалось движеніе. Денщики стали будить одинъ другого.

— Кузьма, вставай! Слышишь, вашъ затянулъ? Гляди, тревога будетъ.

Кузьма потянулся и сталъ подниматься.

— И то, надо самоваръ разводить. Что это за каторжный звѣрь! Какъ будто ему кто приказъ

шлетъ. Все голосу не подаетъ, а чуть дѣло не ладно — и заревѣлъ. Да уймись ты, псина! Слышимъ.

Осель ревѣлъ неистово. Какъ это ни странно, но между солдатами сложилось повѣріе, что осель кричитъ передъ походомъ.

Въ одной палаткѣ со мной помѣщался неизмѣнный Мининъ и другой — нѣкто Никонъ Никифоровичъ Пановъ. Лица эти во всемъ рѣзко отличались одинъ отъ другого. Мининъ былъ говорливъ и живъ, Пановъ молчаливъ и медленъ, улыбался рѣдко, но зато иногда, безъ особой причины, разражался неистовымъ хохотомъ. Онъ смотрѣлъ на все свысока и какъ-то странно водилъ своимъ огромнымъ носомъ, что казалось для не знавшихъ его надменностью, но въ сущности это была только странная игра природы. Пановъ былъ добрый малый, но мысли его не парили высоко.

Солнце значительно поднялось отъ горизонта, когда денщики стали подавать чай, предсказывая походъ. Надо было одѣваться. Мининъ принялся по обыкновенію за Панова.

— А что, дружище Никоне, каковы были сповидѣнія?

— Никакихъ.

— Ну, вотъ, забыть вѣрно! Вѣдь не безъ сна жъ ты какую-то Агаѣю звалъ, да такъ жалостно... Вы не слыхали, Михаилъ Петровичъ?

— Отвяжитесь вы отъ меня!

— Я на него въ большой претензіи. Во-первыхъ, не во-время Агаѣю вспоминать, а главное — хранилъ. На зарѣ съ осломъ такой дуэтъ сочинили, что угородишь!

Пановъ высокомерно окинулъ Минина взглядомъ, повелъ носомъ и медленно произнесъ:

— Дуракъ.

— Вотъ онъ сейчасъ и „дуракъ“, а ужъ не я ли поучаю его уму-разуму. Говорю: Никоне! водки не пей, на болгарокъ заглядывайся меньше, въ стуюлку не играй, ибо все это пагуба. А онъ даже и во снѣ! Скажите же, кто изъ насъ глупъ? О, распроклятый ты, Никоне, исчадіе тундры безлюдной!

Пановъ такъ же невозмутимо обвелъ Минина взглядомъ и такъ же спокойно произнесъ:

— Глупъ!

— Что же это вы, Никонъ Никифоровичъ, вчера такъ поздно пришли въ палатку? — спросилъ я.

— Играли и немножко того... выпили... Скучно!

— Большая игра была?

— Сѣли на серебро, а потомъ пошло въ ходъ и золото.

— Во что?

— Мокали (макао). Шершинскій двѣсти золотыхъ выигралъ.

— Играть-то играйте, а вотъ пить-то не слѣдуетъ. Сами жалуетесь, что у васъ дизентерія.

— Лучше пройдетъ.

— Ну, не идолъ ли онъ?—вмѣшался Мининъ.— Еще вчера досталъ ему касторового масла, такъ, видно, это питье ему не по вкусу!

— Сейчасъ выпью. Семеновъ, ложку!

Неподалеку послышался топотъ скакавшей лошади. Это казакъ скакалъ къ шатру бригаднаго командира.

— Маменьки мои, выступленіе! Авось, изъ этой вонищей ямы выльземъ,—радовался Мининъ.

Въ это время Пановъ держалъ въ одной рукѣ ложку, въ другой—склянку съ касторовымъ масломъ. Предположеніе о выступленіи остановило его намѣреніе. Онъ опустилъ ложку и склянку, призадумался и согбѣлъ.

— Что же вы?

— Боюсь. Въ походѣ неловко. Какъ бы того.. посудите сами.

— Никоне, Никоне, пропадешь!

Издали слышалась команда.

— Ранцы надѣвай! Подъемъ!

Бивуакъ зашевелился, какъ муравейникъ. Голоса сливались въ одинъ общій гулъ, среди котораго слышалось громкое понуканье.

— Живо одѣваться! Пошелъ, выходи! Что, васъ просить, что ли! Разсолодѣли! Бѣги къ конюху и скажи, чтобъ живо запрягалъ лошадей!

Наши сборы были не велики. Панову такъ и не пришлось выпить кастороваго масла, изъ опасенія непріятностей во время движенія. Бѣлѣвшіяся палатки снимались одна за другой, и на мѣстахъ этого немудраго жилья оставались лишь желтѣвшія пятна отъ мятой соломы, служившей постелью. Роты строились, и, немного спустя, полкъ стоялъ подъ знаменами. Ждали бригаднаго командира. Офицеры, въ ожиданіи его, сходились группами. Пошли толки, предположенія, соображенія и догадки.

— Господа, какъ вы думаете, что будетъ? — любопытствовалъ прапорщикъ Лукьянскій.—Куда насъ поведутъ?

— Скажутъ, такъ и узнаешь. Что это ты какой-то растерянный?—любопытствовалъ Мининъ.

— Я? Нисколько. Я только знаю, что сегодня будетъ сраженіе.

— Или опять сонъ видѣлъ? Господа, онъ сегодня ночью писемъ двадцать написалъ, а потомъ что-то въ ладонку зашивалъ. Видите, какія-то у него все предчувствія. Смѣхъ, да и только!

Лукъянскій сконфузился.

— Что ты врешь! Какъ тебѣ не совѣстно?

— Ей Богу, господа, не вру. Писалъ, зашивалъ и все твердилъ, что у него есть предчувствіе... Ха-ха-ха!—грохоталъ Гулиничъ.

— Господа, чего онъ смѣется? — обратился Лукъянскій къ окружающимъ.—Катай, братъ, еще на грошъ!—И Лукъянскій показалъ ему палецъ.— А я тебѣ вотъ что скажу, Гулиничъ: дѣйствительно, я былъ глупъ, сказавъ тебѣ, что у меня есть какое-то предчувствіе, но больше уже ты отъ меня ничего не услышишь и жить съ такимъ нахаломъ, какъ ты, въ одной палаткѣ я не стану.

Я подошелъ къ другой группѣ. Тамъ шли толки о томъ, какой-то ѣдой придется пробавляться день, такъ какъ запасы наши истощились.

— Господи Боже мой, хоть бы до турецкаго лагеря добраться,—замѣтилъ Лавровъ.—Хоть бы плову съ баранинкой поѣсть да кофейку хлебнуть...

Мининъ поспѣлъ и тутъ.

— Это вы насчетъ плову? А водка-то у васъ есть? Такъ давайте мы теперь выпьемъ, а туда закусывать пойдемъ.

— То-то водки нѣтъ.

— Ну, такъ я съ вами не знакомъ. Вотъ, господа, у меня ротный—заботится о насъ: и водчишка, и чайшко, и закусишка. Всѣ сии благородные продукты навьючены на неблагородное животное. Какова эта картина? Маменьки мои, да вотъ онъ и самъ.

При этомъ Мининъ покушался меня обнять, но я оборонился саблей въ видѣ рогатины.

Между солдатами также начались разговоры, но командиръ полка прикрикнулъ:

— Это что за базаръ? Господа ротные командиры, приведите свои части въ порядокъ.

Послышались голоса ротныхъ командировъ.

— Стрѣлки, что вы застрѣляли языками-то!

— Эй вы, иль на молотьбу пришли? Молчать!

— Я васъ уйму!

Съ лѣваго фланга подѣхалъ верхомъ бригадный командиръ.

— Здорово, молодцы!—громко крикнулъ онъ.

— Здравіе желаемъ, ваше пр-во!

— Господа офицеры, впередъ!

Офицеры вышли.

— Господа, — началъ генералъ, — я получилъ приказаніе двинуться съ четырьмя батальонами и взять деревню, занятую турецкими войсками, но какъ велика ихъ сила — неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ мы должны постараться овладѣть ею.

При этихъ словахъ сердце болѣзненно сжалось. Замѣтно было, какъ блѣдность подернула многія лица...

Съ того момента, какъ мы услышали, что намъ предстоитъ бой, всѣ словно переродились. Одинъ какъ-то странно съежился весь, обратившись въ

слухъ, другой опустилъ въ землю глаза, у третьяго вырвался невольный вздохъ, и онъ съ смущеніемъ поглядывалъ вокругъ.

Бригадный командиръ продолжалъ:

— Не буду напоминать вамъ о вашемъ долгѣ. Вы показали недавно, что понимаете его и не останавливаетесь передъ опасностью, какъ бы велика она ни была.

Мы приложили руки къ козырькамъ и поклонились.

— Итакъ, по мѣстамъ—и съ Богомъ!

Начались распоряженія. Два батальона перваго полка съ четырьмя девятифунтовыми орудіями были двинуты въ обходъ деревни. Два батальона нашего полка съ четырехфунтовыми орудіями должны были тронуться, черезъ полчаса, прямой дорогой. Остальные батальоны, имѣя при себѣ по четыре орудія каждый, заняли высоты, прилежавшія къ долинѣ рѣки, для охраненія тыла.

Наконецъ мы тронулись. Пройдя съ версту, мы вышли въ долину, гдѣ протекала небольшая рѣчка; на обоихъ берегахъ ея виднѣлись безконечныя бахчи. Виднѣлись горы, между которыми тянулась лощина съ идущею по ней дорогой.

Въ какомъ разстояніи находились отъ насъ турки, мы не знали, такъ какъ казаки, бывшіе ночью въ разъѣздахъ, не обнаружили непріятеля.

Вдругъ изъ строя раздался голосъ рядового Ефимова:

— Ваше благородіе, эва на той горѣ пушки накатываютъ. Во-онъ гдѣ!

При этомъ говорившій показалъ на высоты, отстоявшія отъ насъ верстъ на пять.

Всѣ стали всматриваться, но никто ничего не видѣлъ.

Начались насмѣшки.

— А что, Ефимовъ, приставь-ка кулакъ къ глазу да посмотри, что теперича салтанъ турецкій дѣлаеть. Можетъ статься, въ самый разъ разглядишь,—зубоскалить ротный балагуръ Сидоровъ.

Ефимовъ обидѣлся.

— Салтана-то не разгляжу, а тебя, осину, вижу. Вамъ дѣло говорить, что вкатываютъ!

— Ребята, не трожь его, у него въ глазахъ пушки турецкія,—того и гляди, что выстрѣлятъ.

Ефимовъ плюнулъ, свирѣпо посмотрѣлъ на смѣющихся и, поглядывая на зловѣщую гору, бормоталъ про себя:

— Постой же вы, черти! Вамъ теперь смѣхъ, а не былъ бы грѣхъ... И какъ не разглядѣть,—чего чище видно.

Чтобы переправиться чрезъ рѣчку, мы повернули направо, вверхъ по ея теченію, и дошли до селенія, оставленнаго жителями. Нѣсколько домовъ почему-то были пощажены, а большая часть деревушки представляла груды угля и пепла. Перейдя черезъ мостъ, мы построились въ боевой порядокъ и двинулись по лощинѣ. Жара была ужасная. Видъ солдатъ показывалъ, что, несмотря на привычку и выносливость, они страшно томились отъ снаряженія. Его составляли ранецъ съ укладкой, скатанная шинель черезъ плечо, шесть фунтовъ сухарей въ холщевомъ мѣшкѣ, сорокъ восемь патроновъ, вѣсомъ въ четыре фунта, двѣнадцать патроновъ въ карманѣ и ружье въ четырнадцать фунтовъ вѣсу, — вотъ что приходилось

нести солдату, идя въ предполагавшуюся стычку. Но тяжесть эта переносилась безропотно. Лишь изрѣдка слышалась мольба:

— Господи, хоть бы тучка-то нашла, а то ишь пекло!

Двигались мы медленно изъ опасенія наткнуться на засаду. Хотя впереди насъ шли разѣзды и патрули, но откосы горъ были покрыты такой густой растительностью, что осмотрѣть все не было возможности. Медленность движенія радовала солдатъ. Мы шли съ остановками, которыя дѣлали подъ громадными одиночными грушевыми деревьями, дававшими намъ тѣнь и плоды. Вокругъ каждаго дерева валялось множество опавшихъ грушъ. Сколько радости выражали солдаты, набирая полные карманы этого неважнаго лакомства, которымъ можно было утолить и жажду.

— Ну, братцы, не зѣвай, — раздавались тихіе голоса, — будетъ чѣмъ турку угощать; а то вѣдь въ обиду дастся, коли съ пустыми руками придемъ!

— Знамо, дастся. Тоже вѣдь, небось, сладенькое-то любить.

— Чего еще! когда по пяти хозяекъ держать.

— Это ты вѣрно. Плутъ народъ!

— Одно слово—бабникъ!

— Загребай, загребай, нечего лясы-то точить!

Но вдругъ грянулъ вдали выстрѣлъ, и граната пронеслась по направленію къ оставленнымъ нами позиціямъ.

Мининъ, стоявшій на флангѣ, не выдержалъ и быстро подошелъ ко мнѣ.

— Имѣю честь поздравить съ началомъ.

— Благодарю. И васъ также.

— Маменьки мои, какъ славно забираетъ за сердце! Пойду спрошу Никона, какъ онъ.

И онъ зашагалъ къ Панову.

— Никоне, какъ ты? Имѣешь мужество? Я на тебя надѣюсь.

— Отстань. Хоть теперь шута не ломай. Глупо!

Тутъ началось торжество Ефимова.

— Что, шмары, не вкатывали пушки? Туда жъ, смѣются! Протерли бы бѣлмы-то! А то „салтанъ турецкій“! Тебѣ бѣ надо кулакъ къ глазу-то приставить.

— Ну, братъ Ефимовъ, не серчай, твоя взяла!

Вдали послышался снова выстрѣлъ, и граната прожужжала надъ нашими головами, направляясь на нашу батарею, расположенную на высотѣ и оставленную при одномъ изъ батальоновъ, который долженъ былъ охранять нашъ тылъ.

Видно было, какъ она лопнула, немного не долетѣвъ. Наши четырехфунтовки стали отвѣчать, и ихъ маленькія гранаты также просвистали надъ нашими головами, но, сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ и, вѣроятно, убѣдясь, что снаряды не достигаютъ цѣли, батарея съѣхала съ позиціи и укрылась за горой.

Турецкія орудія смолкли. Смолкли и мы и даже какъ-то притаились. Видно было, что каждый ушелъ въ себя, переживая минуты не менѣе тягостныя, чѣмъ во время боя.

Все было тихо. Сердце стало биться чаще, во рту пересохло, потъ лился, но жаръ пересталъ быть жгучимъ... Всѣ обратились въ слухъ, всѣ ждали... Но ничто не нарушало тишины, и тишина эта казалась злобѣшей. Каждый шагъ приближалъ

насъ къ тому неизбежному, гдѣ многимъ придется свести расчеты съ жизнью. Минуты казались долгими. Мы шли и шли... И вотъ передъ нами поворотъ лощины. Стоить только пройти этотъ поворотъ, и мы станемъ лицомъ къ лицу съ врагомъ.

Роты остановились. Генераль подозвалъ къ себѣ батальоннаго и полкового командировъ и сталъ дѣлать распоряженія. Стрѣлковая рота была послана въ цѣль и быстро двинулась впередъ.

Прошло нѣсколько минутъ, и турецкія пули зашвистали, но звукъ ихъ полета былъ тихъ и мягокъ. Ясно было, что выстрѣлы дѣлались издалека.

— Видите, чертовка, какъ ласкаетъ!—говорилъ Мининъ. — Вотъ она, вотъ она!.. Ссс... И не подумаешь, что ушибетъ.

Наша артиллерія поднялась на пригорокъ, чтобъ обстрѣливать лощину, бросая снаряды черезъ наши головы, но не успѣла она сняться съ передковъ, какъ граната лопнула невдалекѣ. И это было какъ бы сигналомъ. Турки засыпали снарядами весь пригорокъ; поминутно показывался дымокъ, и затѣмъ слѣдовалъ трескъ разрывавшихся гранатъ. Стали отвѣчать и наши, но это опять были четырехфунтовки. Турецкая же батарея, наполовину состояла изъ дальнобойныхъ орудій.

Сдѣлавъ выстрѣловъ десятокъ и увидя безполезность борьбы, наша батарея прекратила огонь и снялась съ позиціи. Когда мы это замѣтили, обидно и тяжело стало у насъ на душѣ. Каждый выстрѣлъ, посылаемый нашей артиллеріей, возбуждалъ въ насъ чувство удовольствія. А тутъ,

видя неудачу нашей артиллеріи, мы сознали, что намъ предстоитъ трудное дѣло и что мы должны надѣяться только на себя. А какъ велика нравственная поддержка артиллеріи — знаетъ всякій, кто былъ въ дѣлѣ... Турецкая батарея, не видя передъ собой нашей, весь огонь обратила на пѣхоту. Одна граната лопнула недалеко отъ роты, и осколокъ ея прожужжалъ надъ моимъ ухомъ.

— Ишь ты, грѣхъ какой! Ваше благородіе, пожалуйста немножко впередъ.

— Это зачѣмъ?

— Да, вишь, близко очень пролетѣла.

— Гмъ!.. А, можетъ-быть, тамъ еще ближе пролетитъ. Ахъ, ты, глупый!

— Это такъ точно-съ, — усмѣхнувшись и, видимо, сознавая, что сказалъ глупость, согласился жалонеръ Парееновъ.

Я стоялъ съ ротою въ резервѣ, между кустами. Ко мнѣ подошелъ батальонный командиръ.

— Капитанъ, пошлите одинъ взводъ въ подкрѣпленіе стрѣлкамъ.

Я обратился къ Минину.

— Ну-съ, ведите вашъ взводъ! А вы, ребята, помни, не срами роту.

Раздались голоса.

— Слушаемъ, ваше благородіе. Богъ поможетъ, все сдѣлаемъ.

Мининъ подошелъ ко мнѣ. Мы крѣпко пожали другъ другу руки, какъ-то болѣзненно улыбнулись и молча разстались. Слова не нашлось подходящаго.

Смотрѣлъ я вслѣдъ уходящему взводу, и невеселыя думы ложились на душу. Мы еще не были

отуманены видомъ крови; еще никто изъ роты не паль отъ непріятельской пули... Но первая жертва, облитая кровью, не замедлила предстать передъ нами. Это былъ денщикъ одного изъ офицеровъ. Несчастный хотѣлъ прислужиться своему „барину“ и не остался при обозѣ, а несъ за нимъ водку, закуску и другія снадобья. Когда началась перестрѣлка, онъ хотѣлъ улепетнуть назадъ, но по лощинѣ огонь былъ такъ силенъ, что возвращаться было опасно. Онъ бросился въ кусты, но тутъ пуля и пробила ему лѣвую сторону груди.

— Батюшки,—голосилъ онъ,—за что мнѣ? Родные мои, лихо мнѣ!

— За какимъ чортомъ тебя занесло туда?

— Водку носилъ. Опять же закуска! Какъ же безъ этого? Обозъ далече. Захочется. Наша служба такая.

— Ну, ступай, ступай. Нечего тутъ разговаривать. Еще другую влѣпять.

— Помилуй же Богъ! Охъ, лихо мнѣ!

И онъ поплелся назадъ.

Какъ ни тягостно было видѣть эту жертву случая, но солдаты не упустили поострить на его счетъ.

— Что, братъ, это, видно, не сапожной щеткой орудовать да самовары раздувать? Прихвати и нашей доли.

Перестрѣлка въ цѣпи усилилась. Замѣтно было, что полувзводы отъ двухъ ротъ вступили въ огонь.

Я съ оставшимися тремя взводами стоялъ въ кустахъ около дороги, за небольшимъ пригоркомъ, такъ что пули свистали надъ нашими головами.

не принося еще никому вреда. Нервы были сильно напряжены; мы ожидали, что вотъ-вотъ раздастся команда, и мы, выйдя изъ полузакрытія, очутимся подъ тѣмъ свинцовымъ дождемъ, который разсѣкаетъ воздухъ сверху и съ боковъ. Какимъ-то страннымъ взглядомъ смотрѣли на меня солдаты, и мнѣ казалось, что и я на нихъ никогда еще такъ не смотрѣлъ.

Анализируя отношенія начальника къ солдатамъ, невольно изумляешься, какая метаморфоза совершается въ нихъ подъ огнемъ.

Въ мирное время начальникъ смотритъ на солдата какъ на строевого нижняго чина. Но при словѣ „война“ — это существо вырастаетъ, и къ нему начинаютъ относиться какъ къ человѣку, совершающему большое дѣло. Когда же раздается первый выстрѣлъ, начальникъ и солдаты — уже соратники, идущіе рука объ руку. Одинъ ведетъ, другіе идутъ за нимъ умирать, исполняя святой долгъ. Отношенія дѣлаются мягче, дисциплина не слабѣетъ, а напротивъ, каждый солдатъ, смотря въ глаза своему начальнику, желаетъ какъ бы потерять волю, слѣпо исполняя приказанія. Они сливаются воедино...

Пановъ сидѣлъ около меня, охвативши лѣвой рукой колѣно, а правой поглаживая свою бородку. Онъ былъ блѣденъ и молча смотрѣлъ въ землю.

— Итакъ, Никонъ Никифоровичъ, къ расчету стройся, — обратился я къ нему. — Не была бы эта роща послѣднимъ мѣстомъ нашего отдохновенія. Ишь, жарятъ!

— Да, нехорошо. Впрочемъ, что жъ! За тѣмъ шли. Только бъ живымъ не захватили, а то вонъ,

говорять, носы рѣжутъ, всякія безобразія дѣлають. Свинство! Ужъ если конецъ—такъ сразу. Да мы еще поправимся! Смотри у меня, ребята, по грибы никому не ходить, а то, коли замѣчу, достанется хуже, чѣмъ отъ турокъ.

Въ рядахъ заговорили вполголоса:

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, зачѣмъ же!

Въ это время шагахъ въ пятидесяти сзади насъ лопнула граната. Осколки со свистомъ разнеслись во всѣ стороны, нѣкоторые испуганно пригнулись, другіе крестились...

— Капитанъ, ведите скорѣе впередъ вашу роту. Непріятель намѣревается обойти флангъ, — говоритъ впопыхахъ батальонный командиръ.

Мнѣ не пришлось командовать ротѣ „вставай“. Всѣ сами вскочили, какъ одинъ человекъ, и многіе стали креститься, снявши шапки...

Едва я вывелъ роту изъ-за прикрытія и вышелъ въ ложину, какъ турки, замѣтивъ наше движеніе, направили на насъ артиллерійскій огонь. Одна изъ гранатъ была пущена такъ удачно, что упала менѣе чѣмъ въ сажени разстоянія отъ меня, но, къ счастью, не лопнула. Другая же, промчавшись надъ головами, съ трескомъ разлетѣлась на куски. А пули, между тѣмъ, свистали и свистали. Послышались крики. Я обернулся и увидѣлъ, какъ упалъ одинъ, другой и третій, но мы были уже въ какомъ-то чадѣ, и эти жертвы не привлекли нашего вниманія.

Останавливаешься въ раздумѣ, припоминая, какой странный разладъ былъ въ моей душѣ, когда я сталъ лицомъ къ лицу со смертію. Охватилъ меня не тотъ страхъ, который поднимаетъ

дыбомъ волосы, ледянить кровь и затмеваетъ разсудокъ,—нѣтъ, это было чувство тяжелое, подавляющее, но скорѣе подходящее къ безпредѣльной досадѣ на то, что судьба поставила въ положеніе, такъ мало свойственное природѣ человѣка. Внутри меня говорилъ голосъ: „Неужели люди не могутъ не истреблять другъ друга узаконеннымъ способомъ?“ Но тутъ же другой голосъ какъ бы издадека говорилъ иное: „Другъ мой, нашелъ же ты время разсуждать! За этимъ ли ты пришелъ сюда? Брось эти разсужденія и ступай исполняй свой долгъ“. И этотъ голосъ взялъ верхъ. Я почувствовалъ нервную дрожь и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то опьянѣніе и, чтобы заглушить въ себѣ всякое колебаніе, громко сталъ кричать солдатамъ какія-то возбуждающія слова.

Граната промчалась надъ нами. Итти по открытому мѣсту становилось невозможнымъ, и мы вошли въ кустарникъ, гдѣ терновникъ жестоко царапалъ наше тѣло и рвалъ платье. Съ большими усиліями, но быстро двигались мы впередъ. Опять раздалось среди роты нѣсколько криковъ, но мы неудержимо шли впередъ и ничего не замѣчали.

Наша цѣпь растянулась отъ одного края лощины до другого и укрывалась частью за небольшой канавкой, частью за плетнемъ, растянутымъ по болотистой площадкѣ. Когда я ввелъ роту въ цѣпь, то сдѣлалось такъ тѣсно, что приходилось или располагаться совершенно на открытомъ мѣстѣ, или войти въ кусты и, такимъ образомъ, не принимать участія въ бою. А между тѣмъ массы красныхъ фесъ виднѣлись въ оврагѣ,

лежащемъ впереди насъ, и его отрогахъ, и оттуда летѣли тучи пуль.

Оставаться въ такомъ положеніи значило отдать бесполезно на жертву всѣхъ, приведенныхъ на это ужасное мѣсто. Приходилось терпѣть и отъ оружейныхъ выстрѣловъ и отъ артиллеріи, которая, сбивъ наши злосчастныя четыре орудія, всецѣло обратилась на насъ. Не одна шрапнель уже дождемъ пуль осыпала вблизи насъ землю. Отступать было нельзя,—мы посланы были для наступленія. Сообразивъ все это и зная, какое дѣйствіе производить на турокъ наша атака, мы рѣшили, во что бы то ни стало, выбить ихъ изъ оврага.

Раздалось „ура“ — и крикъ этотъ, какъ громъ, потрясъ воздухъ. Солдаты выскочили изъ-за закрытій и, какъ буря, ринулись впередъ. Свистъ турецкихъ пуль мгновенно утихъ, и видны были только фесы турокъ, убѣгавшихъ отъ насъ по оврагу. Мы заняли оврагъ и затѣмъ шли впередъ, впередъ, пока не дошли до широкой поляны, дальѣ которой благоразуміе уже не позволяло двигаться. И тутъ-то завязалась горячая ружейная перестрѣлка.

Когда наша цѣпь остановилась и размѣстилась, я въ изнеможеніи опустился на землю. Хотѣлъ я что-то сказать одному изъ состоявшихъ при мнѣ въ прикрытіи, но въ горлѣ и во рту такъ пересохло, что я не могъ проронить слова. Голосъ совсѣмъ осипъ. Мнѣ поднесли жбанъ изъ тыквы, наполненный водой, и я пилъ ее какъ живительную влагу. Но, Боже мой, что это была за вода! Зачерпнута она была въ какой-то лужѣ, гдѣ массы наѣкомыхъ покончили свое существованіе,

но и за эту воду я сказать большое спасибо моему Курину. Освѣжившись водой, я немного пришелъ въ себя. Съ того же момента, какъ мы бросились впередъ съ крикомъ „ура“, и до того, какъ я опустился на землю, я былъ какъ въ чадѣ. Что-то такое я кричалъ, кого-то воодушевлялъ, кого-то бранилъ, но это все было какъ въ туманѣ...

Просидѣвъ съ минуту, я вскочилъ изъ-за пригорка, чтобы перебѣжать къ цѣпи, которая была отъ меня шагахъ въ сорока, но состоявшіе при мнѣ въ прикрытіи Куринъ и Воробьевъ взмолились:

— Ваше благородіе, явите божескую милость, обождите немножко. Изволите видѣть, какой огонь! Шагу не сдѣлаете—подкосятъ; какъ же мы безъ васъ останемся?

Я пріостановился. Огонь былъ, дѣйствительно, адскій. Пули рикошетировали около насъ и впились въ отроги оврага. Сучья и листья валились съ огромнаго орѣховаго дерева, стоявшаго возлѣ насъ. Безпрерывные звуки по вѣтвямъ — „чикъ-чикъ-чикъ“ — краснорѣчиво показывали, какая масса пуль посылалась къ намъ турками.

Выждавъ немного, когда первый огонь, всегда особенно сильный, ослабѣлъ, я перебѣжалъ, чтобы лучше осмотрѣть наше расположеніе. Въ это время съ лѣваго фланга отъ посланнаго мною патруля явился солдатъ съ донесеніемъ, что турки намѣреваются обойти насъ.

— Куринъ, сбрось ранецъ и живо бѣги къ батальонному командиру, скажи, что лѣвому флангу угрожаетъ опасность.

Куринъ помчался какъ стрѣла, но едва пробѣжалъ онъ десять шаговъ, какъ пуля ударила около него въ грудь мелкаго песка. Куринъ отскочилъ, покачалъ головой, обернувшись ко мнѣ, и затѣмъ опять бросился бѣжать. Въ оврагѣ, возлѣ меня, раздался стонъ. Я подошелъ. Унтеръ-офицеръ Антиповъ корчился, лежа и держа себя за грудь. Я окликнулъ его. Онъ открылъ помутившіеся глаза и тихонько шепталъ: „Господи, помилуй, Господи, помилуй“. Въ это время кто-то позвалъ меня сзади. Это былъ молодой унтеръ-офицеръ Сморкаловъ. Онъ держалъ въ лѣвой рукѣ ружье, а правой старался зажать рану, но кровь пробивалась сквозь пальцы.

— Ваше благородіе, нѣтъ ли платочка у васъ— перевязать руку? Я бы пошелъ опять стрѣлять, а то нашихъ и то мало. Боюсь, крови много выйдетъ, ослабѣю.

— Спасибо, Сморкаловъ, молодецъ! Но помочь тебѣ не могу. Есть одинъ платокъ, да и тотъ грязный.

Сморкаловъ, согнувшись, пробѣжалъ по оврагу. Я видѣлъ, какъ кто-то далъ ему тряпицу, послѣ чего онъ опять пошелъ въ цѣпь.

Начался рядъ самыхъ грустныхъ сценъ. Того ташили на ружьѣ до перваго пригорка, другой плелся самъ; стонъ, крики... Но—странное дѣло!— все это не поражало. На все я смотрѣлъ равнодушнымъ взглядомъ: мысль, что все это должно быть и будетъ, дѣйствовала успокоительно.

Вступая въ бой и видя себя въ совершенно новомъ положеніи, нѣкоторое время не чувствуешь себя способнымъ оріентироваться въ своихъ ощу-

щеніяхъ. Взглядъ быстро перебѣгаетъ съ одного предмета на другой, — смотришь на все широко открытыми глазами, сердце ноетъ, и не хочется оставаться въ пассивномъ положеніи. Это продолжается до тѣхъ поръ, пока не удастся сѣсть за какое-нибудь прикрытіе. Тогда чувствуется, какъ тяжелый гнетъ мгновенно сваливается съ души, и тутъ впервые начинаешь размышлять, какъ бы вести себя такъ, чтобы не погибнуть бесполезно, и, руководя, спасать и другихъ отъ гибели. Это первый экзаменъ самому себѣ. Но какъ только выходишь на открытое мѣсто, тяжесть снова ложится на душу, хотя разъ отъ разу самообладаніе покидаетъ рѣже и рѣже...

Вдругъ я увидѣлъ длинную фигуру Минина.

— Гдѣ вы были?—спросилъ я.

— Маменьки мои, дѣлу шабашъ,—волновался онъ.—Если сейчасъ не пришлютъ на лѣвый флангъ подкрѣпленія, придется удирать такъ, что пятки засверкаютъ.

— Я послалъ просить подкрѣпленія,—успокоилъ я его.

— Дай-ка, я у васъ тутъ немножко побуду. Кстати, тутъ и закрытіе приготовили.

Онъ забѣжалъ за высокій пенъ.

— Да это, просто, обсерваторія. Однако и у васъ жарко! Ишь, свистятъ! Хорошо еще, что плохо стрѣляютъ.

— Не становитесь вы за пнемъ. Смотрите, хватить.

— Не смѣетъ. Я вѣдь вплотную прижался. У васъ-то закрытіе, нечего сказать! Продольный оврагъ. Плевка не стоитъ.

Такъ переговаривались мы съ Мининымъ, стоявшимъ около меня шагахъ въ двадцати.

Изъ-за куста послышался голосъ Павлова:

— Михаилъ Петровичъ!

— А, это вы! Что скажете?

— Надо къ намъ сколько-нибудь подкрѣпленія. Въ деревнѣ турокъ набито порядкомъ. Того и гляди—хлынуть.

— Ради Бога держитесь, сколько можно.

Прибѣжалъ Куринъ.

— Ваше благородіе, идутъ, идутъ!

Какою радостью забились наши сердца! Я обернулся и увидѣлъ, какъ двѣ роты шли по скату, пробираясь по кустамъ, чтобы не быть замѣченными турецкою артиллеріей. Впереди шелъ съ несвойственнымъ ему спокойствіемъ батальонный командиръ, подполковникъ Чавскій. Въ мирное время это была суета изъ суетъ. Каждый крикъ начальника приводилъ его въ смущеніе; онъ набрасывался на перваго попавшагося подчиненнаго, кричалъ и распекалъ немилосердно. Въ дѣлѣ же, когда никто не шумѣлъ на него и онъ не боялся получить замѣчанія, этотъ человѣкъ былъ невозмутимъ, храбръ и внушалъ къ себѣ уваженіе.

Вотъ двѣ роты вышли на прогалину. Ихъ замѣтила турецкая артиллерія;—выстрѣлъ за выстрѣломъ раздались съ горы, и шрапнели засвистали, разсѣкая воздухъ. Къ счастью, турки почти всегда считаютъ непріятеля далѣе, чѣмъ онъ есть, поэтому снаряды прелетѣли черезъ идущія колонны и только одна лопнула вблизи.

Раздались стоны, крики, и человѣкъ пять легли на мѣстѣ. Одинъ несчастный упалъ на спину и

долго катился подъ гору. Колонны прибавили шагъ и вошли въ кусты, такъ что шрапнель, пущенная по прежнему направленію, не принесла имъ вреда, а только дождемъ пуль устѣла песчаный откосъ.

Страшный снарядъ! Ничто не производитъ такого потрясающаго дѣйствія.

Въ то время турки предприняли обходъ и перешли уже поляну, отдѣлявшую насъ отъ нихъ, но пришедшія двѣ роты, имѣя во главѣ батальоннаго командира, не выходя на опушку, гаркнули „ура“, чѣмъ и остановили непріятеля.

Дѣло, которое мы вели, было загадочнымъ. Мы не знали, кто и сколько противъ насъ. Впослѣдствіи стало извѣстнымъ, что противъ насъ были двѣ турецкія дивизіи.

Что же спасло насъ? Вѣроятно, наша дерзкая атака. Намъ нужно было занять деревню — и мы шли къ ней; увидя передъ собой сильную батарею, мы догадались, что наткнулись на силы значительныя, но дѣлать было уже нечего, и мы доигрывали роль до конца. Намъ нужно было продержаться, во что бы то ни стало, до вечера и, пользуясь темнотой, отступить. Турки недоумѣвали, что это за отрядъ, который атаковалъ чуть не съ первыми выстрѣлами, но не продолжалъ наступленія, а держался на взятой позиціи. Недоумѣніе ихъ должно было еще болѣе увеличиться, видя, что мы цѣлый день продолжали бой безъ участія артиллеріи. Но въ еще большее недоумѣніе они были приведены тѣмъ обстоятельствомъ, что два батальона перваго полка хотя и не принимали участія въ дѣлѣ, но стояли наготовѣ. Такъ тянулся этотъ день, ужасный день! Мы ви-

дѣли, что турки не предпринимають наступленія, опасаясь его съ нашей стороны. Но если бѣ они замѣтили, что мы отступаемъ, они бы кинулись на насъ.

День уже клонился къ вечеру, а мы все стояли на занятой нами позиціи, боясь выказать ничтожество нашихъ силъ. Всѣ роты въ нашихъ батальонахъ были введены въ дѣло, такъ что составилаь одна боевая линія въ формѣ цѣпи, безъ всякаго резерва. Офицеры, понимая трудность положенія, всѣми силами удерживали солдатъ, но патроны были на исходѣ, и это обстоятельство пугало всѣхъ.

Пробѣгая по цѣпи, я видѣлъ, какъ солдаты снимали съ убитыхъ, сумки и какъ двое дѣлились патронами.

— Братъ ты мой! Дай хоть парочку. Послѣдніе выпустилъ.

— А ты на что глядя палилъ безъ ума? Тебѣ сказывали: береги патронъ пуще глазу! Чортъ!

— Вѣдь и въ насъ дюже палятъ. Какъ же смолчишь?

— На вотъ пятокъ. Да гляди...

Но едва онъ сталъ приподниматься, чтобы достать ихъ изъ сумки, какъ пуля ударила его въ голову; онъ, испустивъ стонъ, и упалъ грудью на землю.

— Господи Іисусе Христе!..—въ отчаяніи проговорилъ другой и, быстро вложивъ патронъ въ ружье, почти не цѣлясь, выстрѣлилъ. Видно было, что онъ хотѣлъ заглушить чѣмъ-нибудь ужасъ, овладѣвшій имъ.

Я возвратился на прежнее мѣсто. Мининъ стоялъ еще около обгорѣлаго пня.

— Съ благополучнымъ возвращеніемъ,—подшучивалъ онъ.—Что, хорошо?

— Бьютъ, сильно бьютъ. Не знаю, какъ меня помиловалъ Богъ.

— Я удивился, что вамъ неймется. Ну, какую вы пользу принесете, что будете по цѣпи ходить? Хотите помѣшать какой-нибудь пулѣ летѣть свободно?

— Что жъ, сидѣть да прятаться? Что вы ерунду то несете! Да тутъ нигдѣ и не укроешься.

— Ну, нѣтъ. Вотъ у меня такъ чего лучше—и видно и безопасно. Обсерваторія!

Едва успѣлъ онъ это проговорить, какъ возлѣ него что-то щелкнуло, и Мининъ сталъ вертѣться и оглядываться. У меня дрогнуло сердце.

— Что вы?

— Батюшки, вотъ такъ штука! Ахъ вы, оканные! Я-то старался, а тутъ какъ нарочно. Маленьки мои!

И онъ пустился ко мнѣ.

— Да что случилось?

— Табачницу пробили, видите? Висѣла съ боку, а они и щелкъ.

Мининъ сталъ разсматривать свой коленкорый мѣшочекъ, насквозь пробитый турецкою пулей, подкрѣпляя свое негодованіе уже совсѣмъ крупными словами.

Мы были нравственно утомлены и такъ освоились со своимъ положеніемъ, что даже шутили, хотя было не время и не мѣсто для шутокъ.

— Посмотри-ка, Павелъ Никаноровичъ, солнце-то ужъ за горы зашло. Теперъ недолго. Какой-нибудь часочекъ—и мы улепетнемъ. О, если бы

кто-нибудь изъ насъ былъ въ своемъ родѣ Иисусъ Навинъ и могъ бы съ успѣхомъ сказать: „Солнце, скройся скорѣй!“

— Ну, еще философію стали разводить,—отвѣчалъ Мининъ.—Погодите-ка, я побѣгу вонъ въ рощу. Огонь что-то постихъ съ нашей стороны.

Я стоялъ въ то время шагахъ въ сорока отъ роты. Увидѣвъ въ кустахъ за турецкой цѣпью усиленное движеніе и усматривая въ этомъ недоброе предзнаменованіе, я побѣжалъ къ своей ротѣ.

Картина была безотрадная. Валялись убитые, ежились въ предсмертной агоніи раненые, а тѣ, кого не постигла еще эта печальная участь, обливаясь потомъ, съ откинутыми на затылокъ кепи вели рѣдкую перестрѣлку. Я пришелъ къ небольшой группѣ, расположенной за отрожкомъ оврага.

— Держись, ребяташки, — началъ я, — держись крѣпко! Дотягивай до вечера. Отступать нельзя: хуже будетъ.

— Ваше благородіе, патроновъ бы намъ. А то бережешь ихъ пуще глазу.

— Не бойся, сейчасъ поднесутъ.

Я перебѣжалъ ко другой группѣ, потомъ—къ третьей и опять возвратился за цѣпь, такъ какъ оттуда было удобнѣе видѣть движеніе непріятеля. Во время этихъ перебѣганій нѣсколько пуль такъ близко пролетѣли мимо меня, что Куринъ и Воробьевъ взмолились:

— Господи, да что жъ это вы, ваше благородіе, дѣлаете? Изволили бы присѣсть куда-нибудь.

Но на этотъ разъ я послалъ ихъ къ чорту.

Между турками стало показываться усиленное движеніе. Замѣтно было, что подоспѣвали боль-

шіе резервы. Огонь страшно усилился. Нетрудно было понять, что этимъ начиналось наступленіе. Съ нашей стороны отвѣчали весьма слабо. Минута была тяжелая. Я не выдержалъ и выскочилъ на пригорокъ, чтобъ удобнѣе разсмотрѣть движеніе турокъ. Я предвидѣлъ, что ожидаетъ насъ, несчастную, маленькую отступающую горсть, почти безъ патроновъ, когда хлынуть на насъ эти полчища, не знающія пощады...

Не успѣлъ я простоять и минуты, какъ почувствовалъ ударъ въ плечо и упалъ лицомъ на землю. Но я упалъ скорѣе отъ испуга. Чувство боли не было велико въ первую минуту. Если бы не особый чмокающій звукъ и свистъ, можно было бы подумать, что кто-нибудь ударилъ меня плашмя рукой. Пролежавъ нѣсколько секундъ, я приподнялся, при помощи Курина, который тутъ же, въ видѣ утѣшенія, самымъ добродушнымъ образомъ проговорилъ:

— Ваше благородіе, наскрозъ.

Вставъ, я попытался собраться съ мыслями. Слова Курина передернули меня. Я боялся взглянуть на рану, думая, что видъ крови лишитъ меня сознанія. Я вложилъ повисшую руку въ скатанную шинель, оперся на Курина и потихоньку поплелся назадъ. Мною овладѣло тупое спокойствіе; явилось какое-то убѣжденіе, что я достаточно пострадалъ и большаго не получу, но спокойствіе это мало-помалу исчезло, когда пули стали взрывать около насъ землю и немилосердно свистать вокругъ. Быть убитымъ въ то время, когда уже не стоишь въ рядахъ, а плетешься обезсиленный, не грозя никому, казалось особенно тягостнымъ.

Мы вышли изъ оврага въ лощину. Огонь немногихъ стихъ. Чувство надежды и радости, что я помилованъ судьбой, охватило сердце. Жизнь стала манить, какъ никогда. Какъ хороши казались спускавшееся къ закату солнце, этотъ наступившій вечеръ, зеленѣющая роща, лужокъ, по которому мы шли, и какимъ горькимъ противорѣчiemъ этой мирной картинѣ были валявшіеся вокругъ мертвые тѣла и трескъ выстрѣловъ!...

Наконецъ свистъ пуль сталъ рѣдѣть. Я подошелъ къ сборной ротѣ, составленной изъ всѣхъ случайно попадавшихся въ тылу людей. Это былъ нашъ единственный резервъ.

Около этой роты стояли бригадный и полковой командиры.

— Вы ранены, капитанъ? — обратился ко мнѣ командиръ полка.

— Точно такъ, — отвѣтилъ я слабымъ голосомъ.

Бригадный командиръ посмотрѣлъ на меня и съ видимымъ волненіемъ отвернулся. Видъ мой былъ некрасивъ. Разстегнутый мундиръ, изъ-подъ котораго виднѣлась окровавленная сорочка, нетвердая поступь и мертвенная блѣдность показывали, въ какомъ я состояніи.

Отойдя съ четверть версты, я увидѣлъ за пригоркомъ моего денщика Кузьму, державшаго за поводъ навьюченнаго осла. Увидавъ меня, онъ бросилъ поводъ и со слезами на глазахъ подбѣжалъ ко мнѣ.

— Ваше благородіе, вы ранены? Господи, на что же вы похожи! Кровинки нѣтъ въ лицѣ. Какъ же это итти-то? Прикажете лучше донести васъ. Мы вотъ ломаемъ дерево, вы и сядете.

— Нѣтъ, благодарю, я кое-какъ доплетусь. Ты, Воробьевъ, ступай къ ротѣ. Теперь я съ Кузьмой доберусь до перевязочнаго пункта.

Воробьевъ приостановился. Видно было, что не по вкусу пришлось ему мое приказаніе. Отвѣтивъ съ волненіемъ „слушаю-съ“, онъ зашагалъ къ ротѣ. Пройдя немного, я услышалъ въ сторонѣ:

— Ваше благородіе, ваше благородіе!

Я обернулся и увидѣлъ фельдшера, бѣгущаго ко мнѣ.

— Ваше благородіе, вы ранены? Пожалуйте я вамъ перевязку сдѣлаю.

— Ахъ, вотъ спасибо! Ну, поскорѣе только, а то наши ужъ отступаютъ. Пожалуй, и не уйдешь, силъ совсѣмъ нѣтъ.

— Въ одну минуту. Куда жъ изволите быть ранены? Э, да тутъ ничего не сдѣлаешь. Ишь, вѣдь какъ ударило! Тутъ нужно быть большой перевязкѣ, а пока позвольте, я косыночкой перевяжу.

И онъ, наскоро перевязавъ косынкой рану, ушелъ. Но косынка не могла держаться. Она скоро слѣзла, и кровь попрежнему сочилась въ мокрую отъ пота сорочку. Встрѣтилась мнѣ лазаретная фура, и фурштатъ предложилъ довезти меня одного до перевязочнаго пункта, но мнѣ стало совѣстно принять его предложеніе. Я хоть какъ-нибудь еще могъ итти, а тамъ, подъ градомъ пуль, валялись изувѣченные съ раздробленными ногами обреченные въ случаѣ нашего отступленія на смерть и поруганіе. Фура поѣхала своею дорогой, а я пошелъ далѣе. Не доходя шаговъ полтораста до перевязочнаго пункта, который былъ расположенъ въ одномъ изъ дворовъ покинутой деревни,

я услышалъ стоны и крики, а когда вошелъ во дворъ, то увидѣлъ такую картину, которая въ другое время могла бы показаться ужасной. Около самыхъ воротъ лежали двое, прикрытые съ головой шинелями и издававшіе глухіе стоны. Другіе, сидя и полулежа, корчились отъ боли около крыльца. Докторъ, нагнувшись надъ однимъ несчастнымъ, старался вытащить пулю, застѣвшую въ его челюсти; сквозь разсѣченную щеку виднѣлись зубы. Едва я подошелъ, докторъ выпрямился и, вздохнувъ, проговорилъ:

— Слава Богу, конецъ!—и обернулся.

Обернувшись, онъ увидѣлъ меня. Никогда я не забуду этого взгляда. Всегда мы были съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, часто бесѣдовали и не предполагали, что судьба такъ скоро дастъ ему такую кровавую работу.

— Голубчикъ, вы?

Чувство ужаса выразилось на его лицѣ.

— Да говорите же скорѣе, куда?

И онъ смотрѣлъ на мою окровавленную сорочку.

— Сюда? Въ грудь?

Я показалъ пальцемъ на правое плечо. Но я точно не зналъ, куда ударила меня пуля.

— Снимайте скорѣе съ него мундиръ, — торопилъ докторъ.

Но это не удалось. Такъ какъ усиліе, которое нужно было дѣлать при сниманіи мундира, причиняло страшную боль, то мнѣ отрѣзали рукавъ. То же сдѣлали и съ сорочкой.

Когда сняли съ меня мундиръ и сорочка предстала предо мной во всей прелести, я почувствовалъ дурноту... я былъ облитъ кровью.

Сдѣлавъ быстро перевязку и ободривъ меня, что опасности больше нѣтъ, докторъ занялся своимъ дѣломъ. Я же безъ сорочки и мундира, прикрытый плащомъ, остался посреди двора. Лазаретное бѣлье было все роздано; а обозъ нашъ, гдѣ были наши вещи, отослали верстъ за пять.

— Ваше благородіе, — безпокоился Кузьма, — нѣтъ ли у солдата какого сорочки?

— Да ужъ придется такъ сдѣлать, — согласился я и обратился къ перевязывавшему себѣ прострѣленную ступню.

— Любезный, нѣтъ ли у тебя сорочки чистой?

— Есть-то есть, ваше благородіе, да не больно хороша, толстая. Угодно ли будетъ надѣтъ?

— Да вѣдь чистая?

— Полоскалъ въ рѣкѣ.

— Вотъ и отлично. Давай.

Солдатикъ приподнялся и на одной ногѣ запрыгалъ къ ранцу, стоявшему около плетня; доставъ рубашку, онъ такимъ же способомъ, прыгая на одной ногѣ, подаль ее мнѣ.

— Зачѣмъ же это ты, братецъ? Я бы самъ къ тебѣ подошелъ. Вѣдь тебѣ трудно.

— И, ваше благородіе, наше дѣло такое.

Сорочка была хоть толстая, но катаная. И какъ она была кстати! Солнце сѣло, въ воздухѣ стало свѣжо, темнота быстро наступала. Изрѣдка раздавался гулъ голосовъ, и темныя массы двигались, направляясь къ мосту. Это были роты, возвращавшіяся съ боя. Турки не преслѣдовали. Они вѣрно довольны были уже тѣмъ, что могли благополучно остаться на позиціи и варить свой пловъ и кофе.

Да, только судьба и неумѣлость турецкаго начальства спасли отъ конечной гибели эту горсть храбрцевъ.

Перейдя Баницу, роты остановились перевести духъ. Я подошелъ къ одной.

— Гдѣ моя рота?

— Она еще далеко. Въ арьергардѣ оставлена. Позже всѣхъ придетъ.

— Михаилъ Петровичъ, что вы не сядете въ фуру?—участливо говорилъ товарищъ, поручикъ Шейкинъ.

— Тамъ набито столько калѣкъ, что совѣстно и приступить. Поплетусь съ вами, только, пожалуйста, дайте мнѣ кого-нибудь, кто бы держалъ меня подъ руку. До позиціи около трехъ верстъ, а силы совсѣмъ оставляютъ меня.

Онъ нарядилъ двухъ солдатъ, и мы тронулись. Ночь была чудная. Мѣсяцъ ярко свѣтилъ, воздухъ былъ свѣжъ, кругомъ все тихо. Усталыя ноги солдатъ тяжело ступали. Изрѣдка раздавались отдѣльныя слова; говорить никому не хотѣлось;— на всѣхъ лежалъ гнетъ непосильнаго утомленія. Жутко отзывался въ сердцѣ этотъ шумъ шаговъ въ таинственной тишинѣ, и думы невольно летѣли на ту поляну, гдѣ не одинъ десятокъ людей остался на произволъ ярости враговъ. Недостатокъ патроновъ, значительная убыль съ нашей стороны и прибывшая въ подкрѣпленіе туркамъ цѣлая дивизія заставили насъ поспѣшно отступать. Тутъ было уже не до раненыхъ. Они невольно обречены были своей печальной участи.

Длиненъ, невыразимо длиненъ казался намъ трехверстный переходъ; но вотъ, наконецъ, мы

вошли въ лошину, гдѣ такъ спокойно провели прошедшую ночь. На насъ пахнуло сыростью и не совсѣмъ пріятнымъ ароматомъ недавно покинутаго бивуака. Лучше было бы стать подальше отъ этого зараженнаго мѣста, но выбирать было не время. Притомъ старый бивуакъ манилъ насъ къ себѣ тѣмъ, что тамъ была оставлена нами солома, которая могла защитить насъ отъ сырости и дать возможность подкрѣпить сномъ изнемогшее тѣло. Я не зналъ, куда дѣться.

— Михаилъ Петровичъ, куда же вы?—спрашивалъ меня Шейкинъ.

— Пойду къ лазарету. Сейчасъ пріѣдутъ фургоны. Нужно сдѣлать перевязку; вся сорочка въ крови.

Сзади насъ слышался стукъ колесъ. Я остановился около дороги, держась за плечо моего проводника. Скоро одинъ за другимъ проѣхали мимо меня фургоны, изъ которыхъ слышались жалобные стоны. Затѣмъ потянулась вереница всевозможныхъ калѣкъ. Кто припрыгивалъ, кто шелъ согнувшись, кого несли на палкѣ, кто лежалъ на ружьяхъ, сложенныхъ въ видѣ носилокъ. Сзади всей этой процессіи шли два доктора. Увидѣвъ меня, старшій врачъ, мой незабвенный Василій Николаевичъ, подошелъ ко мнѣ.

— А, это вы! Пойдемте. Мы сейчасъ растянемъ палатку—и будетъ отлично. Глоточекъ рому вамъ дамъ,—это необходимо. И горе забудемъ.

— Ужъ не знаю, какъ и благодарить васъ. Лучше совсѣмъ не буду.

Когда мы подошли къ мѣсту, назначенному для лазарета, раненые поулеглись на землѣ. Тутъ-то начался концертъ.

Представьте себѣ человѣкъ до полутора ста стонавшихъ, охавшихъ и кричавшихъ на разные голоса... Такой концертъ надолго останется въ памяти и будетъ звучать какъ замогильный аккордъ, отъ котораго поднимаются дыбомъ волосы... При такой ужасной обстановкѣ сонъ отлетитъ, а мнѣ-то онъ и былъ нуженъ. Я стоялъ въ недоумѣніи, не зная, на что рѣшиться, какъ вдругъ сзади меня раздался голосъ батальоннаго командира:

— Васъ-то мнѣ и надо. Поѣдьте въ батальонъ. Вѣдь это адъ.

— Правда, здѣсь скверно; да вѣдь къ вамъ трудно перебраться,—у рѣчки берега крутые.

— Какъ-нибудь, съ моей помощью, переберетесь. У насъ тамъ костры разложены... чаемъ васъ напоимъ... Идемъ, идемъ.

Я согласился.

— Ахъ, вотъ еще что,—проговорилъ онъ:—гдѣ тутъ Лукьянскій?

— А вотъ-съ пожалуйста, здѣсь, — отвѣтилъ фельдшеръ.

Мы подошли. На носилкахъ лежалъ Лукьянскій; возлѣ него стоялъ фонарь и освѣщалъ его мертвенно-блѣдное лицо.

— Что, батюшка, не помиловали насъ съ вами?— началъ я.

— Да,—тихо отвѣчалъ Лукьянскій и силился улыбнуться.—Скажите, что рана моя не опасна?

Онъ былъ раненъ въ животъ.

— Какая опасность!

— Да, да, я то же думаю. Вѣдь многіе же были ранены въ животъ и долго жили. Только отчего

это я такъ слабъ? Вѣрите, руку поднять трудно, какъ будто въ ней пять пудовъ вѣсу. Можно подумать, что я ужъ умираю, а между тѣмъ голова моя совершенно свѣжа. Все такъ ясно въ памяти.

Говорилъ онъ это прерывающимся отъ слабости голосомъ и съ трудомъ переводя духъ.

— Эхъ, дайте папироску.

Ему подали зажженную папиросу и приложили ко рту. Онъ потянулъ раза два и сказалъ, что болѣе не можетъ.

— Пить бы мнѣ... кисленькаго... Тяжко!..

Перебравшись съ большимъ трудомъ черезъ ручей, добрались мы до бивуака. Тамъ разложены были костры, на которыхъ кипятилась вода для чаю.

Съ жадностью глотали мы горячую жидкость, которую называли чаемъ, хотя она не имѣла съ нимъ даже отдаленнаго сходства.

Въ это время ко мнѣ подошелъ фельдфебель и сказалъ, что рота желаетъ видѣть меня.

Невдалекѣ отъ костра стояло человѣкъ пятьдесятъ, ожидая моего приближенія. Когда я подошелъ, они сняли шапки; слышались растроганные голоса:

— Ваше благородіе, батюшка, отецъ родной, страдалецъ вы нашъ!

И по этимъ огрубѣлымъ лицамъ пробѣжали слезы. Вся эта сцена потрясла и безъ того уже мои разстроенные нервы. Я не могъ выговорить слова, а только снялъ лѣвой рукой шапку и, отвернувшись, зарыдалъ, какъ ребенокъ. И если

бы не фельдфебель, поддержавшій меня, я упалъ бы отъ безсилія.

Придя немного въ себя, я пошелъ опять къ костру и просилъ Минина устроить для меня какое-нибудь ложе. Наломали свѣжихъ вѣтокъ, подъ голову положили ранецъ, и я улегся на эту незатѣйливую постель. Невдалекѣ отъ меня продолжались разговоры.

— Ну, уложилъ своего ротнаго! — говорилъ, покрхтывая, Мининъ, усаживаясь около костра. — Кузьма, тащи съѣдобное. Есть?

— Какъ не быть. Есть. Только, ваше благородіе, вы не все: не захотѣлъ бы баринъ.

— Безъ тебя помнимъ. Ты, знай, тащи. Пановъ, гдѣ ты?

— Здѣсь, — флегматично отвѣтилъ онъ.

— Иди, коли ѣсть хочешь.

— Пожалуй.

Онъ сѣлъ подлѣ Минина.

— Пилъ касторовое масло?

— Когда же было? Нѣтъ.

— Ну, Никоне, смотри! Шутка будетъ плохая.

— Утромъ выпью. Масло въ карманѣ. Въ бою нельзя было пить, подумали бы, что я отъ страха... На ночь тоже нехорошо. Неудача.

— Счастливъ твой Богъ, что тебя не убили! А то какого бы тебѣ шайтана послалъ турокъ, кабы отвѣдалъ этого добра.

— Меня и самого смѣхъ бралъ. Кому жъ придется въ голову, что у меня въ карманѣ эта пакость. Подумалъ бы, что какой-нибудь бальзамъ.

Пановъ разразился хохотомъ.

Кузьма принесъ закуску. Мининъ стать распоряжаться.

— Извините, господа, подѣлиться нечѣмъ, — обратился онъ къ другимъ офицерамъ. — И двумъ только впору червяка заморить.

Рядомъ съ Мининымъ поручикъ Шейкинъ показывалъ обожженный палецъ и рассказывалъ, какой былъ съ нимъ случай въ бою.

— Не знаю и самъ какъ это случилось.

— Зачѣмъ тебя несло туда?

— Что жъ все стоять на мѣстѣ? Я пошелъ туда, откуда раздавались выстрѣлы. Иду себѣ да иду. Только глядь, а за кустомъ турокъ, да такой маленький, паршивый. Стоитъ и стрѣляетъ, не цѣлится. Какъ увидѣлъ меня—и засуетился. Хочетъ повернуть въ мою сторону ружье, а кустъ-то густой-прегустой, — ему и неудобно. Думаю, что тутъ дѣлать? Я вправо—и онъ ружье поворачиваетъ вправо, я влево—и онъ влево. Остановиться—пиши пропало: убьетъ. Будь что будетъ, думаю. Да какъ пушусь прямо на него. Бѣгу, себя не помню, и ужъ вотъ-вотъ хочу хватить его по головѣ, какъ вдругъ кто-то выхватилъ у меня саблю... А это темлякъ зацѣпился за сучокъ. Останавливаться было поздно. Я такъ, съ голыми руками, на него. Турокъ совсѣмъ ошалѣлъ! Какъ стоялъ, такъ и замеръ. Я, недолго думая, цапъ за ружье правой рукой, а лѣвой—въ морду ему! Турокъ выпустилъ ружье—и драло. Я было хотѣлъ послать ему вдогонку пулю, но почувствовалъ страшную боль. Смотрю—руку-то мнѣ стволемъ и припалило. Сколько жъ онъ патроновъ выпустилъ, если стволъ такъ накалился!

— Да ты вспомни, какой огонь-то былъ.

— Ну, и набрался жъ я страху. Памятна мнѣ будетъ эта винтовка.

Пошли шутки, смѣхъ, со всѣми вмѣстѣ смѣялся и всѣми любимый Шейкинъ.

Бесѣда товарищей начинала меня утомлять. Я чувствовалъ потребность уснуть, и говоръ постепенно обратился для меня въ безсвязные звуки. Кто-то и что-то рассказывалъ, но это были для меня не рѣчи, а слова безъ смысла и значенія. Заснуть я все-таки не могъ. Сердце билось слабо, но часто; я чувствовалъ, какъ слегка метался и какъ словно желѣзные клещи сковывали мнѣ раненое плечо. Наконецъ голоса стихли, и я опять очутился на только что покинутомъ полѣ, гдѣ разыгралась кровавая драма со всѣми ея ужасами.

Я погрузился въ тяжелый сонъ. Мѣсто и лица были тѣ же, но подробности иныя. Пули проносились около насъ; я чувствовалъ даже, какъ нѣсколько впились въ меня, но это не мѣшало мнѣ идти впередъ и распоряжаться. Страшными казались только огромныя массы непріятеля, которыя, какъ тучи, двигались на насъ. Вдругъ—о, ужасъ!—мнѣ представилось, какъ нѣсколько черкесовъ мчатся прямо на меня. Я сталъ кричать, чтобы строились для залповъ, но голосъ мой не былъ слышенъ. Я бѣгу къ ротѣ, но быстро бѣжать никакъ не могу. Я дѣлаю нечеловѣческія усилія—и все-таки двигаюсь медленно. Черкесы настигаютъ меня, и одинъ уже поднималъ ятаганъ, чтобы разсѣчь мнѣ голову. Я дѣлаю отчаянное усиліе и... просыпаюсь отъ жгучей боли въ плечѣ.

До тѣхъ поръ, пока я не легъ, я не чувствовалъ особеннаго страданія. Было больно, но боль была незначительна, и я говорилъ про себя: „Ничего, терпѣть можно“. Но я напрасно успокоивалъ себя.

Нравственное и физическое состояніе мое стало ужаснымъ. Я не могъ ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни кашлянуть; каждое движеніе причиняло мнѣ невыразимую боль. Привычка съ дѣтства проводить большую часть ночи на правомъ боку заставляла и теперь дѣлать усилія прійти въ любимое положеніе, а тутъ каждое движеніе—боль.

— Кузьма, приподними-ка, поддержи, дай хоть посидѣть немного. Не могу больше лежать на лѣвомъ боку.

— Эхъ, ваше благородіе, лихо вамъ!

— Не хорошо, Кузьма. Чѣмъ -нибудь ноги прикрыть бы,—совсѣмъ остыли. Господи, какая ужасная ночь! Нѣтъ ли воды?

Утоливъ жажду, я опять легъ на лѣвый бокъ. Изрѣдка раздавался вздохъ или кашель ночныхъ, ходившихъ вокругъ; да слышно было, какъ фыркала лошадь, привязанная неподалеку. Ненарушима тишина царила вокругъ. Надъ спящимъ бивуакомъ сіяло звѣздное небо, вдали мѣстами поднимался легкій туманъ... Тишина казалась мнѣ могильной, и небо съ его мириадами звѣздъ безпокоило отяжелѣвшіе глаза. Такъ тянулась ночь.

Извѣстно, что бѣда одна никогда не ходитъ.

Въ сорочкѣ, взятой мною у солдата, оказалось масса насѣкомыхъ, которыя не замедлили устремиться на мое несчастное тѣло. Боже мой, что эта была за пытка! Шевелиться нельзя, а какъ

удержаться, когда отвратительные паразиты, какъ иглами, впиваются въ кожу. Потому ли, что имъ приятенъ запахъ крови, но они было устремились къ моему больному плечу и пожирали его.

— Кузьма, сдѣлай мнѣ что-нибудь. Я не могу терпѣть.

— Да что жъ сдѣлаешь-то? Ужъ такая-то эта тварь пакостная, супротивъ ея ничего не выдумаешь. Одно слово--жгетъ. Пожалуйте, я пошарю. Хоть отъ больного мѣста оттереть ихъ. Рубашку бы снять, да холодно.

Но всѣ его оттиранія ни къ чему не привели. Я мучился всю ночь и проклиналъ жизнь.

На зарѣ усталость взяла свое. Укусы отвратительныхъ насѣкомыхъ перестали казаться такими жгучими, и я уснулъ тяжелымъ сномъ.

Когда я проснулся, бивуакъ былъ въ движеніи. Слышались голоса. Около меня лежалъ, опершись на правую руку, Мининъ и смотрѣлъ мнѣ въ лицо. Взглядъ его былъ полонъ участія.

— Ну, какъ дѣла? Кажется, слава Богу, поспали. А то я ужъ боялся за васъ. Ночью все стонали.

— Немного уснулъ. Помогите-ка встать. Надо итти въ лазаретъ, а то у меня грудь и спина мокрыя.

— И какого вы шута горячились? И-ихъ, суета вы! И меня, собаки, обидѣли. За что изгадили табачницу? Ухъ, какъ хочется ихъ вздрючить!

— Довольно болтать. Проводите-ка меня лучше въ лазаретъ.

Я взялъ его подъ руку, и мы пошли мимо солдатскихъ палатокъ. Тамъ встрѣтили фельдфебеля

Алексѣва и нѣсколькихъ солдатъ, выбѣжавшихъ освѣдомиться о моемъ здоровьѣ. Около лазаретныхъ фуръ раздавались стоны, и доктора хлопотали, дѣлая перевязки. Мы подошли.

— Здравствуйте, Василій Николаевичъ.

— А, здравствуйте,—проговорилъ онъ ласково, обвязывая лубки на раздробленной ногѣ. При этомъ онъ вскинулъ на меня глазами. — Что, не больно хорошо?

— Не хорошо. Дышать трудно, пошевелиться не могу.

— Ваше благородіе, пожалуйста, — звалъ меня Алексѣвъ,—вотъ нашей роты раненые лежатъ. Я пошелъ.

— Сколько убыло изъ роты?

— Порядочно, ваше благородіе; семь человѣкъ убитыхъ да человѣкъ тридцать раненыхъ. Изъ нихъ четверо ночью кончились.

— Вотъ что, Алексѣвъ, пошли-ка взять у марки-танта двѣ бутылки водки и дай раненымъ по стаканчику. Докторъ сказалъ, что это хорошо.

Алексѣвъ ушелъ. Мы съ Мининымъ подошли и увидѣли группу солдатъ, лежавшихъ въ различныхъ позахъ. И здѣсь рота продолжала быть военною семьей. Одинъ изъ нихъ, увидя насъ, силился приподняться и шевелилъ губами, но звуки не вылетали изъ его груди.

— Кто это? А, ты, Мейеръ! Ты не утруждайся, лягъ.

— Ваше благородіе, ужъ очень онъ хотѣлъ васъ видѣть, — объяснилъ мнѣ лежавшій около него другой еврей съ перебитой ногой.

— Куда Мейеръ раненъ?

— Онъ раненъ, ваше благородіе, нехорошо, въ три мѣста: одна ударила въ горло, а вышла подъ мышку, другая—въ руку, а третья—въ ногу.

Опираясь на руку Минина, я наклонился къ Мейеру, рассчитывая услыхать какую-нибудь просьбу; но то, что я услыхалъ, кольнуло меня въ сердце.

Мейеръ шопотомъ, при чемъ у него хлепотало въ горлѣ, съ волненіемъ проговорилъ:

— Ваше благородіе, очень жалко, вы ранены...

Кровь бросилась мнѣ въ голову. „Господи, — думалъ я, — что это такое? Неужели война такъ облагораживаетъ сердце. Еврей, поприродѣ эгоистъ и въ то время, когда часы его сочтены, первымъ словомъ выражаетъ соболѣзнованіе о начальникѣ“.

— Спасибо, Мейеръ, — проговорилъ я не безъ волненія, — ты больше меня пострадалъ. Можетъ-быть, поправишься.

— Нѣтъ, нѣтъ, — шепталъ онъ, — гдѣ ужъ жить! Пью, а изъ горла льется. Ваше благородіе, позвольте васъ просить: у меня есть десять серебряныхъ рублей, такъ нельзя ли, чтобъ ихъ мать моя получила, а то если попадется братьямъ, такъ они ничего ей не дадутъ, а она — старушка, гдѣ жъ ей взять? Она лучше помянетъ своего Симона.

Шопотъ его сопровождался непріятнымъ шелестѣніемъ въ горлѣ. Кончивъ говорить, онъ припалъ къ землѣ. Обѣщавъ все сдѣлать, я отошелъ къ другимъ.

Всякій, къ кому я подходилъ, привѣтствовалъ меня такою радостною улыбкой, какую можно видѣть только у людей, чувствующихъ, что такъ недавно, рука объ руку, мы жертвовали жизнью. И никто не жаловался. Если боли перевышали

человѣческое терпѣніе, слышались только восклицанія: „Господи, помилуй!“

Принесли водку, и рюмка пошла по рукамъ.

Вдругъ я увидѣлъ Кузьму, мчавшагося ко мнѣ съ сорочкой въ рукѣ.

— Ваше благородіе, извольте скинуть рубаху. Вещи привезли. Небось, все тѣло изгрызли.

Едва я переодѣлъ сорочку, какъ показались лазаретные фургоны, въ которыхъ мы, раненные, должны были уѣхать изъ отряда.

Многіе офицеры пришли проститься съ нами; сади всѣхъ, медленно выступая, шелъ Пановъ.

— Уѣзжаете?—говорилъ онъ.—Жалко! Ну, да слава Богу, что хуже не случилось. Не забудьте насъ, пишите.

— Что вамъ писать,—не отвѣтите.

— Отвѣчу.

— Хорошо, посмотримъ. Ну, а какъ здоровье?

— Гмъ... На поправку пошло. Авось, сегодня простои́мъ на мѣстѣ.

Неподалеку Мининъ схватился съ офицеромъ 1-го полка бригады.

— Эхъ, вы! Вамъ бы только глазами перестрѣливаться съ турками! А нѣтъ, чтобъ ударить, какъ мы. Что зря стояли?

— Вы, прапорщикъ, оставьте. Это не ваше дѣло. Значитъ, такъ надо было.

— Надо? Насъ лупили, а вы смотрѣли? Это такъ надо! Вразумитесь хоть чуть-чуть!

Офицеръ обидѣлся, но подошелъ командиръ полка, и разговоръ прекратился.

— Готово ли, наконецъ? — проговорилъ онъ. — Удивительно, копаются.

Затѣмъ онъ обратился къ намъ.

— Жалѣю, господа, что расстаюсь съ вами. Позвольте поблагодарить, что честно исполнили свой долгъ, и надѣяться, что вы недолго останетесь вдали отъ полка.

Затѣмъ онъ обнялъ насъ и отошелъ. Мы стали готовиться къ отъѣзду.

Недалеко отъ площадки, гдѣ помѣщался лазаретъ, въ овражкѣ были сложены тѣла, а подлѣ нихъ были вырыты двѣ могилы: одна общая, другая для Лукьянскаго.

И лежатъ теперь эти невѣдомые міру герои въ глуши неизвѣстнаго овражка, въ сторонѣ отъ дороги... Долго ли продержится тотъ деревянный крестъ, который поставили надъ этой братскою могилой? Впрочемъ, надъ ними всегда будетъ сіять другой невидимый крестъ, какъ надъ жертвами, павшими въ борьбѣ за освобожденіе угнетенныхъ и подавленныхъ нашихъ соплеменниковъ.

Наконецъ сборы къ нашему отъѣзду были кончены. Началось размѣщеніе по фургонамъ. Горячо обнялись мы съ Мининымъ.

— Шабашъ!—заговорилъ онъ обыкновеннымъ своимъ тономъ.—Что я буду дѣлать безъ моего ротнаго? Эхъ, скверно! Смотрите же, смѣйте только у меня не поправится скоро!

Мы тронулись. Я чувствовалъ страшное изнеможеніе, и лихорадка уже принимала меня въ свои безпощадныя объятія. Глаза тяжелѣли, тѣло ломило.

Такъ оставили мы отрядъ. Слышны были пожеланія. Собравшіеся товарищи долго смотрѣли намъ вслѣдъ, и видно было издали, какъ они махали шапками, посылая свой послѣдній привѣтъ.

Въ дни тревоги.

(Изъ найденныхъ записокъ офицера.)

I.

Незадолго до объявленія послѣдней войны ко мнѣ въ роту назначенъ былъ субалтернъ-офицеромъ подпоручикъ Матьянскій, только что передъ этимъ переведенный въ полкъ. Всеволодъ Сергѣевичъ своей наружностью и манерами производилъ странное впечатлѣніе. Блондинъ съ голубыми глазами, необыкновенной бѣлизны и съ нѣжнымъ румянцемъ на щекахъ, Матьянскій походилъ скорѣе на изящную дѣвушку, чѣмъ на молодого человѣка. Только небольшіе усики, которые онъ закручивалъ, обличали въ немъ мужчину. Въ манерѣ говорить и вообще относиться къ людямъ также было что-то необычайное. Матьянскій растягивалъ немного свою рѣчь, ласково улыбался и слегка покачивалъ головой, какъ бы закрѣпляя этимъ истину своихъ словъ. Но пѣвучесть его рѣчи не была фатовствомъ, а скорѣе проявленіемъ какой-то воздушности, что совершенно не совмѣщалось съ идеей о войнѣ. На солдатъ онъ не имѣлъ никакого вліянія. Они дѣлали ему подъ козырекъ, но говорили съ нимъ развязнымъ то-

номъ, какъ будто видя передъ собой не начальника, а мальчика, призваннаго совѣмъ не для того, чтобъ командовать и распоряжаться.

Совершенно иного сорта былъ другой мой „субалтернъ“, Иванъ Петровичъ Лугавинъ. Средняго роста, видный брюнетъ, плотно сложенный, съ волосами, нѣсколько нависшими на лобъ, онъ любилъ военную службу по принципу и съ особеннымъ умѣньемъ относился къ солдатамъ.

— Ребята, что вы смотрите на этого прохвоста?— ораторствовалъ онъ. — На прошломъ смотрю всѣ пули пустил гулять по бѣлу свѣту, на церемониальномъ маршѣ никогда не равняется, а васъ за это ругаютъ. Надо бѣ поискать, какое у него ребро пищить.

Солдатики хихикали и были довольны, что съ ними такъ запросто обращается офицеръ.

Къ своему сотоварищу Матѣянскому Иванъ Петровичъ за глаза относился иронически и никогда иначе не называлъ, какъ „Купидонъ“ или доморощенный „Адонисъ“. Къ этимъ прозвищамъ прибавилось и третье: за то, что Всеволодъ Сергѣевичъ, идя передъ фронтомъ, не шелъ прямо, а нѣсколько изгибался въ таліи, товарищи окрестили его „трепещущей лиліей“.

Однако этотъ цвѣтокъ, вызывавшій насмѣшки, сдѣлался вскорѣ многимъ солонъ.

Говорятъ, что женщины увлекаются мужчиной, когда онъ мужественъ, но это не всегда. Часто еще большимъ магнитомъ для нихъ является юноша съ нѣжной кротостью и той неуловимой воздушностью, которою надѣленъ былъ Всеволодъ Сергѣевичъ. Когда онъ шелъ по улицѣ, то молодая

дѣвушки, а въ особенности среднихъ лѣтъ дамы съ жадностью впивались въ него глазами. Это очень не нравилось любовнымъ бойцамъ, до прибытія Матьянскаго не знавшимъ конкурентовъ.

Я такъ и ожидалъ, что появленіе „миндальнаго красавца“ вызоветъ какую-нибудь, если не трагическую, то во всякомъ случаѣ пикантную исторію. Такъ оно и случилось.

Обыкновенно, когда воинскія части сходились на тѣсные сборы, офицеры по большей части столовались у своихъ ротныхъ командировъ. У меня это было удобно потому, что мой денщикъ Клеменчукъ отлично стряпалъ и отличался добросовѣстностью. Онъ велъ расходъ, и въ концѣ каждой недѣли мы производили учетъ.

Такимъ образомъ Матьянскій и Лугавинъ встрѣчались каждый день, но мнѣ не приходило въ голову, что это два заклятыхъ врага, пока разъ вечеромъ Клеменчукъ, снимая съ меня платье, таинственно не сообщилъ:

— Ваше благородіе, какъ бы грѣха не вышло.

— Какого грѣха?—съ удивленіемъ спросилъ я.— О чемъ ты говоришь?

— Насчетъ ихъ благородій. Вчера чуть одинъ другого не лязгнули.

— Кто? Кого? Да отвѣчай ты толкомъ, оселъ!

— Да его благородіе поручикъ Лугавинъ его благородіе подпоручика Матьянскаго.

— За что же?

— Да все за барышню.

— Какую барышню?

— Хозяйскую дочку, что въ домѣ проживаетъ. Допрежь того поручикъ Лугавинъ въ кавалерахъ

былъ, а нонѣ подпоручикъ силу забралъ; вотъ у нихъ и вышла кондра. Вчера слышу у калитки: „Я, говоритъ, васъ, Купидонъ проклятый, отважу“. Тутъ подпоручикъ и взгомозись: „Да какое вы, говоритъ, имѣете полное право меня такъ называть?“ И пошло и пошло...

Сообщеніе, сдѣланное Клеменчукомъ, заставило меня призадуматься. Не рѣшаясь говорить о щекотливомъ дѣлѣ съ кѣмъ-нибудь изъ соперниковъ, я обратился къ Мышникову, также командовавшему ротой. Тотъ махнулъ рукой и со смѣхомъ отвѣтилъ:

— Да, да, не подѣлили дѣвицы. Я вчера и то говорю Лугавину: „Ванька, не балуйся, а то Данила Степановичъ велитъ кучеру отвязать оглоблю и тебѣ перешибить ноги“.

То было еще блаженное время. Хотя желѣзные засовы съ воротъ были уже сняты, собаки во дворѣ не спускались съ цѣпей, но дѣвицы-красавицы не сидѣли уже въ теремахъ, а, почуявъ свободу, стали заявлять о своихъ правахъ и въ этой борьбѣ нерѣдко поступали, очертя голову.

Это именно и случилось въ семьѣ моего хозяина Данилы Степановича, занимавшагося хлѣбной торговлей. Любочкинъ, сухощавый мужчина, сорока семи лѣтъ, съ черной бородкой и рѣзкими чертами лица, ходилъ въ картузѣ, длинномъ сюртукѣ и большихъ сапогахъ. Отецъ его, какъ мелкій прасолъ, скупалъ у заставы привозимое изъ деревень зерно и этимъ составилъ небольшое состояніе. Сынъ, кое-чему учившійся, шокируясь приемами своего родителя, не захотѣлъ мокнуть на дождѣ и мерзнуть на морозѣ, а сталъ ѣздить

по уѣздамъ и пріобрѣтать хлѣбъ у землевладѣльцевъ, которые и доставляли его въ городъ. Такими оборотами онъ увеличилъ свой достатокъ и пріобрѣлъ домъ съ флигелемъ.

Жена Данилы Степановича была типичнѣйшая уѣздная купчиха. Съ одутловатымъ лицомъ, она ежедневно ругалась съ кухарками, опивалась чаемъ и каждый праздникъ, принарядившись, ходила къ обѣднѣ. Въ остальномъ она не принимала никакого участія и, какъ тупая малограмотная женщина, не имѣла ни малѣйшаго вліянія на дѣтей. А ихъ у Любочкиныхъ было трое.

Михаилъ Даниловичъ, молодой человекъ лѣтъ двадцати пяти, съ безцвѣтной наружностью, гордась достаткомъ отца, важничалъ, желая этимъ поддержать семейный престижъ. Луша была еще дѣвочкой тринадцати лѣтъ, а Сашѣ, изъ-за которой загорѣлся сыръ-боръ, минуло девятнадцать.

Она была дѣйствительно очень мила. Черты ея лица отличались классической правильностью. Отъ глубокихъ синеватыхъ глазъ вѣяло чѣмъ-то таинственнымъ, свѣтло-каштановые волосы копной лежали на изящной головѣ. Но что особенно было привлекательно—это общее выраженіе лица. Въ немъ виднѣлась врожденная интеллигентность, составлявшая полный контрастъ съ лицами ея родителей. Смотри на прелестное существо, поневолѣ приходилось преклониться передъ тайной природы, совершившей такое чудо. Саша училась у „мамзели“ и въ три года сдѣлала огромные успѣхи; она бойко читала по-французски и по-нѣмецки, съ помощью лексикона могла хорошо переводить, знала четыре правила ариѳметики и

имѣла понятіе объ исторіи и географіи. Дѣвушка желала учиться далѣе, но отецъ категорически объявилъ:

— Будетъ съ тебя. Не въ ученія тебѣ итти, а дѣтей рожать ума большого не надо.

Тѣмъ ученье и кончилось.

Сообщивъ мнѣ эти біографическія свѣдѣнія, Мышниковъ вздохнулъ и добавилъ:

— А вѣдь какая дѣвушка! Пусти-ка такую въ большой свѣтъ — въ княгини или графини попала бы. Такъ что жъ удивляетесь, что господа офицеры стоятъ изъ-за нея другъ противъ друга съ оскаленными зубами. Еще, пожалуй, отколошматятъ одинъ другого. Вы бы ихъ образумили, а то оба ни за что пропадутъ.

Я обѣщалъ Василию Васильевичу пожурить своихъ субалтерновъ и ждалъ слѣдующаго дня, когда они должны были прійти обѣдать.

Въ назначенный часъ въ прихожей раздался знакомый кашель Лугавина. Воспользовавшись тѣмъ, что Матѣянскій замѣшкался, я немедленно приступилъ къ объясненію.

— Я хочу сказать вамъ нѣсколько словъ, — обратился я къ нему. — Вы позволите мнѣ говорить откровенно?

— Вы — удивительный начальникъ! У подчиненнаго спрашиваете позволенія. Гикните, я сейчасъ и руки по швамъ.

— Вы напрасно шутите, я хочу коснуться очень серьезнаго вопроса, не какъ начальникъ, а какъ товарищъ.

— Это еще трогательнѣе. Весь обращаюсь въ слухъ.

— Ваша распря съ Матьянскимъ не доведетъ васъ до добра.

— Э, куда пошло! Михаилъ Петровичъ, я васъ очень уважаю, но подъ опекой не состою.

— Эта не опека, а участіе. Вы преслѣдуете хозяйскую дочь, какъ будто она особа, не стоящая уваженія.

Лугавинъ вспыхнулъ и, отступая два шага, рѣзко проговорилъ:

— Да я къ ней съ полнымъ почтеніемъ, но съ тѣмъ, кто перебѣжалъ мнѣ дорогу...

— Ваши любовныя перипетіи меня нисколько не интересуютъ, и я не заикнулся бы о нихъ, если бы не боялся, что вы дойдете съ Матьянскимъ до предосудительныхъ поступковъ. Это скомпрометируетъ роту, а вы угодите подъ офицерскій судъ, который не помилуетъ васъ.

— Эхъ, Михаилъ Петровичъ, когда у человѣка задѣто самолюбіе, ему не страшенъ никакой офицерскій судъ.

Въ это время въ прихожей послышался тонкій голосъ Матьянскаго:

— Еще не сѣли обѣдать?

— Никакъ нѣтъ,—отвѣчалъ ему Клеменчукъ.

Я продолжалъ негромко:

— Послушайте, Иванъ Петровичъ, если вы хотите сохранить ко мнѣ добрыя отношенія, то, по крайней мѣрѣ, сводите счета не въ моей квартирѣ.

— Будьте покойны, я, что называется, ухомъ не шевельну.

Въ дверяхъ появился Всеволодъ Сергѣевичъ. Всѣ обмѣнялись рукопожатіями, а затѣмъ я скомандовалъ:

— Клеменчукъ, давай намъ ѣсть!

Я и Лугавинъ выпили по рюмкѣ водки, а Матъянскій, деликатно отломивъ отъ ломтя корочку, посолилъ ее и, держа въ рукѣ, сталъ сообщать:

— Сейчасъ былъ у батальоннаго адъютанта и поинтересовался, нѣтъ ли чего насчетъ мобилизации. Нѣтъ, тихо.

— А пора бы,—отвѣтить я.—Всѣ ждутъ и томятся, а это отзывается даже и на дисциплинѣ. Солдаты думаютъ: „Одинъ конецъ—идемъ драться“, и не дорожатъ ничѣмъ.

Видя, что молодые люди покашиваются одинъ на другого, я задумалъ тронуть ихъ за самое больное мѣсто офицера—воинскую честь.

— Чѣмъ хороши сборы на войну—всѣ мелкіе счеты кончаются, даже враждующіе примиряются, потому надъ всѣми нами уже носится призракъ смерти. Я могу уважать только такого человѣка, который возвысится духомъ и отряхнется отъ обиходныхъ дразгъ мирнаго времени.

Оба какъ будто не слыхали сказаннаго. Я продолжалъ:

— „Война“ — ее называютъ страшнымъ бѣдствіемъ. Да, она великое бѣдствіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ—какія вызываетъ благородныя чувства! Мы начинаемъ сильнѣе любить родину, дѣлаемся добрѣе, великодушнѣе и начинаемъ геройски смотрѣть въ глаза смерти. Какими же ничтожными должны казаться наши мелкіе счеты и ссоры!

Лугавинъ сидѣлъ, опустивъ голову, и барабанилъ пальцами по столу; Матъянскій же, напротивъ, смотрѣлъ на меня во всѣ глаза, улыбался своей блаженной улыбкой и кивалъ головой. Его

фигура показалась мнѣ настолько забавной, что я невольно подумалъ: „Лугавинъ правъ, это дѣйствительно какой-то купидонъ. Неужели ему непонятно, что я говорю по его адресу?“

— Вы тысячу разъ правы, Михаилъ Петровичъ,—соглашался онъ со мной.—Къ чему ссоры? Надо со всѣми жить въ дружбѣ. Я удивляюсь, какъ можно враждебно относиться къ кому-нибудь, а въ особенности къ товарищу.

При этихъ словахъ Лугавинъ порывисто вскочилъ. Бросивъ ироническій взглядъ на говорившаго, онъ простился и ушелъ.

Когда за нимъ захлопнулась входная дверь, я обратился къ Матьянскому.

— Какъ онъ посмотрѣлъ на васъ!—замѣтилъ я.

— Да, да, сердится. А спросите—за что? Развѣ я не могу дѣлать того, что хочу? А онъ вдругъ требуетъ, чтобы я не разговаривалъ съ Александрой Даниловной. Развѣ у него есть на это право?

— Конечно, нѣтъ, но, можетъ-быть, между ними была нѣкоторая близость, назовите ее хоть дружбой. Естественно, ему не нравится то, что она стала оказывать вамъ большее вниманіе.

— Онъ ей не мужъ и не женихъ, а простой ухаживатель. Что же я буду стѣсняться? Притомъ у него на нее дурные виды, а я—честный человекъ.

— Почему же вы знаете его мысли?

— Онъ самъ сказалъ. А мнѣ она нравится, какъ чудная дѣвушка, глубоко чувствующая, но угнетенная условіями жизни. Я люблю ее, какъ самый нѣжный братъ.

— Все это прекрасно, но не упускайте изъ вида характера Лугавина. У всѣхъ людей съ узкими лбами въ натурѣ жестокость, а у Ивана Петровича видѣли, какъ волосы опущены?

— Что же онъ мнѣ можетъ сдѣлать? Ничего. По моей фигурѣ многіе думаютъ, что я дряблый, но они ошибаются. Правда, я не люблю шумѣть, но за свою честь всегда сумѣю постоять.

Женоподобное лицо говорившаго покрылось румянцемъ, и въ тонѣ послышалась гордая самоувѣренность. Это была уже не трепещущая лилія, а настоящий мужчина и офицеръ.

— Не сомнѣваюсь, но если ссора доведетъ васъ до того, что вы будете преданы суду общества офицеровъ?

— За что же меня будутъ судить?

— Лугавинъ можетъ довести васъ до того, что ваша непріязнь окончится физической расправой.

— Никогда. Но если онъ осмѣлится... я убью его.

Это было сказано совершенно спокойно. Я невольно измѣрилъ глазами Адониса, сидѣвшаго передо мной, и подумалъ: „Вотъ вы и судите человѣка по наружности“.

Матѣянскій начиналъ интересоваться меня, и мнѣ захотѣлось поближе ознакомиться съ этой курьезной личностью.

— Всеволодъ Сергѣевичъ, — обратился я къ нему, — можетъ-быть, вы не знаете, что многіе изъ товарищей странно относятся къ вамъ?

— Прекрасно знаю. Мнѣ извѣстны и прозвища, которыя мнѣ дали. Ну, что жъ, пускай тѣшатся. Къ этому я отношусь совершенно равнодушно.

— Откуда у васъ такая стойкость? Меня очень интересуетъ ваше прошлое.

— Оно такъ же просто, какъ и у всякаго обыкновеннаго офицера. Мой отецъ былъ военнымъ стараго закала и служилъ въ полку; матушка была шведка. Первые годы дѣтства я провелъ въ Финляндіи, а затѣмъ мы переѣхали въ Остзейскій край. Отецъ былъ человѣкомъ горячимъ, вспыльчивымъ и крайне несдержаннымъ. Мы не разъ слышали, какъ онъ громко жаловался на судьбу и на то, что семейство обременяетъ его. Это насъ очень обижало, и мы, собравшись гдѣ-нибудь въ темномъ уголкѣ, съ недоумѣніемъ разсуждали, за что отецъ сердится на насъ. Развѣ мы виноваты, что ему трудно содержать насъ? Это убѣжденіе, что я живу въ тягость, отравляло мнѣ существованіе. Я боялся сѣсть лишній кусокъ и всегда выходилъ изъ-за стола голоднымъ. Только денщикъ Акинѣевъ являлся нашимъ благодѣтелемъ. Онъ дѣлился съ нами своимъ хлѣбомъ, который мы съ жадностью поѣдали. Но и такой праздникъ былъ для насъ не часто. Что могъ удѣлять бѣдный солдатъ изъ выдаваемыхъ ему пуда тридцати фунтовъ муки въ мѣсяцъ? Однако при такой невыносимой обстановкѣ мы не переставали смотрѣть на мать съ благоговѣніемъ, и она не слышала отъ насъ никогда, что мы голодны. Вы спросите, почему мы это дѣлали? Ахъ, вамъ трудно будетъ понять меня! Нужно было знать эту дивную женщину, видѣть ея проникающій въ душу взглядъ, слышать ангельскій голосъ и хоть разъ почувствовать ея поцѣлуй на щекѣ, чтобы ея образъ навсегда врѣзался въ па-

мати. Она была блондинка, необыкновенной бѣлизны, съ волосами пепельнаго цвѣта. Говорятъ, я очень похожъ на нее. Наша мать никогда не улыбалась. Вѣроятно, она понимала безвыходное положеніе семьи. Всегдашніе недостатки, художныя полуголодныя дѣти, которымъ не на что давать образованіе... развѣ это не ужасная драма? И она зачахла, а за ней одинъ за другимъ умерли и братья. Отецъ также недолго пережилъ ихъ. Не знаю, какимъ чудомъ уцѣлѣлъ я. Но вы видите, что дурно проведенные дѣтскіе годы не прошли даромъ, и я остался какой-то писаной фарфоровой куклой. Зато наболѣвшая душа моя крѣпка, и зломъ со мной ничего нельзя сдѣлать.

Его разсказъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Чуть не съ колыбели страдать, бороться, сознавать свою безпомощность и остаться чистымъ и цѣльнымъ человѣкомъ—это ли не подвигъ?

Уходя изъ квартиры, Всеволодъ Сергѣевичъ на прощанье обратился ко мнѣ:

— Михаилъ Петровичъ, я васъ мало еще знаю, но успѣлъ почувствовать къ вамъ почтеніе какъ къ начальнику, такъ и товарищу. Вотъ почему я не стѣснися удовлетворить вашему любопытству и вкратцѣ разсказать свою біографію. Но надѣюсь, что то, что вы слышали отъ меня, дальше васъ не пойдетъ.

Проводивъ Матѣянскаго, я долго думалъ о томъ, какія бываютъ сложныя натуры и какъ часто мы ихъ не понимаемъ.

Послѣ часа, проведеннаго съ глаза на глаза, наши отношенія съ Всеволодомъ Сергѣевичемъ рѣзко измѣнились. Онъ уже иначе пожимать мнѣ

руку и еще чаще смотрѣлъ дѣтски-блаженнымъ взглядомъ, который многими товарищами понимался такъ превратно.

Встрѣчаясь у меня ежедневно, „субалтерны“ держали себя съ тактомъ. Но у Лугавина все-таки вырывались порой неосторожныя слова. Желая предостеречь задиру, я отозвалъ его въ спальню и вполголоса сказалъ:

— Вы будьте осторожны. Матьянскій вчера сказалъ мнѣ опредѣленно, что если вы позволите себѣ какое-нибудь насиліе надъ нимъ, то онъ васъ убьетъ.

Лугавинъ притворно захихикалъ:

— Ишь ты, какой страшный! Посмотрю я, какъ онъ начнетъ меня убивать. Видывали мы такихъ.

Однако мои слова, видимо, подѣйствовали. Иванъ Петровичъ притихъ и не позволилъ себѣ ни одного лишняго слова.

Между тѣмъ свиданія и бесѣды между Матьянскимъ и Сашей продолжались. Я видѣлъ, какъ Всеволодъ Сергѣевичъ, сидя подлѣ дѣвушки, втолковывалъ ей что-то, при чемъ сильно жестикулировалъ. Уѣздные обыватели косо посматривали и подшучивали надъ „неразлучной парой“. Михаилъ Даниловичъ, слыша шуточки надъ своей сестрой, день ото дня ожесточался и, наконецъ, при встрѣчѣ со мной не выдержалъ:

— Позвольте васъ спросить, господинъ капитанъ, на что это похоже? Развѣ есть такое положеніе, чтобъ офицеры конфузили насъ передъ людьми?

— О чемъ и о комъ вы говорите?

— О подпоручикѣ Матъянскомъ, который служитъ подъ вашимъ начальствомъ. Чего онъ присталъ къ моей сестрѣ? Компанію съ дѣвушкой приличествуетъ водить тому, кто намѣренъ на ней жениться. А это что жъ такое! Гуляютъ себѣ и горя мало, да вздумать еще книги давать ей читать. На нее теперь всякій настоящій человѣкъ пальцемъ показываетъ. Сдѣлайте ваше одолженіе, запретите этому господину нахальничать, а то я дойду и до батальоннаго командира.

Я былъ поставленъ въ очень затруднительное положеніе. Въ словахъ Любочкина было много правды, но какія мѣры могъ я принять, чтобъ прекратить эти свиданія? Это я высказалъ ему чистосердечно:

— Я вамъ вполне сочувствую; люди могутъ осуждать вашу сестру, но я убѣжденъ, что Матъянскій честный человѣкъ и не способенъ на низкій поступокъ.

— Пускай такъ, но мораль идетъ. Кто жъ ее послѣ этого возьметъ замужъ?

Какъ не убѣждалъ меня молодой человѣкъ поудить влюбленнаго офицера не видѣться съ дѣвушкой, я наотрѣзъ отказался отъ такой миссіи, и Любочкинъ заявилъ, что пойдетъ жаловаться Вахѣву.

Каждый день я проходилъ мимо оконъ хозяйскаго дома и всегда видѣлъ Сашу, сидѣвшую у окна, между цвѣтами, съ книгой въ рукахъ. Дѣйствительно ли она интересовалась чтеніемъ или это былъ предлогъ лишній разъ обмѣняться взглядомъ съ милымъ сердцу,—трудно было сказать.

II.

Въ то время, когда происходила романическая исторія молодыхъ людей, остальные офицеры жили созвѣмъ не такъ. Тревожное время, переживаемое нами, клало на все свой отпечатокъ. Увѣренность, что война неминуема, выводила военный людъ изъ обычной колеи. Каждый день мы сходились въ дома, гдѣ роты помѣщались казарменнымъ порядкомъ, но никто не думалъ о занятіяхъ съ нижними чинами. Проболтавшись на дворѣ или просидѣвъ въ ротной канцеляріи, мы кончали свои фиктивные труды тѣмъ, что требовали отъ ротнаго котла пробную порцію, уписывали добрую миску и расходились по квартирамъ.

Да и могло ли итти на умъ дѣло, когда черезъ мѣсяцъ-другой мы должны были очутиться на театрѣ военныхъ дѣйствій? Вѣяніе войны вліяло не только на офицеровъ, но и на нижнихъ чиновъ. Формализмъ, такъ недавно считавшійся чѣмъ-то важнымъ, вдругъ потерялъ свое значеніе. Грозный призракъ боя все возвышалъ и всё ставилъ въ новыя рамки.

Въ одно сѣренькое утро я по обыкновенію пошелъ въ роту на занятія. Взводы были выстроены, но никого еще изъ офицеровъ не было. Поздоровавшись, я обошелъ ряды, сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній и, дойдя до лѣваго фланга, остановился. На меня смотрѣли давно знакомые люди, но по выраженію лицъ это были словно не тѣ солдаты.

— Молодцами смотрите! — сказалъ я, возвыся голосъ.

— Рады стараться, ваше благородіе! — дружно грянули они въ отвѣтъ.

— Я слышалъ, ребята, что многіе изъ васъ стали продавать вещи. Не надо торопиться. По всему видно, что готовится война, но никому это вполне неизвѣстно. Ждите.

— Такъ точно, ваше благородіе,—громко отвѣтилъ унтеръ-офицеръ Блиновъ.—Потомъ втридорога придется платить, да со многими не сообразишь; ладятъ одно: „съ собой не возьмешь“.

Самое помѣщеніе, гдѣ располагалась рота, не отличалось обычною щеголеватостію. Словно это былъ не сборъ на тѣсныхъ квартирахъ, а какой-то этапъ.

Вскорѣ послѣ меня пришли Матьянскій и Лугавинъ.

— Господа, прошу васъ не манкировать, вы подаете дурной примѣръ. Служба — всегда служба.

Они взяли подъ козырекъ и молча выслушали замѣчаніе.

Всеволодъ Сергѣевичъ былъ свѣжъ, но по заспанному лицу, осовѣлымъ глазамъ и всклоченной бородѣ Лугавина нетрудно было догадаться, какъ онъ провелъ ночь.

Когда ученъе кончилось, я отвелъ Ивана Петровича въ сторону и сталъ пенять:

— Вѣрно, опять куролесили?

Онъ махнулъ рукой и негромко проговорилъ:

— Да. Въ шесть часовъ разошлись.

Батальонъ нашъ квартировалъ въ одномъ изъ большихъ уѣздныхъ городовъ. Въ немъ много было хорошихъ каменныхъ домовъ, двадцать цер-

квей,—словомъ, внѣшность самая приличная, но общественная жизнь отсутствовала. Несмотря на населеніе въ четырнадцать тысячъ, о театрѣ не было и помину. Наѣзжавшая труппа давала представления въ трактирѣ, гдѣ большая комната обращалась въ зрительный залъ. Когда же городъ оставался безъ труппы, то въ этомъ сомнительной чистоты заведеніи распѣвали арфистки, привлекая городскихъ жуировъ и такой бездомный людъ, какимъ въ то время были офицеры.

И что только тамъ творилось! Въ большой комнатѣ съ эстрадой возсѣдалъ за столиками всякій сбродъ, а въ двухъ сосѣднихъ была публика „почище“. Для увеселенія посѣтителей имѣлся хоръ, состоящий изъ шести дѣвицъ. Отъ этихъ „артистокъ“ не требовалось голоса и умѣнья пѣть, а онѣ были ничѣмъ инымъ, какъ трактирной приманкой, привлекавшей желающихъ весело провести время. Всѣ проживавшіе въ городѣ и не знавшіе, куда дѣться отъ скуки, шли въ этотъ притонъ и рады были всему, что убивало томительно скучное время. Тамъ можно было встрѣтить офицеровъ, помѣщиковъ, купцовъ и даже „значительныхъ чиновниковъ“ разныхъ вѣдомствъ.

Нѣкоторая разрозненность офицеровъ, существовавшая въ мирное время, въ такіе дни, какіе мы переживали, совершенно исчезаетъ. Каждому служащему непременно хочется быть вмѣстѣ, чтобы слиться въ одно цѣлое. Только этимъ я и могъ объяснить, что, не любя никогда разнузданности и безшабашности, я часто шелъ въ этотъ вертепъ, гдѣ Лугавинъ съ компаніей продѣлывали невообразимыя штуки.

На мой упрекъ Иванъ Петровичъ сдѣлалъ гримасу и неохотно проговорилъ:

— Эхъ, Михаилъ Петровичъ, не то время, чтобы разсуждать. Надо жечь жизнь, пока можно, а какъ попадемъ подъ открытое небо да будемъ класть голову вмѣсто подушки на кочку, такъ вотъ какими сдѣлаемся святошами... Приходите сегодня, тамъ двухъ новыхъ пѣвицъ выписали. Одна такъ поетъ, что хоть куда! Анной зовутъ, а мы ее прозвали Галькой. Цыганскія пѣсни раздѣлываетъ подъ орѣхъ. Глазами вскинетъ, а сама ножкой — любо!

Я поддался искушенію и обѣщалъ придти.

Когда я очутился въ значномъ мѣстѣ, большинство завсегдатаевъ было уже въ сборѣ. Изъ нихъ видныя роли играли: Мышниковъ, Ракетовъ, Баркинъ и Пимоничъ.

Ракетовъ высокаго роста, плечистый шатенъ, лѣтъ двадцати восьми, былъ холостъ, командовалъ ротой и славился въ полку, какъ отличный хозяинъ. У него заготовлялись такіе соленья и маринады, что ему могла бы позавидовать каждая хозяйка. Другими способностями Богъ обдѣлил его, но за аккуратность и исполнительность онъ считался вполне удовлетворительнымъ ротнымъ командиромъ.

Баркинъ былъ не глупъ. Нѣсколько выше средняго роста, съ длиннымъ лицомъ и маленькими бѣгающими глазками, онъ рѣдко былъ трезвъ, но ослабѣвалъ только къ вечеру, когда оканчивались занятія, и его не могли потребовать на службу. Нужно было удивляться, какъ выдерживали его силы. Про Ѳедора Александровича ходили курьез-

ные рассказы. Разъ будто бы, зайдя къ знакомому пивовару, они втроемъ отъ обѣда до шести часовъ утра выпили по двадцати семи бутылокъ пива на брата. Какъ въ такой сравнительно короткій срокъ организмъ могъ пропустить сквозь себя такое невѣроятное количество жидкости? Но это не было вымысломъ. Когда потомъ Баркина спросили, правда ли это, онъ удивился такому вопросу и съ усмѣшкой отвѣтилъ:

— Что жъ въ этомъ диковиннаго?

У Пимонича, какъ говорятъ, были „не всѣ дома“. При встрѣчѣ съ товарищемъ онъ способенъ былъ хохотать изъ пустяковъ на всю улицу и, привязавшись къ солдату, читать безконечныя нравовыя ученія. Несъ онъ при этомъ такую чепуху, что слушающій отъ недоумѣнія тарасилъ глаза. Но этого Дмитрій Савельевичъ не замѣчалъ и, уподобляясь голубю-бомбенку, тараторилъ безъ конца. Обучая же слабаго по фронту новобранца, Пимоничъ такъ громко выкрикивалъ командныя слова, будто въ его распоряженіи былъ не одинъ несчастный солдатикъ, а по меньшей мѣрѣ батальонъ. А когда обучаемый маршировалъ, то Дмитрій Савельевичъ, находясь чуть ли не подлѣ самага носа своей жертвы, пятясь задомъ, дѣлалъ лансады и неистово считалъ:

— Разъ—два, разъ—два.

Въ дамское общество Пимонича не пускали. Разъ подлѣ него сѣла жена штабъ-офицера и такимъ образомъ преградила ему выходъ съ дивана. Недолго думая, онъ перешагнулъ ей черезъ колѣни, при чемъ сталъ заливаться неистовымъ смѣхомъ, приговаривая:

— Каковы мы гимнастеры? Ни крошечки не задѣлъ!

Когда же его заставили извиниться, онъ подбѣжалъ къ дамѣ и съ удивленіемъ спросилъ:

— Развѣ вы обидѣлись? Что же я сдѣлалъ дурного?

Среди такой компаніи какъ-то рѣзко выдѣлялся ротный командиръ Голумянцевъ. Не принимая никакого участія въ оргіи, которая уже разгоралась, Геннадій Владимировичъ сидѣлъ вдали, съ усмѣшкой посматривалъ на кутившихъ и на пѣвицъ, державшихъ себя крайне развязно.

Окинувъ взглядомъ это „скопище“, я вошелъ въ комнату. Многіе поднялись съ мѣстъ и подошли поздороваться. Арфистки, не зная меня, не рѣшались выказывать мнѣ своей благосклонности, и я слышалъ, какъ одна сказала другой:

— Ну, этотъ пришелъ, только скуку наведетъ.

Желая не быть лишнимъ, я обратился къ дѣвушкѣ, недружелюбно отозвавшейся обо мнѣ, и сказалъ:

— А вотъ вы и ошиблись, я не за тѣмъ пришелъ, чтобъ принести съ собою скуку; давайте-ка я съ вами выпью.

Меня потащили къ столу, придвинули стулъ, и рюмки тотчасъ были налиты.

— Господа, ваше здоровье, — сказалъ я, чокаясь. — Вы знаете, я мало пью, но теперь является какая-то потребность отуманиваться.

Едва я проглотилъ налитую мнѣ рюмку, какъ услышалъ сбоку нѣжный голосъ:

— А можно васъ поцѣловать?

И очень красивая дѣвушка Галя чмокнула меня въ губы.

— Браво, Михаилъ Петровичъ, браво. Не даромъ въ походъ собираетесь. Заговляйтесь, — говорилъ Голумянцевъ иронически.

— Сказано хорошо! — придрался къ случаю Баркинъ. — Выпить, выпить! Непремѣнно выпить!

— Какъ онъ ловко все къ случаю подгоняетъ, — одобрялъ поручикъ Мустоцкій, одутловатая фигура, съ явными признаками поклоненія Бахусу.

Григорій Вадимовичъ былъ очень не глупый человѣкъ, но съ истинно-малороссійской неподвижностью. Не нуждаясь онъ въ кускѣ хлѣба, онъ весь вѣкъ просидѣлъ бы въ Малороссіи, пожирая вареники и сало. По лѣности Мустоцкій не заводилъ никогда длиннаго разговора, а вмѣшивался въ чужіе, и то высказывая критическія сужденія въ родѣ: „аккуратно“, „жестко“.

Баркинъ, желая оживить вечеръ, шепнулъ тремъ пѣвицамъ, чтобы онѣ атаковали Голумянцева.

Тѣ обрадовались случаю пошалить и двинулись съ трехъ сторонъ на капитана.

Тотъ, завидя маневръ, вскочилъ съ мѣста и прижался къ углу.

— Не подходи, а то прическу испорчу!

Но арфистки ринулись на него. Послышался пискъ, крикъ и общій хохотъ.

На этотъ шумъ вошелъ содержатель хора звать пѣвицъ на эстраду.

Леговичъ, черненькій курчавый господинъ, очевидно, изъ евреевъ, безъ милосердія эксплуатировалъ дѣвушекъ, попавшихся къ нему въ лапы. Подъ видомъ арфистокъ онъ развозилъ ихъ по

городамъ, сквозь пальцы смотря на нравственность служащихъ у него, и этимъ наживалъ хорошія деньги. Въ строгомъ смыслѣ слова это было не что иное, какъ группа проститутокъ, прикрывавшихъ свое ремесло пѣніемъ. Передъ нами антрепренеръ лебезилъ, понимая, что если офицерство и не Богъ вѣсть что бросаетъ на ноты обходившей, то вниманіе военныхъ придаетъ его убогому хору хоть нѣкоторое значеніе.

Пока пѣвицы вывизгивали свои номера, робкой поступью вошелъ Матьянскій и, растягивая по обыкновенію слова, проговорилъ:

— Здравствуйте. Ну, что? Покучиваете?

— Господа, за здоровье Купидона! Ха-ха-ха!— гремѣлъ Лугавинъ.

— Аккуратно!—твердилъ свое Мустоцкій.

— Купидона, такъ Купидона,—одобрялъ Ракетовъ, наливая себѣ наливки.

— Ты что жъ это все сладость тянешь?—возмущался Баркинъ.

— Водки не пью.

— Ему мамася заплетила.

— Правильно.

Воспользовавшись тѣмъ, что молодежь устроилась вокругъ стола, я обратился къ Голумянцеву:

— Попали мы съ вами въ компанію! Не только холостыхъ, но и женатыхъ нельзя узнать. Очевидно, война съ ея ужасами заранѣе кладетъ свою печать на всѣхъ.

— И что у васъ за скверная манера говорить высокимъ слогомъ и возноситься горѣ! Намъ это и по уставу не полагается. Наша жизнь должна

проходить по установленной формѣ, въ узкихъ рамкахъ и въ опредѣленныхъ размѣрахъ. По-моему, если офицеръ много разсуждаетъ, — это нехорошо. Соображать онъ долженъ, это несомнѣнно, потому что искусство убивать людей какая ни на есть, а все-таки наука. Чтобы быть мастеромъ своего дѣла, надо развить въ себѣ смѣтливость, подробно изучить натуру подчиненнаго и усвоить военныя ухватки, называемыя тактикой. Вотъ надъ этимъ надо призадуматься, потому дурни вездѣ прогораютъ, но пыхтѣтъ надъ ученою сушиью, какъ это дѣлаете вы неизвѣстно для чего, — не одобряю.

Къ намъ неожиданно подошелъ молодой офицеръ Гурскій съ пенснэ на носу и, остановившись, сказалъ:

— Не въ томъ дѣло, господа, не въ томъ дѣло. Закисли мы, вотъ что. Намъ нужна буря, чтобъ ураганъ пронесся надъ нашей мертвечиной и очистилъ воздухъ, а тамъ видно будетъ, что надо читать и чему учиться.

— Аккуратно!—прервалъ Гурскаго Мустоцкій.— Евгений Андреевичъ у насъ вулканъ неоткрытый, и что будетъ на войнѣ, когда жерло откроется! Ни одному турку не уйти.

— Турокъ—туркомъ, а я больше думаю о турчанкахъ,—усмѣхнулся Баркинъ.

— Вѣрно, вѣрно,—шумѣлъ Пимоничъ.—„Гирей сидѣлъ, потупя взоръ“...

— Замолчите, ерундистъ!—обрѣзалъ его Гурскій.—Гирей и туркомъ-то никогда не былъ.

— А развѣ не все равно, кого бить, турка или другого чумазаго? Ха-ха-ха!

Въ это время хоръ окончилъ отдѣленіе, пѣвицы сбѣжали съ эстрады и шумно подходили къ столу.

— Фу, какъ устала! Даже запыхалась, — говорила Анжелика, присаживаясь къ столу. — Дайте чѣмъ-нибудь горло промочить.

— И мнѣ... И мнѣ...—говорили другія.

Появились бутылки съ пивомъ.

— Вотъ бы, господа, кого опредѣлить въ секстры милосердія да забрать съ собой! Тогда бы ужъ про нихъ нельзя было сказать, что у нихъ нѣтъ креста на шеѣ,—острилъ Лугавинъ.

— У васъ есть!—огрызнулась Ольга.—Сами въ душѣ не лучше насъ. Я, небось, каждое воскресенье къ обѣднѣ хожу.

— Аккуратно!—одобрялъ Мустоцкій, уже порядочно подвыпившій.

Чтобы не быть такимъ посѣтителемъ, на которыхъ рестораторы косятся, я заказалъ ужинъ и пригласилъ Матьянскаго, отбивавшагося отъ безбзностей арфистокъ.

— Да это и впрямь Купидонъ!—шутилъ Баркинъ.—Гдѣ появится, тамъ на него и глазѣютъ. А какой въ немъ вкусъ? Онъ и на мужчину-то не похожъ.

При послѣднихъ словахъ въ комнату всыпала компанія подгулявшихъ купчиковъ. Среди нихъ особенно выдѣлялся Засудкинъ, некрасивый мужчина, лѣтъ тридцати пяти, съ краснымъ лицомъ и жидкой бородкой.

— Миръ вамъ и мы къ вамъ, — голосилъ онъ, входя.—Просимъ любить и жаловать, а мы къ господамъ офицерамъ съ полнымъ почтеніемъ. Имѣемъ честь...

Всѣ молча смотрѣли на вошедшихъ, не отвѣчая на привѣтствіе. Засудкинъ озирался.

— Что же, можетъ-быть, наше общество вамъ не по вкусу? Такъ мы и удалимся. А, между прочимъ, вы нами не брезгуйте. Мы завсегда къ военнымъ людямъ съ расположеніемъ, такъ какъ оны наши защитники отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ. Такъ, стало-быть, въ законѣ прописано. Каково, мы все знаемъ? Хе-хе! Пронзительно!

Никто не перебивалъ его, только Голумянцевъ иронически замѣтилъ:

— Вы, кажется, тоже воинъ, только безъ оружія въ рукахъ.

— Вы думаете? Очень даже отдаленно ошиблись. Будетъ сейчасъ и оружіе. Тогда посмотримъ, кто устоитъ супротивъ насъ. Люди! Человѣки! Челядь быстроногая, тащи двѣ дюжины шампанскаго, чтобы и намъ, стало-быть, нашихъ воиновъ-благодѣтелей чествовать.

Слово „дюжина“ всегда производитъ магическое дѣйствіе, и никто изъ насъ не протестовалъ противъ такой команды.

Исторія Засудкина самая заурядная. Какъ сынъ грубаго, необразованнаго и скупого торговца льномъ, Матвѣй Евсеевичъ съ дѣтства переносилъ брань, побои, и его держали въ черномъ тѣлѣ. Даже женивъ сына, Евсей Евдокимовичъ не отдѣлить его, а поселилъ въ мезанинѣ и выдавалъ очень скудное содержаніе. Послѣ смерти отца Засудкинъ опьянѣлъ отъ чувства свободы и повелъ образъ жизни, свойственный некультурнымъ богачамъ. Кутежи, непомѣрные расходы и

полное забвеніе семейныхъ обязанностей, даже всякихъ приличій,—вотъ что наполняло жизнь этого неудачника-сумасброда.

Когда было подано шампанское, онъ еще болѣе разошелся.

— Господа воины! — возглашалъ онъ, поднявъ бокаль. — Защитники наши, желаемъ еройскихъ подвиговъ и одолѣнія врага! Ура!

„Ура“ не было поддержано, но всѣ чокнулись съ тороватымъ купцомъ. Такія потчеванія часто носятъ на себѣ что-то принижающее, но у Засудкина оно выходило просто и искренно, такъ что даже строптивый Голумянцевъ отнесся къ угощенію добродушно и, потрепавъ по плечу Матвѣя Евсеевича, замѣтилъ:

— Вы хоть и безобразникъ, а славный малый.

— Истинно нараспашку! Что отъ Господа дано мнѣ, то и есть. А что я на войну прѣйду къ вамъ, не сумлѣвайтесь. И такого-то мы тамъ угара наберемъ, страсть!

Пѣвицы, очевидно, по опыту зная, что гораздо благоразумнѣе держаться поодаль отъ Засудкина, не подходили къ нему, а парочками сидѣли съ офицерами. Это задѣло Матвѣя Евсеевича, и онъ не выдержалъ:

— Эй, вы, горластая команда, чего тамъ прятались? Подходи промочить ротъ, а не то я и приволоку.

Однако никто не трогался съ мѣста. Понявъ, что „птички“ подъ защитой офицеровъ, купецъ ослѣлся и только зыкнулъ:

— Ладно жъ, погоди у меня, неблагодарный! Я тебя изъ Одессы произвелъ въ Анжелики, а ты

не чувствуешь моей милости, такъ возведу въ Хавроньи.

Шампанское подносилось и подносилось, пока никто уже не хотѣлъ пить его. Закончивъ пиръ коньякомъ, пьяная компанія разошлась по домамъ.

Такъ офицерство коротало скучно тянувшееся время. Если компанія не собиралась въ трактиръ, то всѣ шли къ кому-нибудь изъ ротныхъ командировъ и тамъ бились до поздней ночи въ карты. Нормальная жизнь была нарушена, и то, что прежде увлекало, занимало и наполняло жизнь, не шло на умъ. Мы желали одного, чтобъ неопредѣленное положеніе скорѣе кончилось. Бездомничанье и бивуачная жизнь, которую мы вели, становились тягостнѣе и тягостнѣе. Почту, приходившую изъ полкового штаба, ждали съ нетерпѣніемъ, но — увы! — получались незначительныя распоряженія, а о желанномъ походѣ не было ни слуха ни духа.

Особенно больно было смотрѣть на семейныхъ офицеровъ. Они держали вещи уложенными, довольствуясь только необходимымъ.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ. На поляхъ Сербіи, въ горахъ Босніи и Герцеговины попрежнему лилась кровь, а мы только издали прислушивались къ грому орудій и съ жадностью хватали газеты, въ которыхъ читали о геройскихъ подвигахъ славянъ и нашихъ добровольцевъ.

Наконецъ желанный часъ пробилъ. Позднимъ вечеромъ пришло предписаніе о немедленномъ выступленіи въ полковой штабъ.

Рано утромъ я пошелъ въ казармы сдѣлать нужныя распоряженія. Еще издали доносился до

меня страшный гулъ голосовъ. У воротъ стояли какіе-то люди и держали въ рукахъ вещи; во дворѣ же въ буквальномъ смыслѣ былъ рынокъ.

— Это что за безобразіе? — обратился я къ фельдфебелю, встрѣтившему меня.

— Солдатики вещи продаютъ, потому разрѣшено брать съ собой только то, что уложится въ ранецъ. Вотъ они и сбываютъ лишнее.

По командѣ „смирно!“ на дворѣ водворилась полная тишина, и покупатели отошли къ сторонѣ. Положеніе роты было, дѣйствительно, неутѣшительно. То, что скапливалось и пріобрѣталось солдатами нѣсколько лѣтъ и покупалось за настоящую цѣну, приходилось отдавать за гроши. Одинъ тащилъ сапоги, другой — подушку, третій — ситцевое одѣяло. Всякій стремился отдѣлаться отъ обузы и пріобрѣсти на черный день хоть маленькую сумму. Правда, было распоряженіе, что нижніе чины могутъ сдать лишнія вещи въ складъ, остающійся подъ карауломъ, но для идущаго на войну недоступны практическія соображенія. Сколько продлится боевая жизнь съ болѣзнями и стычками съ непріателемъ, никто не зналъ. Наконецъ полкъ могъ уйти въ другую мѣстность. На этихъ соображеніяхъ никто не разсчитывалъ на будущее и думалъ только о настоящемъ.

Часамъ къ десяти дворъ опустѣлъ, и пошли приготовленія къ выступленію. Предвидя, что никакая сила въ этотъ моментъ не въ состояніи удержать солдатъ отъ разныхъ прощаній, сопровождающихся выпивкой, я все-таки строго приказалъ слѣдить за тѣми, кто былъ на худомъ счету.

Дѣлалъ это я для успокоенія совѣсти, зная заранѣе, что увижу многихъ пьяненькими.

Зайдя на квартиру, чтобъ распорядиться, я засталъ Клеменчука въ большихъ хлопотахъ. Онъ укладывалъ сундукъ, чемоданъ и посуду.

— Я все-таки, ваше благородіе, обѣдъ сварилъ. Шти сдѣлалъ и курицу зажарилъ.

Чтобъ соблюсти долгъ вѣжливости, я собрался зайти къ семейнымъ офицерамъ и побывать у нѣкоторыхъ горожанъ, какъ вдругъ ко мнѣ явился вѣстовой отъ батальоннаго командира Вахѣева съ запиской, въ которой онъ требовалъ меня къ себѣ.

Едва я переступилъ порогъ квартиры, какъ Григорій Порфирьевичъ накинулся на меня:

— Что у васъ въ ротѣ дѣлается? Это безобразіе!

Думая, что командиръ распекаетъ меня за базаръ, устроенный солдатами, я хотѣлъ оправдаться. Но Вахѣевъ не далъ мнѣ сказать слова и еще громче продолжалъ:

— Ко мнѣ являлся купецъ Любочкинъ съ жалобой на то, что вашъ Матьянскій свелъ интригу съ его дочерью.

У меня немного отлегло отъ сердца.

— Господинъ полковникъ, частная жизнь офицера не подлежитъ моему контролю.

— Очень ошибаетесь. Безнравственные поступки порочатъ честь мундира, и ваша прямая обязанность объяснить ему это.

— Что же я долженъ дѣлать?

— Вы сами хорошо понимаете, какъ надо поступать въ такихъ случаяхъ.

Зная, что Вахѣвъ не любитъ возраженій, я стоялъ молча и смотрѣлъ на него.

Онъ нѣсколько успокоился и мягче заговорилъ:

— Согласитесь сами, Михаилъ Петровичъ, что это не благовидно.

— Вполнѣ согласенъ, но съ насъ, ротныхъ командировъ, требуютъ совершенно невозможнаго.

Дѣйствительно, ротный командиръ—это козель отпущенія. Все, что случается непріятнаго въ ротѣ, лежитъ на' его отвѣтственности. Напился ли солдатъ пьянъ, совершилъ ли онъ побѣгъ, кражу, убійство, или нарушена дисциплина, — за все въ отвѣтъ ротный командиръ. Ему не только дѣлаютъ выговоры, замѣчанія, но подвергаютъ аресту и удаляютъ отъ командованія частью. Нужно быть вездѣсущимъ и всевѣдущимъ, чтобъ ограждать себя отъ всякой напасти. Ни къ кому не подходитъ такъ изреченіе „безъ вины виноватъ“, какъ къ ротному командиру. Поэтому нижніе чины, зная, кто будетъ отвѣчать за ихъ проступокъ, тщательно берегутъ хорошаго начальника и всегда во-время, домашнимъ способомъ предотвратятъ бѣду. Такая тѣсная связь—не доказательство, что надзоръ за солдатами слабъ и что имъ дѣлаются всевозможныя послабленія. Любовь пріобрѣтается не мирволеньемъ и заискиваньемъ, а добросовѣстностью, знаніемъ службы, строгостью и вмѣстѣ съ тѣмъ сердечностью.

Относительно офицера положеніе ротнаго командира еще тяжелѣе. Онъ хотя и начальникъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и товарищъ, стало-быть, вмѣшиваться въ сердечныя дѣла въ высшей степени щекотливо. Но отъ меня требовали вмѣшательства,

и я немедленно послалъ за Всеволодомъ Сергѣевичемъ.

Едва онъ вошелъ въ мою квартиру, какъ я увидѣлъ по его лицу, что онъ попалъ въ передрягу.

— Что, голубчикъ, впутались въ исторію? — спросилъ я его.

Онъ махнулъ рукой и отвернулся.

— Рассказывайте, что такое произошло. Это мнѣ необходимо не потому только, что я расположенъ къ вамъ.

Матьянскій засмѣялся и пренебрежительно замѣтилъ:

— А-а, понимаю. Вѣрно, ходили жаловаться. Я этого ожидалъ.

— Расскажите мнѣ все откровенно.

— Извольте. Вы знаете офицерскую манеру искать у женщинъ успѣха. Отъ томительной скуки я тоже не устоялъ и началъ ухаживать. Но, когда я поговорилъ съ Любочкиной, мнѣ стало совѣстно. Эта купеческая дочка оказалась по чистотѣ своей души настолько выше насъ, что я смутился, и между нами скоро установились такія отношенія, какія бываютъ между самыми искренними друзьями. Конечно, съ ея стороны нужно было имѣть много героизма, чтобъ выносить отцовскую брань и не избѣгать меня. Но Александра Даниловна геройски выдержала все и, въ концѣ-концовъ, объявила, что не хочетъ болѣе оставаться дома и идетъ въ сестры милосердія. Вотъ это-то рѣшеніе и подняло въ домѣ бурю. Данила Степановичъ бросился къ Вахѣеву съ жалобой на меня, какъ на главнаго виновника непослушанія дочери.

— Да, онъ такъ и смотреть на васъ.

— Ну, и пускай! Мнѣ все равно. Въ отставку не выгонятъ — теперь офицеры нужны. Что касается Александры Даниловны, то я первый противъ того, чтобъ она шла въ сестры милосердія.

— Значить, вы ничего не имѣете противъ того, чтобъ я пошелъ къ ней поговорить?

— Сдѣлайте милость. Если вы повліяете на нее, буду считать себя обязаннымъ вамъ.

Получивъ такой отвѣтъ, я рѣшилъ немедленно заѣхать на нѣсколько минутъ къ Любочкинымъ и переговорить съ Сашей.

Въ то время войска въ рѣдкихъ случаяхъ перевозились по желѣзнымъ дорогамъ, а по большей части походы совершались пѣшкомъ. Нашъ батальонъ, расквартированный въ шестидесяти верстахъ отъ полкового штаба, могъ проѣхать весь путь въ два часа, но по маршруту намъ приходилось двигаться трое сутокъ.

Выступленіе назначено было въ два часа пополудни, но мы никакъ не могли въ точности исполнить приказанія, такъ какъ, несмотря на строгость, многіе нижніе чины, отпросившись на короткое время, опоздали и явились подъ хмелькомъ.

Я воспользовался задержкой и отправился къ Любочкинымъ.

Въ прихожей встрѣтилъ меня самъ Данила Степановичъ.

— Съ чѣмъ пожаловали? — грубымъ тономъ началъ хозяинъ.

— Вы обращались съ жалобой къ батальонному командиру?

— Обращался. А въ случаѣ чего и до высшаго начальства дойдемъ.

— Пожалуйста, не волнуйтесь. Я потому прѣхалъ къ вамъ, что принимаю въ васъ участіе.

— Да какъ же, помилуйте! Мы живемъ какъ слѣдуетъ, никто отъ насъ обиды не видитъ, а съ офицерской стороны намъ одинъ конфузъ. Послѣ всякихъ хожденій и гуляній на какой счетъ можетъ попасть дѣвица? Кто ее возьметъ замужъ? Развѣ какой-нибудь завалящій приказчикъ. Такъ и этого мало. „Хочу, говоритъ, итти въ сестры милосердія“. Стало-быть, чтобъ поплестись за баринѣмъ. А люди могутъ подумать, что она сбѣжала отъ нашихъ побоевъ. На такое мытарство, какъ за больными солдатами приглядывать да въ крови пачкаться, можно пойти отъ лихой жизни или отъ какихъ другихъ неудовольствій. При такой красотѣ да будь у нея умъ, никакой первогильдейскій женихъ не побрезговалъ бы ею. Что жъ теперича я долженъ понимать и про себя чувствовать? Угодить въ омутъ головой...

Видя, что такому разглагольствованію не будетъ конца, я оборвалъ рѣчь:

— Позвольте мнѣ повидаться съ вашей дочерью. Можетъ-быть, мои убѣжденія подѣйствуютъ лучше, чѣмъ ваши угрозы, и она образумится.

— Да вы взаправду говорите?

— Да, я хочу убѣдить ее не дѣлать неосторожнаго шага.

— Для этого случая мы вполне готовы представить вамъ разговоръ съ ней.

Онъ вышелъ и вскорѣ возвратился вмѣстѣ съ дочерью. Она была блѣдна и съ заплаканными глазами.

Я протянулъ ей руку и пожалъ ея маленькіе, нѣсколько влажные пальчики.

— Вотъ господинъ капитанъ пріѣхалъ поучить тебя уму-разуму. Изволь же слушаться ихъ и благодарить. Не угодно ли присѣсть на диванъ.

Саша помѣстилась на указанное мѣсто, а я, придвинувъ кресло, сѣлъ подлѣ нея и обратился къ Любочкину:

— Будьте любезны, позвольте мнѣ поговорить съ вашей дочерью безъ васъ.

— Почему такъ? Я вѣдь отецъ, — окрысился сначала Данила Степановичъ, но быстро спохватился. — А впрочемъ, если вамъ угодно, я уйду.

Оставшись со мной наединѣ, Саша подперла голову рукой и, не поднимая глазъ, сидѣла молча.

— Александра Даниловна, извините, что я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла, но вѣрьте, я желаю вамъ блага.

— Всеволодъ Сергѣевичъ знаетъ, что вы поѣхали сюда?

— Иначе я не рѣшился бы беспокоить васъ.

— Онъ тоже настаивалъ, чтобъ я бросила свою мысль, но, Боже мой, что мнѣ дѣлать? Если бъ вы знали, какъ тяжело мнѣ жить! Я говорю съ вами откровенно потому, что васъ любить и вамъ довѣрять Всеволодъ Сергѣевичъ.

Я сдѣлалъ движеніе головой къ двери, желая этимъ предупредить, что насъ, вѣроятно, слушаютъ.

— Я увѣрена въ этомъ, — отвѣтила она улыбувшись и продолжала нѣсколько тише: — всякому тягостно жить такъ, какъ я живу, но послѣ того, чего я наслушалась у моей учительницы Елиза-

веты Ивановны, гдѣ я видѣла настоящихъ людей, мнѣ стало здѣсь невыносимо. Чего только тамъ не говорили! Какой теплотой вѣяло отъ каждаго ихъ слова, и на душѣ становилось свѣтлѣе. Они мечтали объ общей любви, снисхожденіи и братской помощи. А что думаютъ у насъ? Одна забота—взять съ кого сколько можно, лишь бы нажиться, а остального не существуетъ. Не могу я дальше такъ жить, не могу. Пусть истязаютъ меня, убиваютъ, но я вырвусь отсюда. Всеволодъ Сергѣевичъ сказалъ, что любить меня и что наша жизнь навсегда связана.

На ея нѣжномъ личикѣ заигралъ румянецъ, и въ выраженіи лица появилось страшное возбужденіе. Передо мной было не хрупкое существо, кисейная дѣвушка, а человѣкъ, у котораго энергія была ключомъ.

— Александра Даниловна, вы увлечены... — началъ я также негромко. — Къ чему можетъ привести васъ ваша поспѣшность, съ какою вы хотите уйти изъ дома? Во-первыхъ, вы несовершеннолѣтняя, и вамъ могутъ не выдать вида, безъ котораго васъ никуда не примутъ и нигдѣ не станутъ держать, а, какъ бѣглянку, препроводятъ къ отцу. Но этого мало. Вашъ порывъ можетъ очень повредить Матѣянскому; его сочтутъ соблазнившимъ васъ, и его репутація будетъ подорвана навсегда.

— Но мы любимъ другъ друга.

— Вѣрю, но въ виду войны ни одному офицеру жениться не позволяютъ. На что же вы идете? Ухаживать за больными и ранеными? Посмотрите-ка на себя въ зеркало; гдѣ вамъ переносить непо-

сильные труды, холодъ, слякоть и нерѣдко вальтаться вмѣсто постели на голомъ полу? Ваша затѣя окончится смертью, а этимъ вы принесете много горя какъ вашему семейству, такъ и жениху. Откажитесь отъ вашего намѣренія и ждите. Когда затихнетъ громъ орудій, Богъ дастъ мы вернемся сюда обратно, и, если я останусь въ живыхъ, буду держать въ церкви надъ вами вѣнецъ.

Она смотрѣла на меня, не спуская глазъ, и лицо ея выражало страшную душевную боль. Потерявъ силы сдерживаться, Саша горько заплакала и опустила голову на столъ. Я ждалъ, когда затихнетъ этотъ приливъ горя. Наконецъ она успокоилась, протянула мнѣ руку и шопотомъ проговорила:

— Благодарю васъ. Я не хочу вредить Всеволоду Сергѣевичу и не допущу, чтобъ люди дурно отзывались о немъ. Я останусь и буду ждать. Поклонитесь ему и скажите, чтобъ онъ хоть письмами не забывалъ той, чья душа принадлежитъ ему.

Мнѣ очень хотѣлось поцѣловать эту маленькую ручку, но я воздержался и, откланявшись, пошелъ въ прихожую. Тамъ догналъ меня Данила Степановичъ.

— Батюшка, вотъ ужъ истинно одолжили своимъ прїѣздомъ, — съ волненіемъ говорилъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку. — Того, что она вамъ сейчасъ сказала, я никогда не слыхалъ отъ нея. Теперь у меня отлегло отъ сердца. По крайности я знаю, что промежъ ихъ есть, и пушай баринъ прїѣзжаетъ, — во какую свадьбу сыграемъ и на-

счетъ приданаго не постою. Даже Богу стану молиться, чтобъ Господь помиловалъ его отъ вражьихъ пуль.

То, чѣмъ окончился мой визитъ, такъ растрогало меня, что я обнялъ Любочкина и, пожелавъ всего наилучшаго, поѣхалъ туда, гдѣ стояла выстроенная рота.

III.

Батальонъ долженъ былъ тронуться въ третьемъ часу и притомъ не отдѣльными частями, а полностью, и мы свели роты къ заставѣ, откуда назначено было выступленіе.

Зимніе походы очень непріятны, особенно когда дорога оледянѣетъ и дуетъ свѣжій вѣтеръ, что именно и было съ нами. Солдатскія ноги скользили, усы и борода покрывались инеемъ, и встрѣчный вѣтеръ рѣзалъ лицо. Къ тому же большинство солдатъ исправно справили проводы, а послѣ хорошей выпивки ноги плохо слушаются.

При выступленіи свѣтила луна, но потомъ небо заволокло тучами, и установился сѣренькій, непріятный вечеръ, съ морозомъ градусовъ въ семь.

По узкой зимней дорогѣ, растянувшись на довольно значительное пространство, въ глубокомъ молчаніи шли сотни людей, постукивая и поскрипывая остывшими сапогами. Пройдя версты четыре, люди пожелали имѣть привалъ, но командующій батальономъ, узнавъ, что въ селеніи есть кабакъ, побоялся задержаться, и мы безъ отдыха прошли восемь верстъ.

Отдохнувъ въ хатахъ, батальонъ тронулся далѣе и въ одиннадцатомъ часу прибылъ на ночлегъ. У околицы насъ встрѣтили квартирьеры, но деревня уже спала. Солдатики потащились группами къ избамъ, на которыхъ поставлены были кресты. Вскорѣ послышалось, какъ квартирьеры, желая вызвать хозяевъ, стали колотить палками въ ворота.

— Эй, вы, чего дрыхнете, отпирайте! Али не сказано, что постой будетъ? — раздавались голоса.

Для офицеровъ также отведены были избы, и я помѣстился съ Лугавинымъ и Матъянскимъ. Хотя хата была и изъ лучшихъ въ деревнѣ, но все-таки она не отличалась опрятностью. Воздухъ былъ невыносимъ. Однако мы замѣтили это только въ первый моментъ, а потомъ приняхались и, исправно поужинавъ тѣмъ, что было съ собой, улеглись на импровизированныхъ логовищахъ и скоро заснули мертвымъ сномъ.

Утромъ въ девять часовъ батальонъ снова тронулся далѣе и, переночевавъ въ пути еще разъ, прибылъ въ полковой штабъ.

Тамъ шла страшная суматоха. Ротамъ назначены были для стоянки пригородныя деревушки, и мы немедленно отправились туда. Этотъ порядокъ размѣщенія былъ крайне неудобенъ какъ для хозяевъ, такъ и для нижнихъ чиновъ. Въ маленькое селеніе ставили роту, доходившую, съ прибытіемъ запасныхъ, численностью до двухсотъ двадцати человекъ. Такую массу размѣщали въ двадцати дворахъ, гдѣ нерѣдко бывали телята и свиньи. За отсутствіемъ одѣялъ и подушекъ сол-

датики валялись на соломѣ, закутавшись въ шинель и подложивъ подъ голову ранецъ. Даже сапоги на ночь рѣдко кто снималъ, такъ какъ ни въ одной хатѣ не было половъ, изъ которыхъ бы не дуло.

Начался сборъ нижнихъ чиновъ. Пополненіе роты прибывшими изъ запаса сопровождалось ужаснѣйшей суетой и безпокойствомъ. Нужно было пригнать мундирную одежду, шинели, сапоги, шапки, раздать амуницію и ружья. Но это было ничто въ сравненіи съ трудностью установить въ ротѣ внутренній порядокъ. Кадръ состоялъ изъ молодежи, а вступившіе въ ряды были люди въ возрастѣ. Притомъ очень многіе носили не только унтеръ-офицерскія, но и фельдфебельскія нашивки. Какъ такихъ служакъ заставлять подчиняться почти юношѣ? Предвидя это, я собралъ взводныхъ и объяснилъ, какъ они должны держать себя съ новыми подчиненными. Вмѣстѣ съ этимъ указалъ и прибывшимъ на ихъ обязанности и дисциплину.

На словахъ это вышло очень хорошо. Всѣ гаркнули:

— Слушаемъ, ваше благородіе.

Но на дѣлѣ скоро обнаружилось, что не такъ-то легко справляться съ людьми, отставшими отъ военной службы. Приходилось подумать, что дѣлать для урегулированія отношеній и разрѣшенія щекотливаго вопроса, какъ безъ особенной строгости сгладить всѣ шероховатости и установить полное согласіе. Случай къ этому скоро представился.

Черезъ день послѣ прибытія запасныхъ вечеромъ явился ко мнѣ, съ обычнымъ рапортомъ,

фельдфебель. Доложивъ о благополучіи, Ефремовъ вдругъ съ волненіемъ проговорилъ:

— Осмѣлюсь просить, ваше благородіе, смѣстить меня съ должности.

— Молчать!—прикрикнулъ я на него.—Солдаты не смѣютъ разсуждать и должны дѣлать то, что ему прикажутъ и укажутъ.

Ефремовъ спохватился и, вытянувъ руки по швамъ, замеръ. Но по волненію, которое не покидало его, можно было догадаться, что съ нимъ произошло что-нибудь очень непріятное. Зная Ефремова за отличнаго солдата, я въ душѣ извинилъ ему неосторожную вспышку и ласково спросилъ:

— Объясни мнѣ, въ чемъ дѣло?

— Сейчасъ на перекличкѣ нѣкоторые не стояли смирно, а разговаривали. Я, значитъ, и прикрикнулъ на нихъ. На это фельдфебель изъ прибывшихъ, Акимовъ, засмѣялся и вполголоса произнесъ: „Туда же горло распускаетъ“. Этого я не могъ стерпѣть и, подошедши, замѣтилъ: „А вамъ стыдно вести себя такъ“. Тутъ Акимовъ и возразилъ: „Я и безъ тебя знаю, что стыдно, что нѣтъ“. Послѣ такого отвѣта какъ же мнѣ подойти къ ротѣ?

Разговоръ изъ фронта считается нарушеніемъ дисциплины, то-есть даже не проступкомъ, а преступленіемъ, караемымъ приговоромъ окружнаго суда. Въ другомъ случаѣ я не задумался бы и немедленно препроводилъ бы виновнаго въ штабъ полка, но въ данномъ случаѣ я могъ сразу повредить сущности дѣла и рѣшилъ не выносить сора изъ избы. Подумавъ немного, я объявилъ фельдфебелю:

— Завтра я распоряжусь. Можешь уйти.

Оставшись одинъ, я долго соображалъ и, наконецъ, составилъ планъ дѣйствій.

На утро, когда рота была выстроена и по особому распоряженію, встрѣтивъ меня, взяла „на караулъ“, я, не поздоровавшись, началъ обходъ, дѣлая замѣчанія чуть не каждому, стоящему въ строю. Такимъ образомъ этотъ обходъ длился не менѣе десяти минутъ, и у державшихъ ружья затекли руки. За каждую оплошность я накидывался, какъ звѣрь, и виновнаго разносилъ вдребезги. Рота, хорошо знавшая меня за гуманнаго начальника и не выдавшая до тѣхъ поръ ничего подобного, недоумѣвала, въ чемъ дѣло. Только тѣ, кто былъ посмѣтливѣе, очевидно, догадывались, что моя строгость вызвана поступкомъ Акимова.

Когда обходъ окончился и ротѣ скомандовали было „на плечо“, я, не давъ оправиться, громко вызвалъ:

— Фельдфебель Акимовъ.

Акимовъ вышелъ блѣдный; голова его слегка тряслась. Не проговоривъ ни слова, я смотрѣлъ на него съ минуту, не спуская глазъ. Эта пауза, повидимому, виновному казалась вѣчностью. Наконецъ я приступилъ къ объясненію.

— Кто ты такой?

— Фельдфебель Акимовъ, ваше благородіе.

— Фельдфебель? Удивляюсь. Что почувствовалъ бы твой бывший ротный командиръ, если бъ узналъ, какого недостойнаго солдата онъ возвелъ въ такое почетное званіе. Ты долженъ быть образцовымъ служакой, примѣромъ для всѣхъ, а мнѣ

приходится вытаскивать тебя изъ фронта, какъ новобранца, и громить передъ цѣлой ротой. Всякій изъ васъ долженъ помнить, что здѣсь нѣтъ ни старыхъ ни молодыхъ, а есть царская служба и присяга, которую вы должны свято исполнять и безпрекословно слушаться того, кто поставленъ командовать, а ты вчера осмѣлился оказать фельдфебелю не только непочтеніе, а даже неповиновеніе.

— Виноватъ, ваше благородіе, грѣхъ попуталъ. Никогда такого не увидите отъ меня, честно буду служить. Простите.

Сказано это было такимъ искреннимъ и возбужденнымъ тономъ, что на всю роту произвело впечатлѣніе, и я замѣтилъ, какъ нѣкоторые глубоко вздохнули. Оставалось воспользоваться моментомъ и сразу дать отношенію къ службѣ должный тонъ.

— Ты просишь прощенія такъ, какъ это дѣлаетъ только самолюбивый человѣкъ, и мнѣ жаль карать тебя. Я не хочу, чтобъ ты, одинъ изъ заслуженныхъ воиновъ, уважаемый, вернулся домой не тѣмъ, къмъ ушелъ съ родины, а опороченнымъ. Я беру на совѣсть то, что ты сдѣлалъ, и увѣренъ, что мнѣ не придется раскаиваться въ своей снисходительности, а ты докажешь, что у тебя, подъ сѣрой шинелью, бьется въ груди сердце честнаго и храбраго русскаго солдата.

Горячо окончивъ свою маленькую рѣчь, я обратился къ фронту:

— Ребята, ради такой молодецкой роты я прощаю его.

— Рады стараться, ваше благородіе!—гаркнули эти двѣсти человѣкъ, какъ одна душа. — Покорнѣйше благодаримъ за милость.

У Акимова блестѣли слезы въ глазахъ. Я потрепалъ его по плечу и, отпуская, сказалъ:

— Иди, старайся, и все будетъ забыто.

Съ тѣхъ поръ Акимовъ сталъ примѣрнымъ служакой, и вскорѣ я назначилъ его взводнымъ. Душевное отношеніе оказалось болѣе сильнымъ средствомъ, чѣмъ сухая форма, такъ часто безплодно губящая людей.

Начались фронтовые занятія и упражненія въ стрѣльбѣ. Это было необходимо, такъ какъ многіе изъ прибывшихъ давно не стояли въ строю и не держали въ рукахъ ружья.

Только вечера принадлежали намъ. Окончивъ дневные труды, мы собирались въ городъ и до глубокой ночи просиживали въ офицерскомъ собраніи. Тамъ было необыкновенное оживленіе. Около буфета слышался лязгъ рюмокъ, и раздавались восторженные возгласы. Во всемъ сказывался подъемъ духа.

Военное собраніе, куда днемъ обыкновенно мало сходилась офицеровъ, теперь обратилось въ излюбленное мѣсто, гдѣ съ одиннадцати часовъ раздавались голоса, лязгала посуда, и въ буфетѣ толпилась масса охотниковъ начерно перекусить. Первое время слышались воинственные рѣчи и высказывались предположенія о томъ, что будетъ, но скоро всѣ притупились и только сыпались разсужденія по поводу газетныхъ сообщеній, а затѣмъ — карты и карты, и только къ поздней ночи хозяй-

ская лошаденка, гдѣ квартировать офицеръ, отвозила его домой.

Согласно расписанію, мы должны были черезъ двѣ недѣли, послѣ объявленія мобилизаци, выступить на западную границу, но оказалось, что этого сдѣлать нельзя. Что-то было не дослано, и въ обозѣ чего-то не хватало. Однако оттяжка была непродолжительна, и намъ объявили день выступленія.

Обыкновенно полку, долго стоявшему на одномъ мѣстѣ, жители устраиваютъ прощальный обѣдъ и напутствуютъ иконой, но мы были не такъ счастливы. Во-первыхъ, обыватели отличались крайней притязательностью и не походили гостепріимствомъ на настоящихъ русскихъ людей, но главнымъ препятствіемъ являлось то, что городской голова числился по старой вѣрѣ. Такимъ образомъ намъ приходилось выступать, не видя прощального привѣта.

Въ назначенный день полкъ, согласно приказу, сошелся на городскую площадь для напутственного молебствія. Священникъ, окропя знамена, прошелъ по фронту со святой водой. На другой день назначена была посадка, и нашъ батальонъ, шедшій первымъ эшелономъ, отправился на вокзалъ желѣзной дороги. Туда сошлись общіе знакомые, выпито было по бокалу шампанскаго, и началось усаживанье нижнихъ чиновъ, которыхъ проводить пришло несмѣтное количество бабъ. Тутъ были солдатскія жены и предметы обожанія, которыхъ на деревенскихъ стоянкахъ всегда оказывалось огромное число.

Странное впечатлѣніе производитъ воинскій поѣздъ. Эта масса вооруженныхъ людей, поса-

женная въ вагоны, представляетъ собой грозную силу, стремительно мчащуюся. Этотъ быстрый ходъ наводитъ на размышленія о будущихъ разрушеніяхъ и кровавыхъ схваткахъ, отъ которыхъ, можетъ-быть, немного останется изъ тѣхъ, кто мчится на поле битвы.

Офицерство, размѣстившееся въ вагонъ второго класса, сразу почувствовало себя какъ дома. Вытащены были плетенныя корзинки съ разными яствами и питіями и пошла общая трапеза, а затѣмъ кто успѣлся играть въ карты, а кто отправился на боковую.

Составъ батальона тотъ же, и размѣстились офицеры такъ, чтобъ быть поближе къ тому, кто пріятнѣе. Рядомъ со мной сѣлъ Матьянскій; Лугавинъ же пристроился къ другой компаніи.

— Вы все тоскуете?—тихо обратился я къ Всеволоду Сергѣевичу.

— Да, Михаилъ Петровичъ, никакъ не могу справиться съ собой. Хоть Данила Степановичъ и измѣнился къ своей дочери, но я, очень боюсь за Александру Даниловну. У нихъ такая жизнь и такія семейныя отношенія, что меня ужасъ беретъ.

— Чудакъ вы, право! — замѣтилъ я, улыбнувшись. — Ну, время ли теперь охать и стонать? Посмотрите на другихъ. Видите, какъ они оживлены и веселы? Да это и хорошо. Намъ нуженъ куражъ, а не сентиментальность. Переломите себя. Самое скверное—итти на войну тому, у кого зазноба не выходитъ изъ головы.

— Я не согласенъ съ вами. Тѣ, кому не о чемъ думать, гораздо болѣе несчастны. Разлука тяжела, но мысль о ней даетъ мнѣ большое наслажденіе.

Станціи мелькали одна за другой. Наконецъ мы домчались до губернскаго города, гдѣ солдатамъ приготовлена была горячая пища.

Морозъ былъ изрядный, и, несмотря на то, что станція была первоклассная, фонари тускло мерцали. Слышны были командныя слова, и сѣрыя массы солдатъ, стуча по дебаркадеру, торопливо двигались къ походнымъ кухнямъ. Холодъ пронизывалъ, всѣ ежились. Передъ нами была нерадостная картина боевой, походной жизни, которую мы только начинали воспринимать.

Наконецъ мы добрались до Бреста. Всѣхъ насъ разставили по обывательскимъ квартирамъ, и я впервые очутился въ домѣ еврея. Несмотря на то, что комнаты оклеены были обоями и стояла приличная мебель, воздухъ былъ невыносимъ. Чеснокомъ разило до тошноты. Наши носы, не привыкшіе къ такому аромату, рѣшительно не выдерживали зловонія.

— Послушайте, какой у васъ спертый воздухъ, и какъ скверно пахнетъ.

— Зачѣмъ скверно? — спросилъ съ недоумѣніемъ ломанымъ языкомъ хозяинъ. — У насъ все чисто. Рифа любитъ опрятность. У насъ полы моются каждую недѣлю.

Но секретъ скоро обнаружился. Чеснокомъ разило не отъ чего иного, какъ отъ самого Хайма и его супруги. Впослѣдствіи, помѣщаясь въ селеніяхъ русиновъ, я, не вынося чесночнаго запаха, также былъ мученикомъ, а между тѣмъ специфическій запахъ отъ этого овоща, послѣ долгаго его употребленія, пропитываетъ тѣло человѣка насквозь, сопутствуя ему, гдѣ бы онъ ни появлялся.

Но у Хайма, при его внѣшней чистотѣ, кромѣ чеснока, оказался еще другой врагъ—клопы. Они буквально осыпали насъ, и какъ я, такъ Матѣянскій и Лугавинъ съ проклятіями безъ сна проводили всю ночь.

IV.

Послѣ дневки мы опять посажены были въ вагоны, и эшелонъ тронулся на австрійскую границу.

Безъ пересадки и безъ особыхъ приключеній мы добрались до Дубно, гдѣ намъ предстояло дожидаться прибытія полка, а затѣмъ направиться пѣшкомъ къ мѣсту, назначенному намъ для зимней стоянки.

Погода стояла отвратительная. Снѣгъ вперемѣшку съ дождемъ такъ растворилъ глинистую почву, что нужна была особенная ловкость, чтобы не грохнуться на каждомъ шагу.

Городъ отъ вокзала отстоялъ въ пяти верстахъ. Пройдя невдалекѣ отъ знаменитаго замка, гдѣ разыгралась трагическая исторія сына Тараса Бульбы, мы вступили въ городокъ приличнаго вида и довольно благоустроенный. Здѣсь были когда-то контрактные сѣзды, и, какъ воспоминаніе о нихъ, остались каменные постройки, обращенныя въ казармы.

Зная, что наше пребываніе не продлится долѣе двухъ дней, мы не поинтересовались даже осмотрѣть улицы, а, забравшись въ ресторанчикъ, преисправно отдыхали отъ дороги. На другой день прибылъ штабъ полка и второй эшелонъ. Чтобы не задерживать части на пути, намъ приказано

было тронуться на нашу новую временную стоянку, и мы потянулись. Стоявшая распутица дѣлала изъ похода пытку. Офицеры, не нагруженные такъ, какъ солдаты, и то тащились измученными, а какъ чувствовали себя нижніе чины, у которыхъ на плечахъ лежалъ ранецъ въ двадцать два фунта, сапоги фунтовъ въ шесть, пять фунтовъ сухарей, шесть фунтовъ въ патронныхъ сумкахъ и четырнадцатифунтовое ружье. Такой грузъ при отчаянно-скользкой дорогѣ являлся прямо гнетомъ, но роты шли молодцами. Откинувши кепи на затылокъ, наклонившись корпусомъ впередъ, покраснѣвшіе солдатики, тяжело дыша, имѣли мужество вести насмѣшливую бесѣду, подсмѣиваясь надъ плохими ходаками:

— А ты, братъ, Семеновъ, не очень кверху гляди, еще разъ оступишься и костей не соберешь. Придется рабочихъ назначать.

Но истиннымъ мученіемъ для насъ былъ обозъ. По ровному мѣсту лошади еще тащили, но въ гору по липкой глинтъ животныя выбивались изъ силъ и падали. Приходилось втаскивать фуры на рукахъ. Какъ ухитрялись солдаты подтаскивать телѣги, когда у самихъ ноги скользили, — не вѣрилось глазамъ.

Городъ, гдѣ долженъ былъ помѣститься полковой штабъ, былъ однимъ изъ богатыхъ и цвѣтущихъ пунктовъ въ цѣлой округѣ. Мѣстная интеллигенція состояла изъ служащихъ: исправника, его помощника, казначея, мирового судьи, судебного слѣдователя и мирового посредника. Населеніе состояло, за небольшимъ исключеніемъ, изъ евреевъ. Но это были евреи не въ длинныхъ

лапсердакахъ, а отесанные и даже по-своему цивилизованные. Большинство изъ нихъ носило нѣмецкое платье, а въ праздники, когда на улицахъ появлялись гуляющіе, то можно было заглядѣться. Между мужчинами не рѣдкость было встрѣтить красавцевъ восточнаго типа. Не уступали имъ и женщины; разныя Сарры, Рифы, Шифры и Ліи щеголяли драгоценными украшеніями. Тутъ были очаровательныя блондинки, жгучія brunettes и мягкаго тона шатенки. Только языкъ нарушалъ иллюзію. Гортанные звуки съ небольшимъ подвывомъ рѣзали непривычное ухо.

Проживя нѣкоторое время въ ротѣ и установивъ полное благоустройство, мы частенько стали наѣзжать въ штабъ полка. Да и что было дѣлать въ деревнѣ? Выпалъ глубокой снѣгъ, и завернули морозы. Производить ученіе стало невозможно; оставалось людямъ собираться по хатамъ и повторять теоретическія свѣдѣнія, необходимыя каждому солдату.

Въ городѣ, куда мы пришли, квартировали до насъ два кавалерійскихъ полка. Они стояли тутъ давно, и множество офицеровъ обзавелись легальными или нелегальными семьями. Эти покинутыя женщины невольно вызвали участіе. На нихъ лежала какая-то особенная печать унынія. Дѣйствительно, оставшись безъ мужей и съ весьма ограниченными средствами, жены, оставленныя офицерами, должны чувствовать себя очень нехорошо. Крикъ и пискъ дѣтей, а иногда грубости военной прислуги — это плохое утѣшеніе въ одиночествѣ.

Наше офицерство не знало, куда дѣваться. Интеллигенція, живущая на небольшіе оклады, стѣснялась принимать гостей. Оставался ресторанъ со всѣми его прелестями. Тамъ намъ приходилось обѣдать, пить чай и даже ужинать, слушая еврейское тріо. Нѣкоторые пропадали за бильярдомъ. Смотря на такое безобразіе, намъ пришла мысль устроить что-нибудь отвлекающее, что оттянуло бы молодежь отъ разорительнаго и неблагоприятнаго времяпровожденія. Въ городѣ былъ домъ, гдѣ помѣщалось военное собраніе ушедшихъ полковъ.

Обратившись къ командиру полка за разрѣшеніемъ, мы вошли въ соглашеніе съ хозяйкой и устроили свой собственный клубъ, и тотъ, кто прежде таскался по еврейскимъ трактирамъ, нашелъ пріютъ у себя. Въ будни шла карточная игра по небольшой, готовились недорогіе ужины, а по праздникамъ играла полковая музыка, и молодежь отплясывала до поздней ночи. Всѣ были веселы, и каждый какъ бы справлялъ свои послѣднія заговѣны мирнаго времени.

Къ намъ шли веселиться всѣ, кромѣ польскихъ пановъ. Уцѣлѣвшіе послѣ возстанія, они или совсѣмъ вели замкнутый образъ жизни или неохотно принимали русскихъ, что совершенно было понятно. Какія воспоминанія могли являться у людей, только что побѣжденных и разоренныхъ? Мы и не стремились къ тому, чтобъ передъ нами открылись панскія двери. Нѣкоторые изъ нихъ въ воскресенье въ легонькой коляскѣ, четверкой цугомъ, подѣзжали къ костелу и, отстоявъ обѣдню, съ важностью направлялись къ экипажу,

гдѣ гайдукъ безъ шапки стоялъ у отворенной двери. Это было нѣсколько комично, но зато по традиціи.

Мѣсяцы летѣли за мѣсяцами, и незамѣтно подошла ранняя весна. Всѣ ждали съ нетерпѣніемъ, когда же будетъ, наконецъ, сказано могучее слово, по которому стосковавшаяся армія двинется на поле брани.

Незадолго передъ походомъ я совершенно неожиданно получилъ приказаніе отправиться въ Дубно и тамъ состоять временнымъ членомъ военно-окружнаго суда, пріѣхавшаго на сессію. Эта командировка была мнѣ очень пріятна. Мелкія хлопоты при снаряженіи въ походъ такъ утомительны, что всякому хочется сбить ихъ съ плечъ, и я съ спокойнымъ духомъ катилъ изъ полка.

Судя по дѣламъ, назначеннымъ къ разбирательству, сессія должна была продлиться не менѣе мѣсяца.

Дней черезъ десять, послѣ открытія суда, пронеслась, наконецъ, вѣсть, что война объявлена, и полкамъ, временно расположеннымъ въ Волынской губерніи, предписывалось наискорѣйшимъ образомъ прослѣдовать по желѣзной дорогѣ въ Бессарабскую область. Такъ какъ полкъ не могъ иначе направиться въ указанное мѣсто, какъ черезъ Дубно, то я, зная маршрутъ, поѣхалъ на вокзалъ повидать своихъ.

Съ особенной радостью подошелъ я къ ротѣ, высыпавшей изъ вагоновъ. Громко поздороваться съ ними было нельзя, такъ какъ вблизи былъ старшій начальникъ, и я обошелъ группы, кивая

имъ головой и изрѣдка похлопывая того или другого по груди.

— Смотри же, ребята, чтобъ безъ меня было у васъ такъ же хорошо, какъ и при мнѣ. Поручикъ Лугавинъ, которому поручено въ мое отсутствіе командовать вами, офицеръ строгій, но добрый и будетъ заботиться о васъ.

Прочтя нотацію, я пошелъ съ Иваномъ Петровичемъ и Матьянскимъ на вокзалъ. Всеволодъ Сергѣевичъ былъ очень огорченъ моимъ отсутствіемъ.

— Знаете, Михаилъ Петровичъ, — проговорилъ онъ, вздохнувъ, — безъ васъ словно пусто стало. Солдаты ходятъ, повѣся носы, и батальонный командиръ сталъ иначе относиться къ ротѣ.

— Что дѣлать, голубчикъ, потерпите. Я самъ соскучился по васъ, но ничего не подѣлаешь — служба. Объ одномъ прошу васъ, господа. Я всегда пользовался вашимъ расположеніемъ, такъ ради этого забудьте свою нелѣпую распрю и живите по-братски. Не на то мы идемъ, чтобъ тащить съ собой за пазухой камень. Если бъ кто изъ васъ былъ дурнымъ человѣкомъ, вы не услышали бы отъ меня такого призыва. Протяните же руки, и мнѣ легко будетъ знать, что роту ведутъ мои искренніе друзья и помощники.

У Лугавина при этихъ словахъ какъ-то странно дрогнули брови, но онъ, не задумываясь, протянулъ руку Матьянскому. Тотъ осторожно пожалъ ее.

— Что намъ теперь дѣлать? Мы — одна семья, и съ такими чувствами должны идти подъ непріятельскія пули. Походъ нашъ будетъ трудный, до-

везуть насъ только до Бессарабіи, а всю Румынію придется итти пѣшкомъ; это вѣдь безъ малаго тысяча верстъ. Значить, сколько впереди трудовъ, лишеній и непріятностей! Одно можетъ только служить намъ утѣшеніемъ — дружба и спокойствіе духа.

Покончивъ интимную бесѣду, я отвелъ Матьянскаго къ сторонкѣ.

— Вы знаете, какъ я интересуюсь вами, поэтому не удивитесь моему вопросу. Имѣете ли вы свѣдѣнія объ Александрѣ Даниловнѣ?

Всеволодъ Сергѣевичъ вспыхнулъ, опустилъ голову и съ наивной улыбкой отвѣтилъ:

— Имѣю.

— Какъ же она поживаетъ? Здорова?

— Не жалуется, но я боюсь за нее. Она не пишетъ прямо, но между строкъ чувствуется что-то неладное. Охъ, не усидитъ она дома, и я не удивлюсь, если мы встрѣтимъ ее сестрой милосердія.

— Тогда мы съ вами въ одинъ голосъ можемъ сказать: отъ судьбы не уйдешь.

Не желая разстаться съ ротой, не простившись, я опять подошелъ къ вагону.

— Ну, ребята, смотри жъ, помни, что я говорилъ. А чтобъ мое слово крѣпко было, у Ефремова будетъ храниться для васъ на ведро водки. Какъ-нибудь устанете очень, такъ вотъ на привалѣ будетъ чѣмъ подкрѣпиться.

Я вручилъ Ефремову деньги и, потихоньку простившись, отправился въ городъ.

Полки помчались на югъ, а я остался въ Дубно судить и карать. Дѣла были по большей части

пустячныя, засѣданія непродолжительны, и мы самымъ благодушнымъ образомъ проводили время.

Такъ прошелъ апрѣль и наступило начало мая. Доносились съ театра войны вѣсти, что въ Добруджѣ была попытка переправиться, но мы знали, что не тамъ группируются главные силы, и ждали чего-нибудь посущественнѣе.

Наконецъ сессія кончилась. Я и еще два офицера другого полка тронулись вслѣдъ за полками.

Добравшись до Кишинева, мы по имѣвшимся документамъ должны были получить въ полевомъ казначействѣ суточные деньги, такъ какъ намъ приходилось догонять полки по румынскимъ дорогамъ, гдѣ проѣздъ оплачивался.

Пока полевое казначейство вело процедуру о выдачѣ, мы должны были прожить въ Кишиневѣ дня два. Войска въ немъ въ это время не было, исключая офицеровъ, находившихся въ распоряженіи завѣдующаго тыломъ арміи. Никого не зная, мы очень скучали, притомъ жара стояла невыносимая. Только свѣжесть вечера давала возможность вздохнуть.

Въ одинъ изъ такихъ очаровательныхъ вечеровъ мы отправились въ городской садъ, гдѣ игралъ струнный оркестръ подъ управленіемъ знаменитаго Янко Бабанова. Когда намъ восторженно отозвались о немъ, мы, никогда не слышавшіе его имени, съ удивленіемъ выслушали говорившаго и съ предубѣжденіемъ подошли къ эстрадѣ. Тамъ подлѣ дирижерскаго пюпитра сидѣлъ крупный человѣкъ, съ широкимъ красноватымъ лицомъ, небольшими глазами, закруглен-

нымъ носомъ и съ довольно большими усами. Это и былъ знаменитый Янко Бабановъ. Смотри на вульгарную наружность, я еще болѣе укрѣплялся въ своемъ скептицизмѣ.

— Эти провинціалы ужасно носятся со своими доморощенными знаменитостями.

— А вотъ слушаемъ, — отвѣтилъ товарищъ.

Вскорѣ оркестръ началъ очередной нумеръ. Это было попури изъ итальянскихъ оперъ, составленное дирижеромъ. Сыграно оно было гладко, чисто, но ничто не наводило на мысль, что оркестромъ управлялъ какой-то необыкновенный человѣкъ.

Послѣ исполненія вечеровой программы и антракта на ту же эстраду вышло шесть человѣкъ: первая и вторая скрипки, виолончель, кларнетъ и волторна, какъ аккомпанирующіе, и солистъ Бабановъ. Едва Янко приставилъ свою скрипку къ плечу и съ опущеннымъ внизъ смычкомъ окинулъ огненнымъ взглядомъ слушателей, собравшихся густой толпой вокругъ эстрады, я не узналъ Бабанова. Лицо страстного цыгана какъ бы переродилось. Очевидно, то, что онъ игралъ ранѣе, была работа обязательная, а теперь начиналось то, въ чемъ должна была отразиться клокочущая натура фанатика-музыканта.

Съ первыхъ ударовъ смычка я понялъ, что не ошибся. Въ рукахъ виртуоза была словно не та скрипка, на которой онъ раздѣлывалъ оперное примо. Дивныя безыскусственныя народныя пѣсни и думы нашли въ немъ вдохновеннаго исполнителя. Его скрипка не играла, а пѣла, стонала и рвала нервы. Это не диэирамбъ модному музыканту, а

тотъ восторгъ, которымъ хочется подѣлиться съ каждымъ любителемъ музыки. Я долго не могъ понять, къ какимъ средствамъ прибѣгалъ скрипачъ, извлекая изъ деревяжки небесные звуки. Мнѣ приходилось увлекаться многими европейскими талантами, но никто изъ нихъ не достигалъ той удивительной, чарующей прелести, которую порабощалъ толпу Янко.

Все это въ антрактѣ я высказалъ вслухъ. Сидѣвшій рядомъ со мной какой-то старичокъ сочувственно замѣтилъ:

— Вы, конечно, тутъ проѣздомъ, и неудивительно, что восторгаетесь Бабановымъ, но я здѣшній старожилъ и рѣдкій вечеръ не прихожу сюда, чтобъ взглянуть на этого чародѣя.

— У кого онъ учился?—невольно вырвалось у меня.

— Бабановъ-то? Эти люди, главнымъ образомъ, учатся у Господа Бога. Въ нашей мѣстности рѣдкій цыганъ не скрипачъ. Они даже сами дѣлаютъ себѣ инструменты, и многіе изъ нихъ прекрасно играютъ. Но Бабановъ—исключеніе, это гениальный самородокъ. Ему показали ноты, правила, остального онъ добился самъ.

— Онъ, кажется, очень популяренъ?

— А вотъ какъ популяренъ. Помню, всталъ я какъ-то до восхода солнца и пошелъ на городскую площадь. Еще издали доносились звуки скрипки, и я удивился, кто бы это могъ такъ рано играть. Однако скоро все разъяснилось. Въ углу городской площади возсѣдали евреи самыхъ преклонныхъ лѣтъ, а посреди нихъ стоялъ Бабановъ и наигрывать какіе-то заунывные библейскіе мо-

тивы. Что дѣлала его скрипка, я до сихъ поръ не могу вспомнить безъ волненія. Тамъ я понялъ плачь на рѣкахъ Вавилонскихъ и увидѣлъ раздирательную картину, какъ сидѣвшіе группой слушатели колотили себя въ грудь, припадая головой къ землѣ. Такъ вотъ, батюшка, что такое Бабановъ.

Не имѣя времени засиживаться очень поздно, мы пошли изъ сада, а за нами раздавались звуки румынской „Дайны“.

Окончивъ счеты съ полевымъ казначействомъ, мы тронулись догонять полкъ. Усмотрѣвши на картѣ, въ какомъ городѣ желѣзная дорога сходится съ шоссе, мы добрались до города Текуча и стали дожидать прибытія своей части.

V.

Сутки спустя, часовъ около четырехъ пополудни, мы издали увидѣли вступающій полкъ. Обождавъ немного, я надѣлъ походную парадную форму и отправился явиться къ командиру, помѣстившемуся въ одномъ изъ городскихъ домовъ.

Едва я произнесъ установленную фразу: „Господинъ полковникъ, имѣю честь явиться“... какъ начальникъ попалъ на меня:

— Помилуйте, это ни на что не похоже! Почти мѣсяцъ вы отсутствовали. Неужели столько времени могла продолжаться сессія?

— Господинъ полковникъ, у меня есть предписаніе предсѣдателя суда о выѣздѣ изъ Дубна. Число, которымъ помѣчена бумага, будетъ для

меня лучшимъ оправданіемъ. Мы только два дня задержались въ Кишиневѣ, чтобъ получить изъ казначейства суточные и прогонныя.

— И этого не нужно было дѣлать; вы были бы удовлетворены въ полку.

Видя, что никакія объясненія не усмирятъ разгнѣваннаго начальника, я замолчалъ. Онъ перемѣнилъ тонъ и ласково заговорилъ:

— Пожалуйста, примите мѣры. Походъ крайне тяжелый, жара страшная, грунтъ твердый — солдаты отбили ноги. Воспользуйтесь завтрашней дневкой и приведите свою часть въ порядокъ.

Пожавъ руку, полковникъ отпустилъ меня.

Выйдя изъ квартиры начальника, я отправился къ ротѣ, размѣстившейся въ палаткахъ за чертой города. Съ чувствомъ радости увидѣлъ я знакомыхъ людей, вышедшихъ встрѣтить меня. Загорѣлыя истомленные солдатскія лица краснорѣчиво говорили, какъ много бѣднякамъ пришлось выстрадать.

— Больныхъ много? — обратился я къ Ефремову.

— Такъ точно, есть. А главная причина — всѣ отбили ноги. Отъ жары сапоги трескаются.

— А саломъ ноги мазали?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ сейчасъ же пошли артельщика въ городъ купить полпуда свѣчей. Вели раздать по пяти фунтовъ на взводъ и наблюдай, чтобъ ноги были у всѣхъ перемазаны, а передъ походомъ еще.

Сдѣлавъ такое распоряженіе, я пошелъ съ Матвѣевымъ и Лугавинымъ въ ихъ палатку, гдѣ и для меня была уже раскинута постель.

— Что, друзья мои, помучились?

— Да, досталось-таки! — охалъ Иванъ Петровичъ.

— Конечно, тяжело, — вмѣшался Всеволодъ Сергѣевичъ.— Но что всего ужаснѣе было — это переправа черезъ Прутъ.

— Почему?

— Рѣка разлилась и затопила низкій берегъ на нѣсколько верстъ. Задержаться безъ приказанія мы не могли, и пришлось намъ брести не только по колѣни въ водѣ, а подчасъ и выше пояса. По телеграфнымъ столбамъ и ориентировались. У насъ еще обошлось благополучно, а во второмъ полку, говорятъ, двое оборвались и утонули.

— Какъ долго вы шли по такой дорогѣ?

— Да больше получаса. Выйдемъ на сухое и опять въ воду. На солдатъ смѣшно было смотрѣть: сухари и патронныя сумки они нацѣпили себѣ на шею и съ ружьями надъ головами шагали да еще пѣсни пѣли.

Жаръ сталъ спадать, и мы втроемъ отправились въ городъ поужинать, а зѣтѣмъ возвратились въ палатки и заснули крѣпкимъ сномъ.

Съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ походъ въ родѣ нашего отошелъ въ область преданій, но мы на себѣ испытали всю его тягость. И что обидно было! На виду у насъ мчались поѣзда, а войско, отправлявшееся на войну, теряло драгоцѣнное время и численность, такъ какъ изнеможеніе и климатическія условія не могли не выводить изъ строя извѣстнаго процента людей. Но мы шли и шли.

Черезъ нѣсколько дней послѣ прибытія я долженъ былъ съ ротой заступитъ въ караулъ; смѣна производилась на привалѣ.

Отрапортовавши командиру о принятіи смѣны, я распорядился назначеніемъ караула къ денежному ящику, дежурныхъ въ лазаретъ, конвойныхъ къ арестованнымъ и взвода въ арьергардъ.

Было около семи часовъ утра. Солнце пекло невыносимо, и чѣмъ далѣе мы шли, тѣмъ температура повышалась и повышалась. Около полудня зной дошелъ до того, что нужно было употреблять неимоверныя усилія, чтобъ итти. Поминутно приходилось дѣлать остановки и накидываться на кого-нибудь.

— Что ты валяешься? Лодырь! — распекалъ я лежащаго на травѣ солдата.

— Ваше благородіе, моченьки нѣтъ. Шелъ, пока были силы, а дальше не могу.

По тяжелому дыханью и страшной блѣдности лица видно было, что солдатикъ дѣйствительно изнемогъ.

— Фельдшеръ, взять его въ фургонъ.

— Да помилуйте, ваше благородіе, тамъ и то полно, сажать некуда.

— Ну, такъ приткни его куда-нибудь на фуру. Не оставаться же ему здѣсь!

Какъ лошади, такъ и люди еле тащились. Обозъ и нижніе строевые чины растягивались на большое пространство. Чтобы дать возможность собраться, приходилось задерживать флангъ. Едва произносилась команда: „на мѣстѣ“, какъ всѣ подходившіе немедленно важились на землю. Это не было непочтеніе къ службѣ или неповино-

веніе, а просто непривычный организмъ человѣка отказывался бодрствовать, и живой человѣкъ обращался въ плохо двигавшагося автомата.

Матьянскій, бывшій въ аръегардѣ, нѣсколько разъ присылать съ докладомъ, что онъ ничего не можетъ подѣлать съ отсталыми, которыхъ некуда было посадить. Дѣйствительно издали было видно, какъ человѣкъ пять-шесть въ сопровожденіи конвойныхъ еле переплетали ноги.

Переходъ былъ около тридцати верстъ, и мы достигли ночлега, когда солнце стало уже опускаться къ горизонту. Тутъ всѣ въ отрядѣ ожили. Отставшіе вылезли изъ фургона и благополучно заняли свое мѣсто во фронтѣ. Запахло дымкомъ отъ самоваровъ, усердно раздуваемыхъ денщиками; солдатики побѣждали на рѣчку омыть свои загрязненныя отъ пыли и пота лица: слышался бой барабана, призывавшій къ ужину, — словомъ, бивуачный муравейникъ зашевелился для того, чтобы черезъ какой-нибудь часъ дать отдыхъ своимъ измученнымъ членамъ.

Едва пробили вечернюю зорю и пропѣли молитву, какъ роты затихли. Всѣ торопились заснуть, такъ какъ знали, что придется вставать на разсвѣтѣ. Это было необходимо, чтобы пройти холодкомъ.

Въ назначенное время батальоны стояли подъ ружьемъ. Дежурному по полку обыкновенно едва удается сомкнуть глаза, такъ какъ квартирьеровъ и кухню нужно отправлять заблаговременно.

Проводивъ послѣднюю телѣгу, я съ наслажденіемъ опустилсѣ, не раздѣваясь, на свою постель. Но какой это былъ сонъ? Опасаясь, что полкъ не

будетъ поднять во-время, я какъ бы незамѣтно, поминутно будилъ самъ себя. Приподнимешься, увидишь, что темно, и опять опустишься на подушку. Но едва слабый разсвѣтъ показался на горизонтѣ, я вскочилъ и, наскоро оправившись, пошелъ отдать приказаніе играть фельдмаршъ. Вслѣдъ за этимъ раздались командныя слова:

— Вставать! Живо одѣваться!

На это въ палаткахъ послышалось потягиваніе, оханье и кряхтѣніе. Черезъ полчаса выстроившіеся батальоны уже тянулись по луговой дорожкѣ, направляясь къ шоссе.

Опять сначала бодрый ходъ, съ особенно характернымъ стукомъ шаговъ нагруженного человека, затѣмъ опять истомленіе и неприглядныя картины, только что описанныя нами.

Переиспытывая на себѣ всю тягость военного похода, намъ невольно хотѣлось увидѣть передъ собою апологистовъ войны и показать имъ, что переиспытываютъ люди, призванные оружіемъ достигать того, что легко достижимо мирнымъ путемъ. Еще не раздалось ни одного выстрѣла, а столько нами было уже затрачено нервныхъ силъ и здоровья. Мы хотѣли одного: чтобы скорѣе прекратился этотъ мучительный походъ подъ палящими лучами румынскаго солнца. Для насъ исчезъ счетъ дней, мы знали только одно, что надо итти, итти и итти. Миновавъ Фокшанскія поля, на которыхъ Суворовъ разгромилъ турецкую армію, переправились и черезъ знаменитый Рымникъ, давшій русскому генералу славу и вмѣстѣ съ тѣмъ поглотившій въ своихъ волнахъ единственнаго сына фельдмаршала.

Послѣ нѣсколькихъ переходовъ мы, наконецъ, прибыли въ Бухарестъ. Намъ отвели подъ бивуакъ поле въ пятиверстномъ разстояніи отъ румынской столицы, вблизи дачной мѣстности, именуемой Боніазъ. Чтобы оправиться и приготовиться къ дальнѣйшему походу, намъ назначили простоять три дня. Послѣ такого непріятнаго движенія, которое мы совершили, невольно хотѣлось хоть немного отдохнуть среди цивилизованной жизни. Хорошіе рестораны, сады и театры легкаго жанра были въ полномъ ходу.

— Батюшки-свѣты! Кого Богъ нанесъ! Благодарители, защитнички наши! Радъ вамъ пуще, чѣмъ свѣту солнечному!

Выпаливая такими фразами, на насъ надвигался человѣкъ съ приподнятыми руками. Мы узнали въ немъ Засудкина.

— Вы какъ попали сюда? — обратился я къ нему.

— Отчего же намъ и не попасть? Сѣли и пріѣхали, да вотъ цѣлую недѣлю и путаемся. Очень ужъ тутъ любопытно. Полки идутъ, пушки везутъ, стало-быть, кровью пахнетъ. А мы сидимъ да посиживаемъ. А все кто? Онъ, благодѣтель.

При этомъ Засудкинъ показать на сидѣвшаго за столомъ господина.

Я обернулся и увидѣлъ субъекта въ пиджакѣ и въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ.

— Это кто жъ такой?

— Мой путеводитель. Безъ него я былъ бы какъ ракъ на мели, а онъ въ Сербіи добровольцемъ состоялъ и всѣ эти земли знаетъ. Да жа-

луйте, жалуйте къ столику, мы сейчасъ вспрыснемъ встрѣчу.

Онъ безъ стѣсненія тащилъ меня и Матьянскаго за руки.

— Вотъ-съ, позвольте познакомиться: Иванъ Митричъ Пospѣшинъ. А ужъ про себя, господа, вы сами скажете ему.

Пospѣшинъ козырнулъ по-военному, съ достоинствомъ протянулъ руку и проговорилъ басомъ:

— Очень пріятно встрѣтиться.

— Гарсонъ, деми-секу три бутылки. Да чтобъ безпремѣнно былъ деми-секъ.

— Желаете ли вы шампанскаго деми-секъ?—любезно переспросилъ прислуживавшій. — Три бутылки?

— Коли говорятъ, такъ, стало-быть, „вулеву“.

Пospѣшинъ повторилъ лакею по-французски, и тотъ отправился исполнять приказаніе.

Пошли разспросы, давно ли мы въ походѣ и сколько пробудемъ въ Бухарестѣ. Удовлетворивъ любопытству земляковъ, я невольно заинтересовался личностью спутника Засудкина.

— Вы добровольцемъ были? — обратился я къ нему.

— Имѣлъ это несчастье.

— Почему же несчастье?

— Помилуйте, человѣкъ пришелъ вступиться за угнетенныхъ братьевъ не по принужденію, а по доброй волѣ, и вдругъ ему говорить: „Записывайтесь въ часть“. Можетъ ли тутъ быть и рѣчь о какой-то части? Меня привлекла въ Сербію идея, ради нея я рѣшилъ пожертвовать жизнью, а тутъ не угодно ли командовать какой-то „че-

той?" Что мнѣ „чета"? Я выше всякаго формализма и желалъ биться тамъ, гдѣ большая опасность. И что же намъ сказали? „Вы производите безпорядокъ, и произвольнаго перемѣщенія изъ одной части въ другую быть не можетъ". Я, разумѣется, расхохотался на это и немедленно возвратился въ Россію.

Гарсонъ принесъ вино, бокалы, и землякъ сталъ усердно потчевать насъ.

— Господи, вотъ гдѣ привелось опять чокнуться! Желаю вамъ, господа, орденовъ, чиновъ и всякихъ отличій. А коли вернетесь въ нашъ городъ, — ванну съѣлаю изъ шампанскаго.

— Ужъ не переберетесь ли вы черезъ Дунай? — спросилъ его Лугавинъ.

— Хотѣлъ, да ничего не выходитъ. Эти тонкоголосые извозчики — трусы. Вишь, тамъ башибузуки да черкесы. Ну, мы и застряли. Поболтаемся тутъ еще денька три-четыре и по домамъ. А любопытная эта сторонушка! Главная причина — женщины! Куда ни пойди — два черныхъ глаза, какъ смолой горячей, обдають тебя. А ужъ насчетъ обхожденія — одинъ деликатесь!

Видя, что разговорамъ Засудкина не будетъ конца, мы поблагодарили его за встрѣчу, отошли отъ бурнаго россіянина и покатали на великолѣпныхъ лошадяхъ въ свой бивуакъ.

Съ перваго раза эти шикарные возницы изумили насъ и насмѣшили своимъ видомъ и голосомъ. Мы не сразу поняли, кто такіе эти русскіе, говорящіе фальцетомъ. Но скоро все объяснилось. Румынскіе извозчики — это наши сектанты, которымъ пришлось отъ религіозныхъ преслѣдованій

бѣжать за границу. Тутъ были представители не-
красовцевъ, а еще болѣе скопцы. Уморительно
было видѣть, какъ пожилой мужчина съ круглымъ
безволосымъ лицомъ говорилъ тонкимъ дискан-
томъ:

— Баринъ, не свезти ли куда-нибудь? Съ зе-
мляка я дешевле взялъ бы, по крайней мѣрѣ, от-
велъ бы душу — поговорилъ бы на росейскомъ
языкѣ.

Отгулявшись въ Бухарестѣ, мы съ новымъ за-
пасомъ силъ направлялись къ Зимницѣ, гдѣ черезъ
Дунай былъ уже наведенъ мостъ. Тамъ нашъ кор-
пусъ встрѣтилъ главнокомандующій и отдалъ намъ
приказъ черезъ день послѣ нашего прибытія на-
правиться въ Турцію.

Въ назначенное утро мы уложили вещи и дви-
нулись черезъ городъ, надѣясь безпрепятственно
перебраться черезъ мостъ, но наши мечты оказа-
лись наивными. Насъ привели на заливной лугъ,
поставили колоннами и приказали ожидать очереди.
Это былъ девятый часъ утра. Надѣясь удовлетво-
рить своему аппетиту уже на правой сторонѣ Ду-
ная, мы не запаслись никакой провизіей, а полко-
вой обозъ отведенъ былъ неизвѣстно куда. На-
ступило десять часовъ, одиннадцать, двѣнадцать и,
наконецъ, часъ. Прискакалъ какой-то адъютантъ
съ объявленіемъ, что мы скоро тронемся. Полкъ
сталъ въ ружье и добрый часъ простоялъ въ та-
комъ положеніи. Но объ насъ опять какъ будто
забыли. Видя, что тревога была фальшивой, ко-
мандиръ полка приказалъ снять ранцы, составить
ружья, и мы опять усѣлись на лужкѣ. Оголодав-
шіе солдаты погрызвали сухари; ихъ примѣру

послѣдовали нѣкоторые офицеры. Чтобъ утолять жажду, приходилось бѣжать шаговъ двѣсти до рукава Дуная и тамъ зачерпывать мутную воду, но и ее мы глотали съ жадностью.

Часъ проходить за часомъ. Мы видѣли, какъ впереди насъ тянулись какія-то части и по очередин переправлялись черезъ мостъ, а мы ждали и ждали. Наконецъ стемнѣло, а насъ забыли. Подъѣхалъ бригадный командиръ.

— Что же это такое? Что они дѣлають?! — сердился онъ. — Зачѣмъ насъ тронули съ мѣста? Люди могли бы спокойно пообѣдать и поужинать.

Начальникъ дивизіи еще больше выходитъ изъ себя.

— Я жаловаться буду на такой безпорядокъ! — кричалъ онъ. — Кого же изъ насъ они дѣлають!

Намъ очень симпатичны казались протесты начальства, но мы все стояли и стояли на мѣстѣ. Только около девяти часовъ вечера прискакать какой-то адъютантъ и громогласно объявить:

— Полку трогаться къ переправѣ!

Началось надѣваніе ранцевъ, раздалась команда, и мы тронулись, не совсѣмъ отчетливо разсматривая то, что было впереди. Вскорѣ до насъ сталъ доноситься шумъ шаговъ людей, идущихъ по мосту. Заблестѣла вода, и мы поняли, что, наконецъ, это Дунай.

Въ это время вдругъ съ боку раздался голосъ Ефремова:

— Ваше благородіе, вы, вѣрно, изволили отощать, а я сейчасъ добылъ брынзы. Можетъ-быть, угодно будетъ откушать?

Сказано это было тономъ такой доброты и участія, что я улыбнулся и поблагодарилъ:

— Спасибо, милый, не откажусь. Дѣйствительно я отопаѣть.

Румынскій сыръ, именуемый „брынза“, есть не что иное, какъ соленый прессованный творогъ. Въ другомъ случаѣ къ такому сокровищу я неохотно и прикоснулся бы, но теперь съ этимъ продуктомъ, казалось, не могъ сравниться никакой швейцарскій сыръ.

Болѣе четверти часа мы шли по огромному мосту и, выбравшись, наконецъ, на берегъ, свернули вправо на наскоро сдѣланное шоссе. Намъ занимало одно: когда же наступитъ окончаніе нашего перехода и намъ укажутъ, гдѣ остановиться. Однако это не такъ скоро случилось; намъ пришлось до бивуака пройти еще верстъ шесть. Вскорѣ насъ догналъ обозъ, и мы могли хоть какъ-нибудь утолить нашъ голодъ.

То, что мы дѣлали походомъ, не казалось намъ чѣмъ-то исключительнымъ, но, вступивши въ Турцію, поняли, что Дунай былъ нашимъ Рубикономъ, послѣ котораго должна начаться настоящая боевая жизнь.

Операциі перваго періода войны, какъ извѣстно, отличались крайней нерѣшительностью. Это объяснялось тѣмъ, что мы не знали о силахъ непріятеля и о его намѣреніяхъ. Дожидаясь своей очереди на берегу Дуная, мы удивлялись, что русскія войска съ малыми потерями могли переправиться черезъ такую широкую рѣку, и, глядя на грозно возвышавшееся Систово и на весь правый берегъ, представлявшій естественную крѣпость, не въри-

лось, что мы уже въ непріятельской странѣ. Потомъ мы узнали, что, если бы турецкая бригада, имѣвшая спеціальную обязанность маневрировать по берегу, не очутилась случайно 15 іюня противъ Зимницы, то, вѣроятно, наша армія вступила бы въ Болгарію безъ одного непріятельскаго выстрѣла.

Послѣ переправы непріятель вдругъ исчезъ. Генераль Гурко свободно прошелъ балканскіе проходы и появился въ долину Розъ, то-есть совершилъ одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ военныхъ набѣговъ, и только потому, что не былъ поддержанъ во-время, долженъ былъ вернуться обратно. А между тѣмъ прибывшія войска не торопили отправки въ центръ Болгаріи.

Переночевавъ въ мѣстечкѣ Павло, мы думали, что немедленно тронемся для какихъ-нибудь боевыхъ операцій, но оказалось, что насъ оставили для охраны императорской квартиры. Мы понимали всю важность нашего положенія, но это не улучшало нашего расположенія духа. Придя на войну, намъ хотѣлось двигаться впередъ и понюхать пороху, а приходилось бездѣйствовать и цѣлые дни просиживать въ палаткѣ. Такъ прошло болѣе недѣли. Затѣмъ императорская квартира перебралась въ Бѣлу, куда передвинули и насъ.

Находясь въ такомъ положеніи, офицерство невольно искало какого-нибудь развлеченія. Появились карты. Сначала были попытки играть въ коммерческія игры, но это скоро надоѣло, и азартъ захватилъ всѣхъ.

Едва оканчивались занятія съ нижними чинами и осмотръ ихъ, какъ въ извѣстныя палатки, получившія наименованіе клубовъ, одинъ за другимъ тянулись поклонники макао. Едва ли можно было найти одного офицера, не отдававшего игръ извѣстную дань. Особенно жаркій бой происходилъ по вечерамъ, когда дѣлалось прохладно.

На одинъ изъ такихъ сеансовъ зашелъ и я. Въ палаткѣ, гдѣ помѣщались Баркинъ и Мустоцкій, на землѣ былъ разостланъ войлокъ. На немъ-то и возсѣдали бойцы. Серебра и бумажекъ почти не было видно, а звенѣло золото, такъ какъ съ переходомъ за границу большая часть жалованья выдавалась звонкой монетою.

— Господа, пятнадцать рублей въ банкъ,—объявлялъ Баркинъ.

— Мои пять,—говорилъ Ракетовъ.

— Ну, ужъ мои десять,—добавлялъ Мышниковъ.

— Вы не очень рвите,—протестовалъ Банкометъ.

— Да, вотъ буду я вамъ въ зубы смотрѣть! Хотите канителиться, такъ идите играть къ Пимоничу; тамъ на гривеннички бьются.

Однако Баркину везло, и на импровизированномъ столѣ валялись уже шесть полуимперіаловъ.

— А позвольте мнѣ одну штучку поставить. Да чтобъ аккуратно было,—говорилъ Мустоцкій, выдвигая золотой.

Вслѣдъ за нимъ назначили ставки другіе партнеры. Оставался одинъ полуимперіаль.

— Ну, ужъ это мой,—объявилъ я.

Карта опять была бита.

— Ишь, ему претъ!

— А ты думалъ какъ? Довольно того, что вчера порядочно почесали меня.

Проигравъ золотой, мнѣ ужъ не хотѣлось уходить, и я тоже опустился на войлокъ.

— Господа, я половину снимаю, — объявить банкометъ.

— Такъ мы не будемъ играть! — раздались голоса.

— Въ такомъ случаѣ я передаю.

Очереднымъ былъ Мышниковъ. Онъ взялъ талію, но у него немедленно сорвали банкъ.

Я никогда не имѣлъ особаго пристрастія къ игрѣ, однако, проигравши восемь полуимперіаловъ, я ушелъ, задѣтый за живое, и долго не могъ заснуть. Не потому, что мнѣ жаль было денегъ, а мною овладѣло какое-то незнакомое мнѣ до тѣхъ поръ чувство. Девятки, восьмерки и очки, составлявшіеся изъ двухъ картъ, такъ и мелькали предъ глазами. Даже во снѣ представлялось, что я беру ставку за ставкой, и предо мной лежитъ груда золота.

Весь слѣдующій день я провелъ въ тревожномъ состояніи и вечеромъ опять возсѣдать на знакомомъ войлокѣ. На этотъ разъ игра шла съ большимъ азартомъ, и среди играющихъ я увидѣлъ Голумянцева и даже Матьянскаго. Ставки были крупнѣе, голоса громче, и возникло даже нѣсколько недоразумѣній.

— Вы неправильно ведете игру! — горячился Лугавинъ, обращаясь къ Ракетову. — Вы не игрокъ, а шильникъ.

— Пожалуйста, не забывайте, а то я съ вами не такъ заговорю.

— Э, знаемъ мы ваши разговоры!

Посматривая на лица играющихъ, у меня невольно явилось опасеніе, что макао не доведетъ нѣкоторыхъ до добра, такъ какъ во время игры нетрудно коснуться и казенныхъ денегъ, которыми всегда могъ располагать ротный командиръ. Скоро такъ и случилось. Двое изъ участвующихъ проигрались до послѣдней копейки и затѣяли ссору, чуть не окончившуюся дракой. Видя, въ какую можно попасть исторію, я далъ себѣ слово забастовать и перестать заглядывать къ игрокамъ. Всеволодъ Сергѣевичъ послѣдовалъ моему примѣру.

Оставаясь вдвоемъ въ палаткѣ, мы невольно заводили длинныя бесѣды, вспоминая дни мирнаго времени.

— Ну, какъ ваши сердечныя дѣла?—обратился я къ нему, лежа на своей походной постели.

— Попрежнему. Пишетъ, что скучаетъ.

— Ну, а вы?

— Я испытываю какія-то странныя ощущенія. То Саша вспоминается мнѣ, какъ что-то радостное, дорогое, а временами, напротивъ, мнѣ дѣлается досадно. Ну, скажите, пожалуйста, честно ли это? Мы собирались итти на войну—время ли было заводить любовныя исторіи. Хоть ей и нехорошо жилось, но она нашла бы себѣ человѣка, вышла бы за него замужъ и стала бы жить, какъ живутъ всѣ люди ея круга. Такъ нѣтъ, надо было смутить ея покой! Если бъ вы прочли хоть одно ея письмо... Сколько въ немъ любви и преданно-

сти! Ахъ, сколько радости читать ихъ! Ну, а потомъ... Вы, вѣроятно, замѣтили, какъ я осунулся. Но это не отъ изнеможенія, а отъ того, что никогда-то я не знаю покоя. Не увлекись я, развѣ я испытывать бы то, что теперь испытываю. Меня интересовало попасть въ бой, гдѣ свищутъ пули, а теперь не то... Вы себѣ представить не можете, какая явилась страшная жажда жить, чтобъ вернуться къ ней. И посмотрите, я не уцѣлѣю. Кто-то давно сравнилъ сражающихся съ игроками: у кого много куража, тотъ выигрываетъ, кто смѣло смотреть въ глаза смерти, того не тронуть, а кто ежится, старается укрыться и читаетъ про себя молитвы, тому капутъ. Вотъ такъ и со мной будетъ.

— Да развѣ вы трусите?

— Нѣтъ, я не буду бояться, но стану ждать пощады. Это и погубить меня.

— Будетъ вамъ каркать на свою голову. Богъ дастъ, все обойдется благополучно, и мы попируемъ на вашей свадьбѣ.

Въ разгаръ нашей бесѣды вдругъ донесся до насъ чей-то внушительный голосъ. Мы стали прислушиваться и узнали голосъ командира полка:

— Господа, я предлагаю вамъ немедленно разойтись. Азартныя игры вообще запрещены, и тѣмъ болѣе онѣ неумѣстны въ лагерѣ да еще въ военное время. Вы являетесь соблазномъ для солдатъ. Офицеры должны подавать хорошій примѣръ. Предупреждаю васъ, что если повторится что-нибудь подобное, то я, въ огражденіе достоинства службы, долженъ буду принять законныя

мѣры для пресѣченія того, что теперь происходитъ.

— Эге, влетѣло!—проговорилъ съ улыбкой, подмигивая, Матьянскій.

Черезъ нѣсколько минутъ ввалился въ палатку крайне разстроенный Лугавинъ.

— Это чортъ знаетъ, что такое! Мы не дѣти, чтобъ насъ водить на помочахъ! Я только сталъ отыгрываться, какъ появился незванный наставникъ.

Не желая дразнить раздраженного человѣка, я промолчалъ, но Матьянскій по своей наивности не выдержалъ:

— Вамъ, конечно, это неприятно, но вѣдь онъ дѣйствовалъ по закону.

— Убирайтесь вы съ вашимъ закономъ!—огрызнулся Иванъ Петровичъ.—Удивительный человѣкъ! Что ни скажетъ — то смажетъ. Противно слушать!

— Я и не прошу. У всякаго свое мнѣніе.

— Ну, и подавитесь имъ.

Полное несходство натуръ и взглядовъ на вещи никакъ не могло уничтожить грань, раздѣлявшую этихъ двухъ людей, и только мой тактъ укрощалъ буйные порывы какъ того, такъ и другого.

— Что это вы, господа, не можете двухъ словъ сказать безъ ссоры? Дайте мнѣ хоть ночью покой.

— Спите, спите. Я больше не проговорю ни одного слова,—успокаивалъ меня Лугавинъ и ворча сталъ раздѣваться.

VI.

Между тѣмъ война разгоралась. Взятъ былъ Никополь, и совершенно неожиданно, на глазахъ у всѣхъ, возникла Плевна, возлѣ которой начались серьезныя дѣла, и на Зеленыхъ горахъ дѣйствовалъ Скобелевъ.

Въ виду этого императорская квартира переведена была въ Парадимъ, и мы, переставши быть охраной, входили въ составъ Рущукскаго отряда и вмѣстѣ съ двѣнадцатымъ корпусомъ образовывали лѣвый флангъ арміи, имѣвшей по фронту безъ малаго девяносто верстъ.

Во второй половинѣ августа значительная часть отряда Мехмеда-Али сдѣлала диверсію, желая обойти нашъ флангъ и прорвать его. Эта диверсія была направлена именно на тотъ пунктъ, къ которому подошелъ нашъ полкъ.

На возвышенномъ берегу Янтры еще съ вечера мы видѣли въ бинокль передвиженія войскъ и замѣтили генерала, съ крутизны обозрѣвавшаго мѣстность. То, что не раздалось ни одного выстрѣла, казалось намъ зловѣщимъ затишьемъ передъ бурей.

Плохо мы провели ночь. О томъ, чтобы разставить палатки, никто и не думалъ, а всѣ части, занявъ мѣста на позиціи, прилегли, кто какъ могъ. Мы размѣстились на буркахъ. Солдаты, поужинавъ, какъ слѣдуетъ, спали, положивъ головы на ранцы.

Не бывъ никогда до этого въ дѣлѣ, я ощущалъ незнакомое мнѣ волненіе. Это не было страхомъ, а чѣмъ-то болѣе похожимъ на сильное нервное

раздраженіе, когда человѣкъ вздрагиваетъ при каждомъ стукѣ. Прележавъ такъ нѣсколько времени, я всталъ и пошелъ къ сосѣдней ротѣ, откуда раздавались негромкіе голоса.

— Завтра, вѣрно, будетъ хорошая баня,—ораторствовать Лугавинъ.—Да и пора погрѣться. А то военные, военные, а дальше плацъ-парада носа не совали.

— Смотри, не сбренди!—подшучивать Мустонкій.—А то не аккуратно будетъ.

— Не безпокойся, не ударю лицомъ въ грязь. Все равно, когда-нибудь умирать придется.

— Такъ-то оно такъ, а все-таки не стаканъ воды выпить,—философствовать Мышниковъ. — Я вотъ думаю, думаю и не разберусь. Какъ-то не могу заранѣе освоиться съ тѣмъ, что будетъ. Одно знаю—надо командовать. Тутъ поневолѣ некогда трусить.

— Нѣтъ, кто будетъ завтра интересенъ,—это Купидонъ!—продолжать Лугавинъ.—До какой бѣлизны дойдетъ его лицо, и въ какое мѣсто спрячется его душенька!

Мнѣ не понравилось такое хвастовство, и я обрѣзалъ Лугавина:

— Иванъ Петровичъ, не забывайте русской половицы: „не хвались, вѣдучи на рать“... Что будетъ завтра, увидимъ.

Проговоривъ это, я отправился къ своей ротѣ. Лугавинъ пошелъ за мной. Когда мы подошли къ разложеннымъ буркамъ, Матьянскій сидѣлъ унылый и, опираясь локтями на колѣни, опустил голову на руки.

Желая хоть немного отдохнуть, я наскоро легъ. Иванъ Петровичъ послѣдовалъ моему примѣру, Матьянскій же сидѣлъ попрежнему въ глубокой задумчивости.

Спустя немного времени, предполагая, вѣроятно, что мы оба спимъ, онъ вынулъ изъ кармана связку писемъ и положилъ ихъ около себя. Затѣмъ досталъ два портрета и по очереди пристально вглядывался въ нихъ. Но ночь была настолько темна, что выраженія лицъ невозможно было рассмотреть. Тогда Всеволодъ Сергѣевичъ сталъ зажигать спички и, огораждая свѣтъ полою своего пальто, продолжать любоваться дорогими существами и горячо цѣловать ихъ. Я зналъ, что это были портреты матери Матьянскаго и его невѣсты. Глядя на молодого товарища, такъ горячо выражавшаго свою привязанность, мнѣ впервые стало жаль себя, какъ не имѣющаго никого, къ кому, можетъ-быть, въ послѣдній день жизни отрадно было бы унестиcя съ такими же чувствами, какъ уносился Всеволодъ Сергѣевичъ.

„Вотъ когда сказывается пустота и безсодержательность нашей жизни,—думать я, смотря на небо, усеянное звѣздами. — Влачишь свое существованіе, а для кого? Никто не молится о тебѣ, никто не шлетъ привѣта, который въ такія минуты даетъ величайшую отраду. Выйдешь живымъ и пойдешь опять бродить безцѣльно, отыскивая пути, какъ бы лучше устроиться; а ухлопаютъ,—закопаютъ въ чужой землѣ и поставятъ памятникъ, къ которому не придетъ ни одинъ близкій человѣкъ“.

Я старался не шевелиться, чтобы не нарушить того блаженнаго состоянія, въ которомъ находился Всеволодъ Сергѣевичъ. Но безтактный Лугавинъ, также не спавшій, не выдержалъ и, когда Матьянскій прижалъ портретъ къ своей груди, фыркнулъ. Отъ этого звука молодой человѣкъ вздрогнулъ и, вскочивъ съ мѣста, скрылся въ темнотѣ. Когда я, спустя нѣкоторое время, проснулся, то увидѣлъ Матьянскаго безмятежно спящимъ, свернувшись въ комочекъ. Какъ только стало разсвѣтать, въ отрядѣ началось движеніе. Всѣ были увѣрены, что непріятель, зная нашу малочисленность, не замедлитъ перейти чрезъ рѣку и атаковать насъ. Мы не знали только одного, что турки никогда не начинаютъ особенно рано дѣйствовать.

Часовъ около четырехъ мы увидѣли, какъ по крутому скату рѣки тянулась пѣхота, а на вершину выѣхала артиллерія, послѣ чего вскорѣ показался дымокъ, и надъ нашими головами пронеслась граната. Потомъ другая... третья и загорѣлся бой. Наши батальоны расположились на гребнѣ отлогого спуска, покрытаго на значительномъ пространствѣ кустами виноградника. Въ этомъ-то виноградникѣ и засѣли наши стрѣлки, обмѣниваясь выстрѣлами съ турецкой цѣпью.

Пославши къ намъ огромное количество гранатъ и шрапнелей, на которыя наша артиллерія, какъ имѣвшая орудія меньшаго калибра, не могла отвѣчать съ такой же силой, и простоявши противъ насъ въ пассивномъ положеніи, турки, наконецъ, рѣшили взять нашу позицію, и мы увидѣли, какъ густыя цѣпи, имѣя за собой резервы,

стремительно пошли впередъ. Сначала мы не могли причинять имъ вреда, такъ какъ нашъ прицѣлъ давалъ возможность стрѣлять только на шестьсотъ шаговъ, а врагъ, вооруженный ружьями Пибоди, могъ поражать насъ на полутора-верстномъ разстояніи. Однако мы не унывали, твердо надѣясь на солдатскую грудь.

На пересѣченной мѣстности трудно видѣть, гдѣ кто находится и что дѣлаетъ. Проходя осторожно по цѣпи, я ободрялъ стойко засѣвшую роту и съ болью въ сердцѣ отвертывался отъ труповъ подчиненныхъ, такъ недавно еще открытымъ взглядомъ смотрѣвшихъ на меня. Между солдатами я замѣтилъ Матьянскаго, указывавшаго, во что цѣлиться. Лугавина же и слѣдъ простылъ. Обойдя всю линію, я не видѣлъ Ивана Петровича и не слышать его голоса. Минѣ невольно пришла въ голову мысль, что, вѣроятно, вражеская пуля уложила его, и бѣдняга лежитъ гдѣ-нибудь, незамѣтно уснувъ навѣки.

Минута отъ минуты наше положеніе становилось серьезнѣе и серьезнѣе, и я съ трепетомъ думалъ, выдержимъ ли мы натискъ впятеро сильнѣйшаго врага. Турки приближались и подошли уже къ виноградникамъ шаговъ на пятьдесятъ. Тутъ случилось то, чего никто не могъ ожидать. Я увидѣлъ, какъ Матьянскій выскочилъ изъ-за куста и, поднявши надъ головой саблю, бросился впередъ, крича изо всей силы „ура“. Этотъ звукъ, какъ извѣстно, магически дѣйствуетъ на нашихъ солдатъ. Всѣ, бывшіе поблизости отъ Всеволода Сергѣевича, поднялись и, слѣдуя за начальникомъ, бросились. Громовое „ура“ раздалось по всей

линии. Озадаченный неприятель смѣшался и, бросившись бѣжать, впопыхахъ отстрѣливался, какъ попало... И вотъ отъ одной изъ такихъ пуль, схватившись за грудь, какъ подкошенный, упалъ герой, вдохновившій всѣхъ и такъ честно исполнившій свой долгъ.

Но намъ было не до убитыхъ и раненыхъ. Мы гнали врага безостановочно, пока онъ въ паническомъ страхѣ не перебрался опять за Янтру.

Отбивши и прогнавши врага, мы не могли преслѣдовать его, а должны были отойти на позицію, которую занимали до боя.

Убыль въ полку оказалась значительной; офицеровъ выбыло изъ строя пятеро: четверо было ранено и одинъ убитъ.

Скверно чувствовалось намъ. Видъ убитыхъ и пострадавшихъ невольно наводитъ на всѣхъ уныніе. Измученнымъ и голоднымъ, намъ хотѣлось скорѣе подкрѣпить свои истощенныя силы. Обозъ, отѣхавшій отъ насъ на значительное разстояніе, придвинулся, и на бивуакѣ запахло дымкомъ самовара, этого вѣрнаго друга боевой жизни. Пошли рассказы о моментахъ боя, и всякій старался рельефно рассказать о томъ, что пришлось ему испытать.

— А гдѣ былъ вашъ Лугавинъ сегодня?—вполголоса обратился ко мнѣ Мышниковъ.

— Какъ гдѣ? При ротѣ.

— Будто? А мнѣ говорили, что онъ нашелъ аппетитный овражекъ, да тамъ и отсиживался.

Эта фраза показалась мнѣ очень жестокой, но я не могъ съ твердымъ убѣжденіемъ протестовать, потому что самъ уже не былъ прежняго мнѣнія

о своемъ субалтернѣ. Однако, не желая компрометировать честь офицера, я рѣзко возразилъ Василію Васильевичу:

— Охота вамъ вѣрить всякимъ глупостямъ. Мало ли что скажутъ.

— Люди — ложь и я тожъ. Но говорилъ мнѣ человѣкъ достовѣрный.

Дѣйствительно, съ Лугавинымъ что-то произошло. Съ его устъ не срывалось уже хвастливыхъ фразъ; онъ упорно молчалъ, какъ будто его не было въ рядахъ людей, прошедшихъ такой жаркій день.

— Ну, какъ вашъ взводъ? Довольны ли вы были имъ сегодня?—спросилъ я его.

— Да, да... они отлично дрались...—запинаясь, хвалилъ Иванъ Петровичъ и тутъ же перевелъ разговоръ на Матьянскаго. — Я далеко былъ отъ Всеволода Сергѣевича, но, говорятъ, онъ сверхъ ожиданія сегодня молодцомъ велъ себя.

Этой фразой Лугавинъ сильно задѣлъ меня.

— Гмъ... „молодцомъ“! Этого слишкомъ мало. Матьянскій былъ истиннымъ героемъ, и не срази его пуля, я настоялъ бы, чтобъ ему дали георгіевскій крестъ. А вѣдь находились господа, предсказывавшіе, что этотъ непонятный человѣкъ окажется трусишкой; на дѣлѣ же вышло, что струсилъ не онъ, а тѣ, кто храбрились. Сегодняшній день послужитъ имъ хорошимъ урокомъ, и они станутъ осторожнѣе въ своихъ бичеваньяхъ.

Иванъ Петровичъ не возражалъ и молча сидѣлъ, низко опустивши голову. Поневолѣ вѣрилось, что слова Мышкинова были не выдумкой. Въ эту минуту Лугавинъ показался мнѣ настолько

неприятнымъ, что я захотѣлъ какъ-нибудь отлѣлаться отъ него.

Къ счастью, подошелъ Ефремовъ.

— Ваше благородіе, Акимовъ очень мучится.

Я быстро поднялся на ноги.

— А гдѣ онъ?

— Лежитъ возлѣ лазаретной фуры; ему пуля пробила ступню и повредила много костей.

— Проводи меня.

Мы пошли за бивуачный фронтъ, гдѣ вдали виднѣлся фургонъ. Не дойдя шаговъ пятидесяти, мы уже слышали стоны, раздававшіеся въ ночной тишинѣ.

— Гдѣ у васъ тутъ фельдфебель Акимовъ лежитъ?—обратился я къ фельдшеру.

— А вотъ пожалуйста.

Я подошелъ къ переносной койкѣ. На ней стоялъ раненый.

— Что, Акимовъ, очень дурно чувствуешь себя?

— Такъ точно, ваше благородіе. Мочи нѣтъ...

-- Что дѣлать, голубчикъ! На то шли. Спасибо тебѣ за службу. Молодцомъ быть въ бою.

— Радъ стараться, ваше благородіе, только вотъ полегчало бы немного.

— Послушай,—обратился я къ фельдшеру,—ты бы сказалъ доктору, чтобъ ему хоть морфію вспрыгнули.

--- Слушаю-съ, я передамъ.

— Не хочешь ли ты чаю? — спросилъ я Акимова.

— Если милость ваша будетъ,—не оставьте. Все нутро палитъ, во рту сохнетъ.

— Хорошо, я тебѣ пришло. А ты будь покойнѣе. Сейчасъ тебѣ сдѣлають, что нужно, и ты заснешь.

Велѣвши поставить самоваръ и отнести въ лазаретъ въ жестяномъ чайникѣ чай, я легъ и, разбитый нервно, крѣпко заснулъ.

На утро предстояло совершить печальный обрядъ. Едва разсвѣло, назначенные рабочіе принялись за дѣло, и скоро вырыты были двѣ могилы. Одна большая, общая для всѣхъ нижнихъ чиновъ, другая—для Матьянскаго. Когда взошло солнце и бивуакъ сталъ оживляться, появился священникъ съ причетникомъ, и офицеры стали собираться къ мѣсту погребенія, гдѣ уже выстроена была часть для отдавія воинской чести. Имена убитыхъ были переписаны, и этотъ списокъ причетникъ держалъ въ рукѣ. Кромѣ полуроты съ ружьями, вокругъ стояла густая толпа солдатъ, пришедшихъ помолиться о душахъ усопшихъ.

Недолго служилъ батюшка, но каждое слово, сказанное имъ, выливалось изъ души. При перечисленіи погребаемыхъ и при фразѣ: „животъ свой положившимъ“... всѣ опустили на колѣни. Минута была поистинѣ торжественная. Всѣ стояли подавленные, угнетенные, а солнце, поднявшись уже надъ горизонтомъ, ярко свѣтило, какъ будто освѣщая людскую радость, а не глубокую скорбь.

Когда всѣ офицеры по очереди стали подходить прощаться къ Матьянскому, я невольно взглянулъ на Лугавина. Онъ былъ блѣденъ, какъ-то странно ворочалъ глазами, кусать губы и лѣвой рукою перебиралъ эфесъ сабли. Подойдя къ трупу, онъ опустился на колѣни и, простоявъ нѣкоторое

время въ такомъ положеніи, быстро поднялся и сталъ пристально смотрѣть въ лицо покойнаго. А видъ Матьянскаго былъ поразительно хорошъ! Несмотря на легкій загаръ, отъ его лица словно свѣтилось, и за матовыхъ щекахъ остался блѣдный румянецъ; полуоткрытые глаза и ротъ, казалось, произносили свое послѣднее „прости“.

Наконецъ печальный обрядъ кончился. Всѣ присутствующіе, бросили по горсти земли, и солдатскія руки быстро закопали ямы. А надъ Всеволодомъ Сергѣевичемъ тутъ же могильный холмъ обложенъ былъ камнями; затѣмъ сдѣлана была подписка, чтобъ послѣ войны надъ прахомъ товарища воздвигнуть былъ достойный памятникъ.

Военныя операціи шли своимъ чередомъ. Чрезъ недѣлю намъ опять пришлось участвовать въ небольшомъ дѣлѣ, въ которомъ и я поплатился. Непріятельская пуля ударила меня въ мягкія части ноги немного выше колѣна, при чемъ порвала сосуды. Послѣднее обстоятельство и заставило врачей эвакуировать меня изъ отряда. Тяжело раненыхъ или тяжело больныхъ доставляли въ сосѣдніе военно-походные госпитали, а съ такимъ поврежденіемъ, какъ мое, транспортировали въ Румынію или направляли въ Россію.

Нашъ транспортъ направился предварительно въ военно-временный госпиталь, раскинутый на берегу Янтры. Ближайшіе госпитали были отчасти сортировочными пунктами. Тамъ разсматривалась серьезность рапенія и болѣзни; „трудныхъ“ оставляли у себя, а способныхъ выдержать переѣздъ транспортировали.

И вотъ черезъ нѣсколько дней меня въ числѣ другихъ отправили съ транспортомъ въ Зимницу. Ъхали мы въ провіантскихъ телѣгахъ и безъ особыхъ задержекъ, такъ какъ это былъ періодъ плевненскаго затишья.

Переправившись черезъ дунайскій мостъ, который мы такъ недавно проходили пѣшкомъ, транспортъ поднялся на гору и, проѣхавши берегомъ, остановился возлѣ госпитальныхъ шатровъ. Офицеры, къ которымъ врачебный персоналъ относился всегда съ особеннымъ вниманіемъ, сейчасъ же были приглашены въ особое отдѣленіе, гдѣ имъ немедленно сдѣлана была перевязка.

Освободившись изъ рукъ хирурга, я взялъ свои костыли и, поддерживаемый служителемъ, направился въ палату, гдѣ долженъ былъ лечь въ постель. Но едва меня ввели туда, какъ къ намъ подбѣжала молодая дѣвушка съ краснымъ крестомъ на бѣломъ фартукѣ: это была Саша, невеста Матьянскаго. На лицѣ ея выразился искренній ужасъ, и она съ нервной дрожью въ голосѣ спросила:

— Вы ранены?

— Да, раненъ, неопасно. Но какъ вы попали сюда?

— Прежде, чѣмъ отвѣтить на вашъ вопросъ, позвольте уложить васъ. Вамъ, конечно, нуженъ покой.

Къ Любочкиной присоединились еще двѣ сестры и стали помогать мнѣ раздѣться.

Послѣ ухода незнакомыхъ мнѣ сестеръ Александра Даниловна сѣла подлѣ меня. Въ ея взглядѣ было столько страстнаго желанія узнать объ уча-

сти ея милаго, что я рѣшительно не зналъ, какъ поступить, чтобы сразу не поразить любящей дѣвушки.

— Вы ждете узнать о немъ? — спросилъ я негромко. — Не огорчайтесь. Мы всѣ пришли сюда проливать кровь, и всякій изъ насъ долженъ быть готовъ къ страданію.

— Онъ убить!.. — схватившись за грудь, тихо спросила она.

Объявить ей о трагической кончинѣ Матьянскаго у меня не хватило духа, и я лгалъ, какъ говорится, во спасенье.

— Нѣтъ, онъ живъ, но у него перебито колѣно, и потому его не могли эвакуировать. Какъ пойдетъ теченіе болѣзни и придется ли ему ампутировать ногу, — сказать трудно. Это выяснится черезъ нѣсколько дней.

— Боже, спаси его, спаси его! — шептала она, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.

Меня очень интересовало, какъ дѣвушка могла освободиться отъ родительскаго гнета и исполнить свою завѣтную мечту. Но, видя ея волненіе, я не рѣшился сразу приступить къ разспросамъ и лишь вечеромъ, когда она пришла дать мнѣ лѣкарство, вскользь замѣтилъ:

— Вы, вѣроятно, не откажетесь сообщить мнѣ то, что произошло съ вами послѣ нашего ухода?

— Съ удовольствіемъ. Какъ только окончу свои обязанности, приду къ вамъ.

Утомленный дорогой, я крѣпко и долго спалъ, а когда проснулся, наступили уже сумерки. Саша служила въ нашемъ шатрѣ, и я видѣлъ, съ какой ловкостью помогала она больнымъ подниматься и

какъ порхала отъ одной кровати къ другой, то разспрашивая, то услуживая. Невольно бросалась въ глаза радость каждаго больного, когда къ нему приближалась эта дѣвушка съ идеально красивымъ лицомъ, съ яснымъ и чистымъ взглядомъ.

— Теперь я могу побыть съ вами, — объявила она, придвигая табуретку.

— Александра Даниловна, мнѣ кажется, что я во снѣ. Могъ ли я думать, что такое хрупкое существо, какъ вы, съ такой удивительной стойкостью будете исполнять обязанности сестры милосердія?

— Михаилъ Петровичъ, я сказала вамъ на прощаніе, что найду въ себѣ силы, и нашла ихъ. Богъ поддерживаетъ слабыхъ.

— Но какъ вы добились согласія вашего отца?

— Ахъ, мнѣ очень трудно было съ нимъ бороться, но я нашла средство повліять на него. Въ нашемъ городѣ, какъ вы знаете, есть женскій монастырь, и игуменья въ немъ—бывшая княгиня. Матушка пользуется всеобщимъ уваженіемъ, и къ ней всегда заѣзжаетъ не только губернаторъ и архіерей, но даже жалуютъ очень высокопоставленные лица изъ Петербурга. Къ ней-то меня и направили. Я рассказала ей про свою жизнь и про то, что намѣрена послужить страждущимъ воинамъ. Долго игуменья отговаривала меня, указывая на то, что я не довольно крѣпка тѣломъ, но я плакала и валялась у нея въ ногахъ. Это тронуло матушку. Она подняла меня, поцѣловала, съ волненіемъ благословила и сказала: „Пришли мнѣ своего отца“. Что между ними происходило, — я не знаю, но когда папаша вернулся изъ мона-

стыря, его нельзя было узнать. „Ну, Саша, видно, Богу такъ угодно,—сказать онъ.—Матушки-игуменьи нельзя послушаться. Иди и исполняй волю Божию“. Послѣ этого настоятельница дала мнѣ записку, и я отправилась въ Москву, гдѣ ея двоюродная сестра, также княгиня, управляла общиной. Тамъ меня не стали задерживать и въ числѣ восьми сестеръ препроводили сюда.

Разсказано было это все такъ просто, какъ будто ничего особеннаго не произошло въ жизни этой дѣвушки.

— Въ какомъ госпиталѣ лежитъ Всеволодъ Сергѣевичъ? — вдругъ рѣзко перемѣнивъ тонъ, съ волненіемъ спросила она.

Я сдѣлалъ видъ, что вспоминаю, потомъ набумъ сказать номеръ. Она сейчасъ же записала, очевидно, намѣреаясь навести справки. А я желалъ только одного, какъ бы скорѣе выбраться изъ Зимницкаго госпиталя, чтобы не дожить тамъ до того дня, когда смерть Матѣянскаго перестанетъ быть для Любочкиной тайной. Я заранѣе представлялъ себѣ ужасъ и отчаяніе молодой дѣвушки и не хотѣлъ остаться свидѣтелемъ ея мукъ, а можетъ-быть, и катастрофы.

Главный врачъ, не понимая истинной причины моей просьбы, очень удивлялся, что я настойчиво требовать эвакуаціи, если не въ Россію, то, по крайней мѣрѣ, въ Яссы, гдѣ устроенъ былъ громадный госпиталь.

Наконецъ мое желаніе исполнилось, и день отъѣзда былъ назначенъ. Передъ отправленіемъ Александра Даниловна очень волновалась. Въ мо-

емъ лицѣ, очевидно, она видѣла звено, соединявшее ее когда-то съ Матьянскимъ.

— Господи, отчего же до сихъ поръ о немъ нѣтъ отвѣта?—ломая руки, говорила она какъ бы про себя.

Этотъ разъ у меня не хватило духа, утѣшая ее, лгать, и я промолчать.

Когда отправляемыхъ размѣстили по телеграмъ, Саша подошла ко мнѣ и съ глазами, полными слезъ, шептала:

— До свиданья... до свиданья...

Съ тѣхъ поръ мнѣ не пришлось быть на родинѣ Любочкиной, но до меня дошелъ слухъ, что она не вернулась домой, а будто бы погибла отъ тифа.

Такъ окончилась трогательная исторія двухъ людей, созданныхъ не для борьбы съ жизнью, а чтобы мелькнуть на ея горизонтѣ и преждевременно погаснуть...

На этомъ кончаются найденные наброски. Признавъ ихъ не лишенными интереса, мы, приведя по возможности рукопись въ порядокъ, и предлагаемъ ее вниманію читателей.

Забытая рота.

I.

Быль августъ мѣсяцъ. Бригада наша стояла при императорской квартирѣ около мѣстечка Бѣлы. Нашъ батальонъ расположенъ былъ бивуакомъ у гребня крутой горы, вблизи какого-то первобытнаго укрѣпленія. Послѣ плевненскихъ неудачъ все какъ-то стихло въ отрядахъ. Мы знали только, что изъ Россіи призваны подкрѣпленія и что наступательныя дѣйствія противъ непріятеля пріостановлены. Знали также, что турки, со своей стороны, небольшіе охотники наступать, и потому мы предвидѣли долгое бездѣйствіе и невольно впали въ апатію. Время тянулось однообразно, вяло и скучно. Дни стояли жаркіе, томительные. Рано утромъ выходили мы на ученье, которое, какъ и всѣ ученья на театрѣ войны, производилось лишь для поддержанія бодрости, здоровья и дисциплины. Послѣ ученья мы разоблачались и, лежа, предавались непомѣрному чаепитію. Боже мой, сколько выпивалось этого чаю! Утромъ — чай, часовъ въ двѣнадцать—чай, часа въ четыре—чай, вечеромъ—опять чай... такъ что, принявъ во вниманіе про-

должительность каждаго чаепитія, можно сказать, что чай пили безъ перерыва. Что же мы еще дѣлали? Кому была очередь итти на аванпосты, тѣ и шли подъ палящіе лучи солнца; остальные оставались изнывать отъ жары въ палаткахъ. Разговоры не вязались; чтеніе не шло на умъ. Всѣ нетерпѣливо ждали вечера, когда потянетъ прохладой; и тогда кто выходилъ къ ротѣ, а кто отправлялся въ Бѣлу, чтобы „потолкаться“ для разнообразія. Затѣмъ, бывало, когда уже совсѣмъ стемнѣетъ и зажгутъ огни, офицерство собиралось въ нѣкоторыя избранныя палатки, незамѣтно обратившіяся въ клубы, гдѣ тянулась далеко за полночь картежная игра. Каждая изъ такихъ палатокъ имѣла своихъ посѣтителей. Въ одну шли „стуколисты“, въ другую—поклонники „макао“, а въ третью—поклонники излюбленнаго всеокрушающаго „штоса“. Часто игра продолжалась до свѣта. Такъ проходили дни одинъ за другимъ.

Помню, однажды, когда я собирался провести время въ обычномъ бездѣльѣ, пришелъ ординарецъ и объявилъ, что меня требуетъ командиръ полка.

„Зачѣмъ бы это?—подумалъ я. — Въ ротѣ, кажется, все исправно?“ Но, какъ бы то ни было, нужно было одѣваться, затѣмъ спуститься съ крутой горы, потомъ подняться на очень крутую гору и вообще пройти всего около версты. Все это я быстро исполнилъ, и когда явился къ начальнику, то услышалъ любезное „сидитесь!“

— Я имѣю сдѣлать вамъ очень серьезное порученіе,—началъ нашъ командиръ.—Надѣюсь, что вы его исполните, какъ всегда, исправно.

Я поклонился.

— Государю было угодно приказать, чтобы немедленно было отправлено въ деревню Новоградъ прикрытіе съ опытнымъ ротнымъ командиромъ, для охраненія моста черезъ Янтру. Вы должны будете охранять этотъ мостъ самымъ тщательнымъ образомъ, такъ какъ черезъ него должны возвращаться осадные парки, посланные къ Рушуку. Возьмите сто человѣкъ нижнихъ чиновъ и одного офицера. Кого вы хотите?

— Желать бы прапорщика Минина, — отвѣчать я.

Мининъ былъ моимъ сожителемъ по палаткѣ.

— Берите, берите, — улыбаясь, согласился командиръ, — хотя я замѣчаю, что вы пристрастны къ этому офицеру. Не буду вамъ дѣлать никакихъ указаній. Но надѣюсь, что вы сами понимаете всю важность возлагаемаго на васъ порученія, — добавилъ онъ серьезнымъ голосомъ, — и прошу васъ выступить завтра же.

Затѣмъ онъ пожалъ мнѣ руку, и я откланялся.

Командировка эта меня очень обрадовала.

Я побѣжалъ прямо въ роту дѣлать распоряженія. Едва вымолвилъ я тамъ слово „походъ“, какъ по всѣмъ палаткамъ послышались возгласы радости. Фельдфебель Алексѣевъ, когда узналъ, что я его оставляю и не беру съ собой, пришелъ въ уныніе. Зато унтеръ-офицеръ Ѳеодоръ Матюшкинъ сталъ отъ полного удовольствія шумѣть невообразимо.

— Смотри жъ, ребята, подтянись, — ораторствовать онъ, — чтобы теперича, какъ есть, какъ одна душа, а то, смотри у меня, сдохнешь въ ночныхъ!

— Мы, Ѳедоръ Михайловичъ, рады стараться. Нешто не понимаемъ! — раздавались голоса въ отвѣтъ.

Сдѣлавъ всѣ распоряженія къ выступленію, я направился къ своей палаткѣ. При входѣ моемъ Мининъ лежалъ и улыбался. Я сдѣлалъ видъ, что его не замѣчаю.

— Ясинскій,—крикнулъ я вѣстовому, — сегодня съ вечера чтобы всѣ вещи были уложены! Завтра до свѣта выступаемъ.

— Да вы не шутите?—приподнялся Мининъ.— Всѣ или мы одни?

— Я одинъ, а вы остаетесь.

— Ну, ужъ это, батюшка, сочиняете, меня не бросите. Я вамъ буду по ночамъ грезится.

Я разсмѣялся и рассказалъ, въ чемъ дѣло.

— Что вы!—воскликнулъ Мининъ и, вскочивъ, сталъ меня тормошить и обнимать.

Молва о нашей командировкѣ быстро разнеслась, и многіе позавидовали намъ. На утро, еще заря не занялась, какъ Матюшкинъ уже будить Ясинскаго, чтобы доложить мнѣ, что люди одѣваются и лошадей закладываютъ. Черезъ полчаса мы уже выступили. Ночь была свѣжая. Въ Бѣлѣ всѣ спали; тишина нарушалась только лаемъ собакъ. Люди, несмотря на ранцы, сухари и патроны, шли очень ходко, такъ что братушка (проводникъ) едва поспѣвалъ за нами. Голосовъ слышно не было, только кашель или громкій вздохъ да стукъ шаговъ и колесъ обнаруживали движеніе. Тишина ночи и какое-то неопредѣленное сознаніе того, что находишься на войнѣ, располагали къ безмолвію.

Такъ прошли мы верстъ шесть. Взошло солнце, и черезъ часъ жгучіе лучи его уже стали насъ беспокоить. Мы остановились на привалѣ около фонтана и съ удовольствіемъ пили холодную кристальную воду. Дорога шла почти все время по берегу Янтры.

Простоявъ на привалѣ около часа, мы тронулись далѣе и стали переваливать черезъ гору, гдѣ дорога, повидимому, проложена была уже во время войны. Глыбы камня лежали направо и налево отъ дороги, и самая дорога была до того не равна, съ такими ступенями, что, вѣроятно, не мало колесъ покончили на ней свое существованіе. Съ нами шли тяжелый патронный ящикъ, вѣсившій слишкомъ семьдесятъ пудовъ, и еще сухарная фура, вѣсившая шестьдесятъ пудовъ. Вообще такія тяжести составляли всегда въ горахъ истинное бѣдствіе для войска; четверкъ лошадей трудно было втаскивать ихъ на крутизны, и лошадямъ всегда помогали люди.

И у насъ дѣло не обошлось безъ приключеній: сначала колесо отъ патроннаго ящика разлетѣлось въ куски; затѣмъ, когда надѣли запасное и стали уже спускаться, одно за другимъ, въ ящикѣ и въ фурѣ, разлетѣлись еще два колеса. Запасныхъ уже не было. Пришлось оставить конвой, а верхового послать въ полкъ за колесами. Случаи эти повторялись часто, такъ что завѣдывающіе хозяйствомъ приходили въ отчаяніе, но помочь горю не могли, потому что дерево было гнилое.

Часовъ въ десять утра вошли мы въ кукурузные посѣвы, густые и высокіе, какъ лѣсъ. Кукурузнымъ полемъ шли мы почти часъ, затѣмъ по-

казался минаретъ, и передъ нами предстала деревня Новоградъ. Пройдя мимо деревни, мы подошли къ Янтрѣ и, перейдя ее по мосту, расположились внутри предмостнаго укрѣпленія, построеннаго нашими саперами при первомъ наступленіи, послѣ переправы черезъ Дунай.

Основаніемъ для моста служили три купеческія судна, которыя вслѣдствіе быстрого обмеленія Янтры послѣ половодья сѣли на мель и не могли выйти въ Дунай. Ихъ сдвинули, прикрѣпили якорями и положили на нихъ настилку. Этотъ-то мостъ мы и должны были охранять отъ черкесовъ и баши-бузуковъ, партіями выходившихъ изъ Рушчука, и отъ прихотливыхъ водъ Янтры, которыя поднимались отъ дождей въ одну ночь болѣе чѣмъ на сажень. Послѣднее дѣло составляло скорѣе обязанности саперовъ, но они были заняты укрѣпленіемъ позицій при отрядахъ.

Когда палатки были растянуты и рассчитанъ караулъ, солдатики съ жадностью бросились купаться, а мы съ Мининымъ пошли искать себѣ квартиру. Наши поиски, конечно, не шли дальше каютъ судна. Правда, въ этихъ каютахъ было столько сору и грязи, что при другихъ условіяхъ отпала бы охота превратить одну изъ нихъ въ жилище, но палатка, гдѣ съ трудомъ можно было выпрямиться во весь ростъ, жестоко надоѣла намъ и мы непременно хотѣли устроить хотя подобіе человѣческаго жилья. Работа закипѣла; цѣлые вороха мусора полетѣли въ Янтру. Изъ дверей сдѣланъ былъ столъ, изъ полотенецъ—занавѣски къ окнамъ. Притащили сѣна, на него разостлали наши ковры; постлали чистое бѣлье, и мы съ

дѣтскою радостью улеглись на наши импровизированныя постели, вспоминая нашу далекую родину.

Проснувшись часовъ въ пять, я потребовалъ къ себѣ старосту для переговоровъ о поставкѣ овецъ и объявилъ ему, что могъ бы потребовать ихъ за плату, но что считаю за лучшее сойтись добровольно. Братушка назначилъ по два рубля за шгуку и обязался пригонять ежедневно по пяти овецъ; я согласился, но, когда вечеромъ овцы были пригнаны, артельщикъ пришелъ доложить, что овцы молодья, болѣе двадцати фунтовъ не вѣсятъ, и цѣны этой не стоятъ. Не повѣривъ вполнѣ артельщику, я вмѣстѣ съ Мининымъ пошелъ къ ротной кухнѣ, куда пригнаны были овцы. Тутъ былъ староста и еще два болгарина. Овцы оказались молодья и мелкія.

— Ты что жъ это, братушка, за такихъ овецъ хочешь по два рубля?

Староста заговорилъ на это такъ быстро, что я ничего не могъ понять. Только и слышно было: „добре, добре... нима, нима“...

Я объявилъ, что могъ бы взять ихъ какъ реквизицію, но этого пока не дѣлаю. И тутъ же предложилъ за овцу по рублю, а шкуру обратно. Болгары разсердились и заговорили всѣ разомъ. Хотя цѣна и была настоящая, но имъ было досадно, что не удалось сорвать при такомъ удобномъ случаѣ.

— Угмонитесь, — замѣтилъ я, — васъ не обижаютъ, нечего и толковать.

— Что вы съ ними церемонитесь? — вмѣшался Мининъ. — Развѣ они понимаютъ? Вотъ бы васъ какъ надо!

И онъ поднялъ кулакъ.

Болгары, видя этотъ жестъ, попятились и молча смотрѣли исподлобья.

— Ну, ну, пойдѣмте-ка лучше отсюда. Полно буянить.

Болгары согласились оставить овецъ за эту цѣну, и мы ушли.

Отправились мы осматривать деревню Новоградъ. Деревня эта, какъ и всѣ болгарскія селенія, раздѣлялась на турецкую и болгарскую. Турецкая была покинута жителями, и каждый домъ представлялъ видъ полного запустѣнія. Стекла были побиты, рамы сломаны, двери сняты, повсюду валяется масса какихъ-то тряпокъ и всевозможнаго сору,—все это показывало, что болгары похозяйничали послѣ ухода турокъ. Домъ бея и мечеть представляли тоже зрѣлище разрушенія. На краю болгарской деревни находится двухъэтажное зданіе; внизу помѣщались кабакъ и лавочка, а наверху жилъ хозяинъ. Когда мы подходили, небольшая кучка болгаръ стояла около кабака. При нашемъ приближеніи они сняли шапки и низко кланялись.

— Здорово, братушки, здорово!

Мы вмѣстѣ съ ними вошли въ кабачокъ, который съ лавочкой составлялъ нераздѣльное цѣлое. Я предложилъ имъ „раки“; они съ удовольствіемъ вышли. Одинъ изъ нихъ владѣлъ немного русскимъ языкомъ и сталъ рассказывать о томъ, какъ турки пригнѣсли ихъ, какъ имъ не хотѣлось уходить изъ домовъ и какъ они просили не жечь ихъ жилищъ...

Для три-четыре мы жили да поживали безъ горя и печали. Погода была прекрасная, вѣстей тре-

возныхъ никакихъ, транспорты приходили аккуратно, мы получали все необходимое и чувствовали себя спокойно и хорошо. Бывало, выйдешь вечеромъ на мостъ посмотрѣть на быстрыя волны Янтры да полюбоваться роскошнымъ закатомъ солнца. Въ воздухѣ становилось прохладно и дышалось легко. На берегу, около палатокъ, люди собирались кучками. Смѣхъ, шутки, рассказы. Громче всѣхъ слышался голосъ Матюшкина.

— Не сумлѣвайся, братъ, ежели онъ ночью подходить станетъ—только бы выстрѣлъ слышать! Подхватимъ сумки, ружья, да и къ брустверу.

— Ѳедоръ Михайловичъ, а какъ же сапоги? Неужто безъ сапогъ пойдемъ? — спрашиваетъ, ослабившись, простоватый Кузьма Петровъ.

— Эхъ ты, капуста коломенская, нешто можно безъ сапогъ! Тебя турка за солдата не сочтетъ; ему и снимать нечего будетъ,—подсмѣивается молодой солдатикъ Лахунинъ.

— Сапоги надѣнь безпремѣнно, на то тебѣ и выданы они,—внушительно говоритъ Матюшкинъ.

Но Петровъ не унимается.

— Ну, а штаны-то какъ же? Стало-быть, безъ штановъ можно?

— Во чортъ-дуракъ? Что ты, зачуялъ басурмана и нанюхался дурману? Я тебѣ выйду безъ штановъ!

— Стало-быть, надо какъ слѣдуетъ одѣваться, а вы говорите — сумку да ружье, — возражаетъ Петровъ.

Когда солнце сѣло, пришелъ на мостъ болгаринъ и, показывая на заходящія съ горизонта тучи, что-то съ беспокойствомъ говорить. Изъ

отдѣльныхъ словъ я понялъ, что, вѣроятно, будетъ дождь и что нужно принять мѣры, иначе мостъ можетъ снести. Я сейчасъ же послалъ за болгарами. Стали натягивать якорные канаты, укрѣплять стойки и готовиться. Часа черезъ три послышались капли дождя, небо заволокло сплошными сѣрыми тучами и, дождь пошелъ тихій, ровный, какой бываетъ обыкновенно, когда погода обращается въ ненастье. Солдаты забились въ свои палатки, сторожевые посты и часовые у моста окутались башлыками и уныло съежились отъ мелкихъ пронизывающихъ капель. Я и Мининъ спокойно встрѣчали это ненастье, надѣясь, что къ намъ въ каюту дождь не проникнетъ. Но мы жестоко ошиблись. Не прошло и часу, какъ изъ всѣхъ щелей потолка просочились капли, а затѣмъ на насъ полились цѣлые ручьи. Что тутъ было дѣлать? Зажгли свѣчи, позвали вѣстовыхъ, хотѣли заткнуть щели,—куда тутъ!

Стали выбирать мѣсто, нельзя ли постель устроить, чтобы не лило—негдѣ. Пришлось накрыться съ головой гуттаперчевымъ пальто и заснуть, не обращая вниманія на ручьи, ниспадавшіе на насъ. Къ утру дождь пересталъ и небо мѣстами просвѣтлѣло. Одѣваться намъ было не нужно, такъ какъ мы спали не раздѣваясь; поэтому, вскочивъ съ нашего ложа, мы отправились посмотрѣть, не лучше ли на другихъ судахъ, но—увы!—вездѣ было одно и то же. Надо было что-нибудь придумать. Нужда, говорятъ, родитъ умъ. Послали мы принести рѣчного илу и приказали замазать всѣ щели съ наружной стороны. Солдаты, въ свою очередь, тоже не дремали и проводили вокругъ своихъ палатокъ

канавки, чтобы не подтекла вода. Жалкій видъ имѣтъ солдатъ во время дождя! Шинель для него все—и тюфякъ, и одѣяло, и халатъ, и защита отъ непогоды. Солдату пельзя не выходить изъ палатки, а выйти на дождь—значить сразу промокнуть до костей... Прошло часа два, и дождь опять заморосилъ, небо опять стало сѣро-свинцоваго цвѣта, опять все живое попряталось, только часовые ежились на своихъ мѣстахъ.

— Смотрите-ка, Павелъ Никаноровичъ, Янтра то что дѣлаетъ!—воскликнуть я.

— Да, шалить,—отвѣчать Мининъ.—Какъ бы насъ вмѣстѣ съ мостомъ не унесло въ Дунай. Вотъ такъ будетъ штука!

И въ самомъ дѣлѣ, Янтра начинала шалить. Вода поднялась сильно, якорные канаты натянулись, къ нимъ прибило отмытые съ берега кусты, и вода, напирая на нихъ, производила страшный шумъ. Я послалъ за болгарами; тѣ немедленно явились и хоромъ успокоивали меня, что бѣды никакой нѣтъ.

Успокоившись, мы засѣли къ себѣ въ каюту, поигрывали въ пикетъ и благодумствовали, не опасаясь быть вымоченными дождемъ. Къ вечеру мимо насъ потянулся артиллерійскій транспортъ. Что это былъ за жалкій обозъ! Лошади изнуренныя, изможенныя, едва тянули нагруженные телеги, къ колесамъ которыхъ, пѣлыми массами, налипла иловатая грязь. На козлахъ сидѣли солдаты, завернувшись въ попоны, съ надѣтыми на головѣ башлыками. При обозѣ были казаки; эти не унывали. Двое изъ нихъ ѣхали, видимо, подъ хмелькомъ, что-то рассказывали другъ другу и немило-

сердно ругались. Мининъ накинулъ гуттаперчевый плащъ и, выйдя на мостъ, обратился къ казакамъ:

— Что, казаки, близко къ Рущуку подходили?

— Верстахъ въ десяти были, — отвѣчалъ одинъ. — Да не вышло наше дѣло. Турокъ тамъ понабилося страсть! И пушку какую-то особенную притащили, а при ней и рыжіе понаѣхали... Ну, мы и подались.

— Черкесовъ да баши-бузуковъ видѣли?

— Какъ не видать. Они вчера вонъ верстахъ въ десяти отсюда на деревню наскочили. Мы съ обозомъ неподалеку были, такъ иѣлую ночь и не спали. Храбрости въ нихъ нѣтъ, а охальства — страсть! Вамъ бы, ваше благородіе, не попасться, храни Боже. Ишь ночь-то какая будетъ!

Часовые у моста все это слышали, и молва разнеслась по ротѣ. Обозъ ушелъ. Темнѣло; наступила ночь, а дождь попрежнему шелъ своимъ мѣрнымъ, тихимъ ходомъ и наводитъ уныніе на всѣхъ. Я по обыкновенію обошелъ всѣ посты, предупредить, что недалеко баши-бузуки и подтвердить, чтобы были какъ можно бдительнѣе. Часовъ въ девять и мы съ Мининымъ погасили свѣчу и легли спать, но рассказъ казака такъ подѣйствовалъ на насъ, что мы легли не раздѣваясь. Долго я не могъ заснуть; вся обстановка, среди которой мы находились, очень тревожно дѣйствовала на нервы. Наше жилище на водѣ, стукъ дождя, шумъ волнъ и непроницаемая тьма ночи, вмѣстѣ съ ожиданіемъ въ гости баши-бузуковъ, — все это отгоняло сонъ.

Однако усталость взяла свое, и, провалявшись часа два-три, я заснулъ. Проспавъ, какъ мнѣ ка-

залось, очень недолго, я проснулся отъ какого-то шопота, который звалъ меня:

— Ваше благородіе, ваше благородіе, извольте вставать.

Я вскочилъ какъ ужаленный.

— Павелъ Никаноровичъ, вставайте, что-то такое случилось,—разбудить я, въ свою очередь, Минина.

Тотъ быстро поднялся. Я накинулъ плащъ и выбѣжалъ узнать, въ чемъ дѣло. Янтра ревѣла жестоко, такъ что разобрать говорившаго было трудно, однако я разобралъ слѣдующее: „Кто-то на лодкѣ подъѣзжалъ къ мосту, но, завидѣвъ людей, повернулъ назадъ. Затѣмъ судно, стоявшее отъ насъ шагахъ во ста на мели, пошло по теченію“.

Я вышелъ на берегъ. Дождь лилъ какъ изъ ведра; слышно было, какъ смываемое со дна судно то останавливалось, то шло далѣе, пока глубоко не врѣзалось въ мель. Волны зашумѣли около него съ невыразимою силой. Я ожидалъ съ тревогой, что всему мосту предстоитъ та же участь. Помочь было нечѣмъ; оставалось отдаться на произволъ судьбы и ждать утра. Въ это же время прибѣжалъ съ поста солдатъ съ донесеніемъ, что нѣсколько всадниковъ подъѣхали довольно близко, но, когда часовой окликнулъ ихъ и постъ вскочилъ „въ ружье“, они быстро повернули назадъ.

Нехорошо стало у насъ на душѣ. Эта темная ненастная ночь давила, какъ кошмаръ. Вокругъ была тьма, одна непроницаемая тьма; нельзя было различить человѣческой фигуры на самомъ близкомъ разстояніи; голоса говорившихъ какъ бы

выходили изъ пространства. Съ одной стороны, извѣстіе о какихъ-то всадникахъ, которые могли быть развѣдомъ отъ доброй партіи черкесовъ, направленныхъ къ мосту, съ другой—бушевавшая Янтра, грозившая сорвать и унести мостъ, который былъ для насъ такъ драгоцененъ...

Я, вѣроятно, изображалъ изъ себя жалкую фигуру: гуттаперчевый башлыкъ сползъ съ головы, и дождь билъ мнѣ въ лицо и стучалъ по моему плащу, но капли его, залѣпившія глаза, не производили своего обычнаго дѣйствія, я не замѣчалъ ихъ. Я ходилъ въ сильномъ волненіи по берегу и, перешоптываясь съ Мининымъ, думалъ объ одномъ, надѣялся на одно и ждалъ одного—чтобъ лучъ свѣта извлекъ насъ изъ этой ужасной тьмы. Мининъ, повидимому, мало волновался. Онъ утѣшалъ меня, хотя утѣшенія его были далеко не радостнаго свойства.

— Какой бѣсъ полѣзетъ въ эту ночь! А полѣзетъ,—будемъ драться.

— Эку новость сказали! Конечно, назадъ не пойдемъ.

— Ну, и шабашъ. А то ишь волнуетесь! И мостъ будетъ пѣлъ. Чтобы мою флягу да табакъ унесло,—ни въ жизнь! Реветъ Янтра, ну и пусть ее реветъ. Не мы только воюемъ, и она. Послушайте, не спѣтъ ли вамъ что-нибудь?

И онъ чуть слышно запѣлъ:

„Услыхала Настя,
Настасья Петровна“...

— Отвяжитесь вы съ глупостями, — невольно улыбнувшись, проговорить я.

Такъ проходили мы, по берегу часа два. Прозябнувъ жестоко, мы, не дождавшись свѣта, отправились къ себѣ въ каюту, гдѣ Ясинскій уже зажегъ свѣчу.

Поговоривъ немного, мы легли, не раздѣваясь и не гася свѣчи. Мининъ скоро заявилъ храпомъ, что онъ отдѣлился отъ міра сего; я же не могъ заснуть до разсвѣта.

На разсвѣтѣ подулъ вѣтерокъ, небо расчистилось, и на горизонтѣ показалось солнце. Никогда, кажется, я не радовался такъ сильно этому спутнику хорошей погоды. Все ожило. Янтра бушевала, но ея величественныя волны, освѣщенныя солнцемъ, были только шумны, а не грозны. Вся природа ликовала и радовалась, и, какъ бы вторя ей, привѣтствовали другъ друга Рушукъ и Журжево глухими раскатами орудійныхъ выстрѣловъ. Солдаты высыпали изъ палатокъ и радовались какъ дѣти. Пошли смѣхъ, шутки. Матюшкинъ ораторствовалъ о томъ, что никто на лодкѣ не подѣзжалъ, что Семенову со страха повидѣлось; но Семеновъ стоялъ на своемъ.

— Федоръ Михайловичъ, что вы! Нешто я не видалъ, какъ на лодкѣ гребутъ! Я гляжу съ берега, а они этакъ—чахъ, чахъ, чахъ! Я и спросилъ: кто ѣдетъ?

— Надо бы, братъ, тебя за ними вдогонку послать, чтобы ты зря не бѣгалъ къ ротному командиру.

Стали допытываться и отъ поста, какихъ они это видѣли баши-бузуковъ. Одинъ рассказывалъ, что было пять человѣкъ, другой говорилъ—три, но въ сущности всѣ врани, потому что было такъ

темно, что разобрать, кто это былъ и сколько было, не представлялось никакой возможности. Секретъ, посланный въ сосѣднюю деревню, простоялъ тамъ цѣлыя сутки, но не видѣлъ никакихъ баши-бузуковъ, такъ что мы совершенно успокоились. Янтра понемногу стала спадать, и на слѣдующее утро вода убыла на два аршина. Наша жизнь опять потекла безмятежно. Ёда была хотя незатѣйливая, но обильная; виноградъ поспѣлъ, и мы услаждались имъ не только въ видѣ десерта, но и въ видѣ кваса, который фельдшеръ Андреевъ приготовлялъ въ совершенствѣ. Но спокойствіе наше не могло быть прочнымъ. Хотя разстояніе отъ насъ до Рушука было верстъ сорокъ, но баши-бузуки пошаливали по берегу Дуная не въ очень далекомъ разстояніи. Намъ сообщили объ этомъ пріѣхавшій къ намъ казачій офицеръ.

— Позвольте рекомендоваться, сотникъ Семяненко.

— Очень пріятно! Что прикажете?

— Да вотъ пріѣхалъ къ вамъ пошукать, нѣтъ ли чего для меня подходящаго.

— Насчетъ чего это?

— Да я, видите ли, поромъ устраиваю на Дунаѣ, такъ нѣтъ ли у васъ канатовъ, гвоздей и изъ древеснаго тоже чего-нибудь?

— Какъ же это вы устраиваете? Вѣдь это дѣло инженера или сапера.

— Ау, батенька, ничего не подѣлаешь. Сказали: Семяненко, иди ладъ поромъ. Я и пошелъ.

— Да вы мосты-то когда-нибудь строили?

— Гдѣ строить! Не доводилось. А приказали,— и пошелъ со своими казаками. Да на первый-то

разъ скверно вышло, не потрафилъ немного... По-ромъ-го вѣтромъ и опрокинуло.

— Что жъ, благополучно?

— Не очень. Одинъ казакъ утонулъ. Такъ позвольте мнѣ пошарить на вашемъ флотѣ.

Спустились мы въ люки и нашли тамъ цѣлые вороха веревокъ, обрывковъ парусовъ и всевозможной рухляди, когда-то бывшей принадлежностью плаванія.

— Ото-то! ото-то! Важно. Не даромъ ѣхалъ. Клименко, загребай!

Казакъ Клименко сталъ отбирать вещи, а рабочіе отъ роты начали таскать ихъ наверхъ, къ телѣгѣ. Мы съ Семяненко вышли на палубу.

— Что, батенька, прислали мость сторожить, и дѣло! А то эти баши-бузуки, нехай имъ, какъ разъ тутъ бѣдовъ натворять.

— Да вѣдь между нами и Рущукомъ стоятъ же войска,—замѣтилъ Мининъ.

— И, сила! Прежде стояла бригада, потомъ—полкъ, а теперь, сказываютъ, батальонъ остался.

— Что вы толкуете! Одинъ батальонъ! Предъ первокласною-то крѣпостью?

— Да такъ сказываютъ.

— А вѣдь говорятъ въ Рущуку войска стягиваютъ?

— Да, стягиваютъ.

— Вѣдь изъ Рущука выйдутъ и нашъ флангъ сомнутъ?

— Ну, ужъ этого я не знаю. Это дѣло начальства. Мнѣ бы только, коли будутъ напирать, уйти съ поромамъ къ румынкамъ. Вольготно, и поромикъ будетъ цѣль.

Казакъ уѣхалъ. Извѣстія, сообщенныя имъ, были не радостны. Каково было положеніе рушукскаго отряда, когда на самомъ опасномъ мѣстѣ, въ виду первоклассной крѣпости, приходилось держать такой незначительный отрядъ. Что стоило сотнѣ-другой черкесовъ прорваться сквозь такую слабую линію и уничтожить мостъ и путь отступленія? Только послѣ нашего ухода присланы были саперы для постройки небольшихъ укрѣпленій на ближайшихъ горахъ.

Но счастье или Промыслъ хранилъ нашъ отрядъ. Ловкими маневрами въ виду непріятеля, части отряда, всегда готовые принять бой, появлялись предъ турками вездѣ, гдѣ они покушались прорвать нашу линію. О численности этихъ отрядовъ непріятель не могъ знать, благодаря пересѣченной мѣстности, и потому не рисковалъ атаковать насъ изъ боязни нарваться на значительныя силы. Расположеніе боевыми кордонами составляло слабую сторону рушукскаго отряда, но вмѣстѣ съ тѣмъ было и силой его.

Солдаты, выслушавъ разсказъ казака, поматывали головой, но не падали духомъ. Матюшкинъ и тутъ былъ первымъ крикуномъ и вдохновителемъ.

— Пушай придетъ! И уйдетъ не солоно хлебавши.

— Ѳедоръ Михайловичъ, говорятъ они храбрые дуже отъ кофею?

— Не отъ кофею, а отъ опею, да только не всегда онъ при нихъ есть.

— Коли для храбрости, какъ же нѣтъ?

— Экій ты, братецъ!—вмѣшивается фельдшеръ, Андреевъ.—На всякій разъ его не напасешься. Опять же это не что-нибудь, а цѣлебное... Животъ подведетъ, напримѣръ, колика—ну, тутъ его сейчасъ и употребляй.

— Экъ вы загнули по-ученому. Нешто это такой опеи! То поносъ, а то храбрость!

— А что ты думаешь? Я вотъ слыхалъ, колишибко струсишь—сейчасъ животъ схватитъ. Не противъ этого ли и они жрутъ? Иванъ Андреевичъ, какъ вы думаете? Какъ по-ученому?

Фельдшеръ обидѣлся.

— Дураки вы, головы дубовыя! Вамъ дѣло говоришь, а вы зря зубы скалите, — бранился онъ, отходя прочь при общемъ смѣхѣ.

Такъ вопросъ объ опіи и остался неразрѣшеннымъ.

Жизнь наша становилась совершенно идиллическою. Мы чувствовали себя спокойнѣе, зная, что впереди насъ стоятъ отряды, хотя бы и маленькіе. День проводили мы въ каютѣ, а на ночь переселялись въ палатку, гдѣ комары не тревожили насъ. Для этого стоило только раздѣться и ложиться, не зажигая огня.

Солдаты благодужествовали. Въ котлѣ были жирныя щи, крутая каша, да кромѣ того, у многихъ ежедневно вареная рыба, которую налавливали самымъ оригинальнымъ образомъ. Связывали не плотно нѣсколько палаточныхъ полотнищъ въ видѣ невода и такимъ образомъ ловили. Попадалось, конечно, немного, но все-таки попадалось. И эта небольшая удача доставляла неописанный восторгъ.

Ловля палатками продолжалась недолго; у болгаръ достали неводъ, и рыбы стало вволю.

— Тащи, тащи! Что ты какъ медвѣдь переваливаешься! — раздавались крики.

— Да, перевалишься! Сунься-ка самъ; видишь, вязъ какая, ноги не вытащишь.

— Эхъ ты, копырь! Брось ему веревку, чтобъ онъ зубами уцѣпился, а то увязнетъ солдатъ, и турокъ колоть некому будетъ.

— Что вы тутъ?—раздается внушительный голосъ Матюшкина.—Чего гогочете? Ловить такъ ловить, а то только рыбу гоняете. А все ты Лахунинъ!

— Это не я, Ѳедоръ Михайловичъ, ей Богу, не я.

На бивуакѣ палатки подняты; въ нихъ на мягкой соломѣ лежатъ солдаты и балагурять. Въ нѣкоторыхъ слышно пѣніе. Вблизи разостлано мокрое бѣлье. Все мирно и невозмутимо. Мы также полеживаемъ у себя въ каютѣ. Мининъ распѣваетъ одну за другой шансонетки. Поетъ онъ со страшными гримасами, подмигивая и выкидывая иногда такіе жесты, что я покатываюсь со смѣху. Славное времяпровожденіе! Но человѣкъ готовъ сдѣлать хоть что-нибудь, когда нечего дѣлать. Ни книгъ ни газетъ у насъ не было, а карты надоѣли. Разговоры у насъ идутъ въ родѣ слѣдующихъ.

— А что, Павелъ Никаноровичъ, какой сегодня день?

— День? А чортъ его знаетъ. Должно-быть, воскресенье.

— Почему вы думаете, что воскресенье? Пятница, кажется.

— Какая пятница! Воскресенье. Вѣдь мы каждый день балды бьемъ, ну, значить, каждый день и воскресенье.

— Я спрашиваю не шутя. Ясинскій!

Является Ясинскій.

— Какой сегодня день?

— Среда.

— Какая среда, что ты врешь! Стулай спроси у Максимова.

— Что мнѣ спрашивать... я и такъ знаю,—ворчить Ясинскій, отправляясь къ палаткамъ.

— Максимовъ!—кричитъ онъ.

— Я,—слышится отвѣтъ.

— Какой сегодня день, ротный командиръ спрашиваетъ.

— Среда. Святыхъ Никодима и Мавры.

Ясинскій возвращается недовольный.

— Среда. Да вотъ Шмелевъ пришелъ.

Въ дверяхъ показывается Шмелевъ. Это капте-нармусъ.

— Что скажешь?

— Ваше благородіе, сухари кончаются. Надо въ штабъ съѣздить.

— Поѣзжай. Да смотри, чтобы сухари были хорошіе. Прошлый разъ гнилые попадались.

— Это не отъ меня, ваше благородіе. Я не хотѣлъ принимать, такъ лучше не было. Завѣдующій хозяйствомъ и то хотѣлъ меня подъ ранецъ поставить.

Личность Егора Шмелева, какъ типъ новаго солдата, очень интересна. Онъ составлялъ совершенную противоположность Федору Матюшкину. Какъ тотъ былъ суетливъ и крикливъ, такъ

этотъ сдержанъ и спокоенъ въ словахъ и движеніяхъ.

Матюшкинъ былъ солдатъ набора прежняго, а Шмелевъ—по общей повинности. Матюшкинъ былъ тулякъ и земледѣлецъ и грамотѣ выучился на службѣ; Шмелевъ—владимирецъ, портной и при-былъ грамотнымъ.

Когда рекрутское обученіе окончилось, я назначилъ Шмелева ротнымъ писаремъ.

— Ваше благородіе, я пишу не очень хорошо, никогда никакихъ бумагъ не составлялъ и отчетовъ не дѣлалъ.

— А если я тебѣ покажу и прикажу?

Недѣли черезъ двѣ Шмелевъ порядочно понималъ дѣло. Черезъ годъ онъ исправлялъ уже должность ротнаго каптенармуса и былъ образцомъ честности и аккуратности. Его спокойствіе и молчаливость многимъ, кто его не зналъ, казались вялостью и недалекостью. Разъ какъ-то напалъ на Шмелева завѣдующій хозяйствомъ. Это былъ человѣкъ въ высшей степени нетерпѣливый и горячій, у котораго, въ минуту гнѣва, глаза блестѣли, какъ очки на его носу, а языкъ старался говорить такъ часто, что рѣчь обращалась въ непонятную скороговорку, съ поминутнымъ заиканьемъ. Получивъ разъ замѣчаніе, что какіе-то мѣшки не были сданы во-время, онъ встрѣтилъ въ канцеляріи Шмелева. Не спросивъ, сдалъ ли ихъ Шмелевъ, онъ напустился на него. Посыпался градъ брани и угрозъ.

— Негодяй! Заморю въ карцерѣ! Тысячу разъ вамъ говорятъ, а вы осмѣливаетесь послушаться! Прохвосты!

Шмелевъ стоялъ невозмутимо, что называется глазомъ не моргнулъ, и не обнаружилъ никакой робости. Это еще хуже разозлило завѣдующаго хозяйствомъ.

— Слышишь, что тебѣ говорятъ! — закричалъ онъ.

— Ваше высокоблагородіе, я ихъ слать еще двѣ недѣли тому назадъ.

— Что? Еще вратъ смѣешь!

Шмелевъ вытащилъ изъ обшлага свертокъ бумагъ.

— Вотъ-съ расписка отъ полкового каптенармуса.

— Покажи. Я сержусь, а онъ молчитъ... Ахъ, ты, скотина! Дуракомъ прикидываешься? Пошелъ вонъ! Я тебѣ задамъ!

Шмелевъ такъ же спокойно оборачивается и уходитъ.

Но возвращаюсь къ прерзанному разсказу. На другой день Шмелевъ поѣхалъ за сухарями. Вернувшись, онъ привезъ приказаніе изъ полка оставить Минина съ пятьюдесятью человѣками въ Новоградѣ, а мнѣ съ остальными вернуться въ Бѣлу, гдѣ меня ожидала оставленная рота.

II.

Придя въ Бѣлу и расположивъ бивуакомъ роту на берегу Янтры, между мостомъ и военно-временнымъ госпиталемъ, я отправился явиться къ коменданту. Бѣла какъ бы вымерла. Еще такъ недавно она переполнена была всевозможнымъ лю-

домъ, военнымъ и статскимъ, который весь день копошился, суетился; повсюду виднѣлись экипажи, повозки, телѣги, какъ на бивуакахъ, такъ и на дворахъ; громкій разговоръ, брань и понуканье не умолкали даже и въ знойный полдень. Теперь было не то. На мѣстахъ, гдѣ расположены были бивуакомъ солдаты и стояли коновязи лошадей, остались только ихъ слѣды въ видѣ покинутыхъ вещей, битой посуды и груды навоза. Дворы были пусты; мѣстами въ нихъ валялись трупы лошадей, распространяя неимоверное зловоніе. Даже на базарной площади не было оживленія. Многія лавки совсѣмъ были закрыты; въ другихъ братушки, сидя на лавочныхъ стойкахъ, на которыхъ показывается товаръ, преспокойно шили что-то, и только въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ хозяева были евреи, слышались нескончаемые гнусавые разговоры.

Изнемогая отъ жары, дотащился я, наконецъ, до коменданта. Это былъ не старый еще, представительный и пріятный человѣкъ. Принять онъ меня очень ласково и вѣжливо.

— Гдѣ же вы думаете расположиться?

— На берегу Янтры.

— Отчего не въ избахъ? У насъ тутъ половина деревни турецкой пустая. Тамъ можно.

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ на берегу. Во-первыхъ, близко отъ моста и госпиталя, а во-вторыхъ, воздухъ гораздо лучше. Только позвольте мнѣ потребовать соломы. Да вотъ еще, полковникъ, по улицамъ такая вонь отъ неубранной падали, что дышать невозможно. Нажинемъ заразу.

— Ахъ, эти братушки! Казакъ!

Казакъ явился.

— Пошелъ въ народное управленіе и скажи, что если сегодня же не будутъ убраны лошади, такъ я найму людей убрать на ихъ счетъ. Ступай.

Казакъ вышелъ. Комендантъ продолжать:

— Ну-съ, я васъ не задерживаю больше. Замѣтно, вы устали. Устраивайтесь да караульте насъ получше.

— Что же мнѣ собственно караулить?

— Все: Бѣлу, интендантскій складъ, складъ товарищества продовольствія дѣйствующей арміи, мостъ и два военно-временные госпиталя.

— Это все съ одною ротой - то? Помилуйте, развѣ это возможно! У меня же и рота не вся.

— Такъ, но вы будете караулить и охранять, да притомъ и отлично. Вотъ, я вижу, вы и сами улыбаетесь. Желаю вамъ успѣха!..

Я пожалъ ему руку, засмѣялся и вышелъ. Коротко и ясно: невозможно, а надо дѣлать хорошо.

Когда я пришелъ къ ротѣ, бивуакъ былъ уже въ полномъ порядкѣ. Палатки растянуты, ящикъ и фура установлены, и привѣтливый дымокъ отъ ротнаго котла дымился въ сторонкѣ.

Сейчасъ же было послано узнать, куда какой нужно поставить карауль, и послано въ Бѣлу за соломой.

Мѣстность была очень удобная: ровный лугъ, на которомъ стояло нѣсколько грушевыхъ и дубовыхъ деревьевъ, дававшихъ хорошую тѣнь. Палатку мою поставили подъ деревомъ, и я могъ заснуть послѣ небольшого, но утомительнаго перехода. На другой день я пошелъ лично ознакомиться со всѣми мѣстами, требовавшими охраненія.

Первое, куда я направился, былъ военно-временный госпиталь.

Госпиталь представлялъ очень оригинальный, парусинный и войлочный городокъ. Парусинные шатры были растянуты въ нѣсколько рядовъ, распланированныхъ по прямымъ линіямъ, а сбоку, въ видѣ добавочнаго квартала, примыкали ряды киргизскихъ круглыхъ кибитокъ. Въ шатрахъ больные и раненые лежали на койкахъ-ношилкахъ, а въ кибиткахъ тюфяки были положены прямо на землю, изголовьемъ къ стѣнѣ, а ногами къ центру. Было утро и визитація врачей еще не окончилась. Сестры то и дѣло сновали изъ одного шатра въ другой, съ бинтами и склянками. То и дѣло раздавались возгласы:

— Сеструшка, милосердная, мнѣ бы кисленькаго, нутро томить!

— Хорошо, голубчикъ, будетъ, схожу въ аптеку.

На другомъ концѣ раздается опять:

— Сеструшка, что жъ, перевязка-то мнѣ будетъ? Зудить дуже.

— Будетъ, голубчикъ, будетъ. И до тебя дойдетъ очередь.

— Ахъ, ты, моя кормилица, пошли тебѣ Богъ,— съ чувствомъ произносить солдатъ.

Офицерскіе шатры стояли внѣ общей линіи. Они были изъ двойного плотнаго полотна, и въ каждомъ помѣщалось восемь коекъ.

Не буду описывать подробностей госпитальныхъ принадлежностей. О нихъ много писали. Когда я вошелъ въ первый шатеръ, надъ однимъ изъ раненыхъ производилась небольшая операція. На койкѣ лежалъ молодой офицеръ, блѣдный, съ полуоткры-

тыми глазами, захлороформированный. Сестра милосердія одною рукой держала его за руку, а въ другой держала какую-то склянку и вату. Докторъ безъ сюртука, съ засученными рукавами, копался зондомъ въ пулевой ранѣ, которая зіяла на лѣвой ступнѣ. Кости были раздроблены, много ихъ было извлечено, но все-таки еще оставались мелкія, надъ чѣмъ и трудился теперь докторъ. Раненый не былъ совсѣмъ захлороформированъ; онъ былъ только доведенъ до безсилія и несъ невыразимую чепуху: „Вотъ они, вотъ они! Смотри, смотри, обходятъ... Загни флангъ... Перестань стрѣлять... Слушай мою команду... Угостимъ залпомъ!.. Смотри же, слушай... Рота, или! Ха-ха-ха... Что? посыпались, проклятые!.. Видно, пуля не свой братъ“...

Тутъ больной сталъ стонать, вѣроятно, отъ боли въ ногѣ, и поэтому заговорилъ совсѣмъ въ другомъ тонѣ: „Ахъ, ты, проклятый, что ты дѣлаешь со мной! Куда ты тащишь мою ногу? Отвяжись, а то двину!.. Ай-яй-яй... А вѣдь водку пить будемъ... И зачѣмъ мы ее пьемъ?.. Вѣдь какъ отъ нея въ ногѣ больно... Бить-то бы, бить... Что, опять турки?.. Они и есть... Лупи ихъ... За мной, ребята!.. Охъ, смерть моя!..“

Тутъ больной сталъ метаться и кричать. Я вышелъ изъ шатра и пошелъ къ старшему врачу. Врача этого почему-то прозвали индюшкой... Онъ былъ очень древній человѣкъ, и невольно приходилось удивляться, какъ онъ въ такіе годы былъ такъ подвиженъ. Когда онъ говорилъ, глаза его какъ-то особенно блуждали, а руками онъ начинать перекладывать какія-то записки изъ одного кармана въ другой.

— Пожалуйста, пожалуйста, — встрѣтилъ онъ меня, — внушите вашимъ дежурнымъ, чтобы строгости было больше, чтобы все вѣсили при нихъ, а то не могу же я вездѣ одинъ. Смотритель не ходитъ, комиссары не смотрятъ, а отвѣтственность на комъ? Все на мнѣ!

Я посмотрѣлъ съ удивленіемъ на этого человека и, обѣщавъ исполнить, поскорѣй ушелъ на лазаретную кухню, гдѣ уже ожидали меня дежурные. Тамъ былъ и смотритель. Я обратился къ нему:

— Скажите, пожалуйста, что это вашъ старшій докторъ жалуется на непорядки?

— Отъ кого же и непорядки, какъ не отъ него! Всего-то боится, предъ всѣмъ дрожить... Какой это старшій докторъ! Жиды поставляютъ скверную провизію, а онъ не бракуетъ, говоритъ, хорошая. Разумѣется, будетъ пища нехороша... Вотъ полюбуйте-ка. Поваръ! Подай-ка супъ.

Маленькій чумазый солдатикъ, съ грязнымъ фартукомъ, налилъ супу и подалъ намъ. Супъ былъ дѣйствительно очень плохъ: какая-то мутная водичка, наверху ни блестики.

— Что, хорошъ?

Я покачалъ головой. Смотритель продолжалъ:

— А между тѣмъ, какъ бы отлично можно было кормить, да ничего не подѣлаешь, товарищество... обидно! Можно бы купить вдвое дешевле и вдвое лучше, да не имѣю права. Должны отъ нихъ все принимать. Вотъ хоть бы молоко: болгары приходили, набивались по франку за ведро, а у нихъ обходится по франку за бутылку, да и то еще посылай пять разъ. Э, да что, лучше и не говорить!

Смотритель высказывать все это съ большимъ жаромъ. Мнѣ показалось неудобнымъ продолжать этотъ разговоръ при нижнихъ чинахъ, и я, сдѣлавъ дежурнымъ внушеніе, простился со смотрителемъ и пошелъ во-свояси. По дорогѣ я нагналъ двухъ докторовъ, возвращавшихся съ визитаціи. Одинъ изъ нихъ заговорилъ со мной.

— Что, капитанъ, пришли насъ охранять?

— Начальство прислало охранять отъ враговъ вѣшнихъ, а докторъ послалъ охранять отъ враговъ внутреннихъ.

— Это противъ кого же?

— Противъ смотрителя да комиссара.

— Онъ бы лучше попросилъ васъ охранять насъ отъ него.

Мы спустились съ пригорка, гдѣ, отдѣльно отъ госпиталя, растянуты были три кибитки. Здѣсь жили эти доктора.

— А вотъ и нашъ палаццо. Заходите китайскихъ травъ испить.

Говорилъ это одинъ, небольшого роста брюнетъ съ громадною черною бородой, крупными чертами лицами и чрезвычайно добрыми глазами. Это былъ Иванъ Николаевичъ Русаковъ, только что кончившій курсъ въ петербургской академіи. Другой, все время молчавшій, немного болѣе средняго роста, блондинъ, выглядывавшій очень застѣнчиво, былъ Федоръ Александровичъ Бергеръ, полевой хирургъ. На войнѣ вообще знакомятся скоро, но мы какъ-то ужъ очень быстро сошлись. Просидѣвъ часъ, я выходилъ отъ нихъ какъ отъ старыхъ друзей. Затѣмъ я продолжалъ свой обходъ и направился къ интендантскому складу. Едва я

подошелъ къ одному сараю, какъ меня поразилъ непріятный запахъ. Но я не понялъ сразу, что означаетъ этотъ запахъ, и спросилъ служащаго.

— Тутъ еще что!—отвѣтилъ онъ.—А вотъ пожалуйста-ка внутрь магазина... не то заговорите!

И въ самомъ дѣлѣ, едва мы вошли, насъ обдало зловоніемъ.

— Что же это такое? Неужели консервы?

— А то что жъ! Ихъ вотъ прислали сто пятьдесятъ восемь тысячъ раціоновъ, а сколько изъ нихъ будетъ годныхъ,—Богъ вѣсть.

— Отчего же это? Вѣдь посылаютъ же ихъ свѣжими.

— Что же вы шутите съ дорогой да съ перегрузками? Какъ начнутъ колыхать изъ телѣгъ, не мудрено, что жестянка дастъ трещину. А дала трещину—и пиши пропало... зараза да и только! Сколько ужъ мы въ Янтру-то вывалили этихъ консервовъ.

— А это у васъ что за мѣшки?—спросилъ я, показывая на бунты.—Неужели сухари?

— И сухари, и ячмень, и овесъ. Всего-то четвертей тысячъ пятьдесятъ.

— Отчего же они не покрыты? Вѣдь дождь поидетъ, все погадитъ.

— Отчего не покрыты! Нечѣмъ. На сколько хватило, вонъ, видите, покрыты. А это ужъ пускай Богъ покрываетъ Своею милостью!

Поразспросивъ о караулѣ, пошелъ я въ контору „Товарищества продовольствія“, помѣщавшуюся въ одномъ изъ болгарскихъ домовъ. Въ дверяхъ меня встрѣтилъ еврей.

— Что у насъ въ конторѣ есть кто-нибудь?

— Въ конторѣ? А какъ же? Агентъ тутъ. Пожалуйте вотъ въ эти двери.

Контора помѣщалась въ очень свѣтлой комнатѣ; стояло три стола. За однимъ сидѣли два молодые писца; одинъ изъ нихъ, положивъ голову на столъ, а другой—оба локтя, хихикали. За другимъ сидѣлъ среднихъ лѣтъ еврей и щелкалъ счетами, а за третьимъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ, расположился красивый джентльменъ. Это-то и былъ самъ агентъ. Онъ былъ прекрасно одѣтъ: на немъ было лѣтнее платье, сорочка снѣжной бѣлизны, часы съ массивною цѣпочкой, а на пальцахъ кольца съ великолѣпными брильянтами. Я невольно оглянулся при этомъ на свою сѣрую рубашку, замѣнявшую китель, на потрескавшіеся отъ жары сапоги и на свои руки, украшенные однимъ лишь необычайнымъ загаромъ. При моемъ приближеніи агентъ лѣниво приподнялся и, съ едва замѣтнымъ еврейскимъ акцентомъ, спросилъ:

— Что вамъ угодно?

— Мнѣ комендантъ сказалъ, что вамъ на ночь надо выставлять карауль.

— Какъ же, какъ же, необходимо.

— Что у васъ караулить?

— Все.

— Что это „все“?

— А такъ, все. И амбары, и бунты, и сухари, которые на солнцѣ сушатся.

— Ишь вѣдь гдѣ вы выдумали сухари сушить!

— Случай такой. Въ отрядахъ не хватаетъ сухарей.

Я сказалъ, что буду присылать небольшой карауль, и ушелъ.

— Господинъ капитанъ, позвольте вамъ предложить, не нужно ли вамъ чаю, сахару, хорошихъ галетъ, овса, а може, и спирту? У насъ все есть, и мы всегда готовы съ удовольствіемъ...

— Позвольте,—перебилъ я его,—вы, вѣроятно, хотите о чемъ-нибудь просить? Такъ, пожалуйста, безъ прелюдій.

Сказать я это громко, но еврей не унимался и продолжалъ вполголоса.

— Отчего же не предложить, если есть! И вы для насъ тоже, что можно будетъ, сдѣлаете.

— Да что же вамъ нужно?

— Видите ли, господинъ капитанъ, намъ требуется заготовить сухари, такъ не можете ли вы отпустить намъ хлѣбопековъ, а также и рабочихъ для рѣзки и сушки хлѣба?

— Гмъ... не знаю, службы много. Посмотрю и спрошу. А сколько вы будете платить?

— Мы платимъ хорошо. Въ Россіи столько никогда не платятъ.

— Да сколько именно?

— Хлѣбопекамъ—шестьдесятъ копеекъ, а рабочимъ—пятьдесятъ.

— Только? А болгарамъ сколько вы платите? Вѣдь по восьмидесяти пяти копеекъ?

— Да!

— Ну, такъ ихъ и берите.

Я повернулся и хотѣлъ уходить.

— Позвольте, господинъ капитанъ, зачѣмъ такъ скоро! Нельзя же съ одного слова... Ну, я прибавлю. Пусть будетъ восемьдесятъ копеекъ.

— Не восемьдесятъ, а восемьдесятъ пять, какъ вы платите болгарамъ. Тогда примлю сегодня

съ отвѣтомъ. Да не забудьте, расчетъ каждый день.

— Извольте, извольте. Ну, ужъ вы и капитанъ! А все-таки я вамъ бутылочку мадеры пришлю, чтобы вы на насъ не сердились.

Возвращаясь на бивуакъ, я зашелъ на военно-телеграфную станцію, которая помѣщалась недалеко отъ моста, во второмъ этажѣ довольно большого дома. Офицера, завѣдующаго отдѣленіемъ, не было, и я направился въ аппаратную, гдѣ и нашелъ его, сидящаго безъ сюртука, съ растегнутымъ воротомъ, въ туфляхъ; онъ распекалъ какого-то телеграфиста. Мы не были знакомы, и онъ встрѣтилъ меня вопросомъ: „Что вамъ угодно?“

— Позвольте познакомиться. Вашъ охранитель.

— А, очень пріятно. Пойдемте ко мнѣ въ комнату. А вы извольте прибрать тутъ все,—обратился онъ къ сигналистамъ.—Видите, хлѣвъ какой сдѣлали!

Аппаратная была небольшая комната съ двумя окнами, нѣсколькими столами и табуретками. На двухъ столахъ стояло по аппарату, около валялась масса бумагъ въ ужасномъ безпорядкѣ; много ихъ было также налѣплено на стѣнкахъ. На полу—обрывки листовъ, множество окурковъ и, вообще, всякаго сору. Квартира Рыжикова, такъ звали завѣдующаго отдѣленіемъ, состояла изъ одной комнаты; въ ней стояли кровать, небольшой столикъ и табуретка. Несмотря на то, что окно было наглухо завѣшено плотнымъ ковромъ, духота была такъ велика, что я, просидѣвъ минутъ десять, простился и вышелъ.

Когда я подходилъ къ бивуаку, дымокъ отъ ротнаго котла пріятно манилъ къ себѣ. Кашеваръ Козловъ, завидя меня, засуетился. Онъ быстро надѣлъ фартукъ, пригладилъ рукой волосы и сталъ обтирать чашку какою-то тряпицей.

— Здорово, Козловъ!

— Здравія желаю, ваше благородіе.

— Похвастайся-ка, чѣмъ ты сегодня роту кормишь?

— Щами болгарскими, ваше благородіе.

— Отчего жъ не кашица?

— Рота не ѣстъ, половину выливаю. Отъ нея, отъ этой кашицы, одинъ вредъ. Все нутро промыло. А это вкусно и на животѣ крѣпко.

— Ну-ну, показывай.

Въ то время, какъ Козловъ черпалъ изъ котла болгарскія щи, дежурный рапортовалъ мнѣ о благополучномъ обстояніи роты. Щи оказались отличныя, хотя онѣ и готовились изъ виноградныхъ листьевъ и заквашивались сокомъ незрѣлаго винограда, то - есть изъ продуктовъ, неизвѣстныхъ кулинарамъ, но были превкусныя. Козловъ самодовольно улыбнулся. Затѣмъ онъ зацѣпилъ лопаточкой каши и съ торжествомъ поднесъ ее мнѣ.

— Что это, гречневая? А?

— Точно такъ. Вчера у жида раздобылись. Раздобрился. Да сказываютъ, хочетъ о рабочихъ докучать, оттого и далъ. Ну, вотъ ротѣ-то послѣ дубовой (ячневой) каши и праздникъ.

Къ вечеру я вышелъ къ ротѣ и спросилъ, желаютъ ли они въ свободное отъ службы время небольшими частями ходить на работу. Такъ какъ

всѣ были безъ денегъ, то охотниковъ нашлось много.

На другой же день рабочіе и хлѣбопеки отправились въ Бѣлу. Прошло дня три. Агентъ, несмотря на условіе, не давалъ расчета рабочимъ, отговариваясь неимѣніемъ денегъ въ конторѣ. Когда же я прислать фельдфебеля Алексѣева уже съ угрозой, то онъ разсчиталъ солдатъ по восемьдесятъ копеекъ въ день и собирался платить бумажками, говоря, что у насъ не было уговора о платѣ монетою. Меня это взорвало, и я сейчасъ же пошелъ въ контору. Вѣроятно, лицо мое не выражало въ это время ласки, потому что агентъ быстро вскочилъ со стула и выразилъ нѣкоторую робость.

— Вы что это, чортъ побори, на шутки пускаетесь?

Еврей попятился.

— Позвольте, господинъ капитанъ, какъ вы можете такъ говорить со мной!

— Вы вздумали бумажками отдѣлаться! Нѣтъ это вамъ не удастся.

— Развѣ это не деньги? У насъ не было уговора, чѣмъ платить.

— А, хорошо! Я иду сейчасъ къ коменданту. Алексѣевъ, взять рабочихъ!

— Помилуйте, что вы дѣлаете! У меня хлѣбъ растворенъ. Вы мнѣ сдѣлаете убытокъ.

— Тѣмъ лучше. Сейчасъ, чтобы тутъ не было ни одного человѣка! А о деньгахъ вы сегодня будете съ комендантомъ разговаривать.

Я хотѣлъ итти, но еврей взмолился:

— Ахъ, господинъ капитанъ, ну, зачѣмъ вы такъ горячи!.. Ну, я сказать... Ну, что же? Кто

себѣ выгоды не хочетъ! Не хотите бумажками—я заплачу и монетою. Но зачѣмъ шумѣть! Тихо лучше. И, ухъ, какъ вы горячи! Хе-хе-хе!

Угрозы подѣйствовали, и деньги были уплачены.

Въ тотъ же вечеръ Мининъ прислать мнѣ слезное посланіе о томъ, чтобы я похлопоталъ, какъ бы смѣнить его у моста. Я пошелъ къ коменданту, но комендантъ ничего не сказалъ утѣшительнаго. Дня черезъ два, только что я всталъ, Ясинскій влетѣлъ въ палатку и сообщилъ, что взводъ пришелъ. И въ самомъ дѣлѣ, Мининъ еще съ горки производилъ радостную жестикуляцію. Оказалось, что давно ожидаемые саперы пришли на смѣну и освободили Минина.

— Ну, батюшка, чуть съ тоски не умеръ. Чистая смерть! До того дошелъ, что молилъ Бога о ниспосланіи для развлеченія хоть баши-бузуковъ.

Приходъ Минина со взводомъ былъ очень кстати. Пять дней тяжелой караульной службы въ Бѣлѣ стали утомлять людей. Хотя караульная служба—дѣло привычное, но проводить черезъ день сутки на жарѣ, не раздѣваясь, не снимая амуниціи, при рѣзкомъ переходѣ отъ дня къ ночи, это такъ тяжело, что можетъ отозваться и на крѣпкомъ здоровьѣ. Бѣла же всегда считалась нездоровою мѣстностью и была разсадникомъ лихорадокъ на всю Болгарію. Это мѣстечко расположено въ ущельѣ, закрытомъ съ востока, юга и запада. Съ горы, лежащей къ югу, выходятъ обильные ключи, которые посредствомъ узенькихъ каналовъ, выложенныхъ камнями, искусственно сгруппированы въ одинъ, на которомъ и устроена мельница. Вода, сбѣлавшая свое дѣло на этой мельницѣ,

проводится дѣлѣ деревяннымъ желобомъ къ слѣдующей, лежащей ниже мельницѣ, затѣмъ. отъ второй такимъ же образомъ проводится и къ третьей, откуда, спустившись въ лощину, образуетъ ручей, впадающій въ Янтру. Вдоль всей лощины, по ручью, образовались грязныя лужи. Эти-то огромныя, вѣчно гніющія лужи и порождаютъ вѣчныя лихорадки. Въ этихъ лужахъ въ теченіе жаркихъ дней барахтаются буйволы и свиньи. Буйволы ухитряются помѣщаться въ грязь по самую морду; грязь они предпочитаютъ чистой водѣ, такъ какъ грязь эта, облипая около нихъ, предохраняетъ отъ укушенія всевозможныхъ насѣкомыхъ. Можно себѣ представить, какой видъ представляютъ послѣ этого буйволы, съ налипшею на нихъ грязью, запряженные въ огромныя телеги съ вѣчною скрипящими колесами!

На третій день нашего пребыванія, при утреннемъ рапортѣ, Алексѣевъ докладываетъ:

— Ваше благородіе, Константиновъ заболѣлъ.

— Что съ нимъ?

— Не могу знать. Ослабъ весь.

— Позови сюда.

Приводятъ Константинова. Онъ блѣденъ, съ мутными глазами, идетъ нетвердою поступью.

— Что съ гобой?

— Не могу знать. Мочи нѣтъ.

— Вѣрно, напился потный? Не слушаете, что вамъ говорятъ. Трясетъ?

— Никакъ нѣтъ. Малость забко, а чтобы тряссти—не трясетъ.

— Отвезти въ госпиталь,—приказать я.

— Ваше благородіе, явите начальническую милость, — взмолился Константиновъ, — позвольте въ ротъ побыть. Можетъ, и отойдетъ. Я буду стараться.

— Что жъ я съ тобой буду дѣлать! Пожалуй, умрешь еще.

— Отъ смерти не уйдешь, а въ госпиталь пуше умрешь. Вонъ Янусъ только прикинулся больнымъ и то померъ.

Янусъ, лѣнивый и плохой солдатъ, притворился больнымъ, — что всѣ знали, — и попасть въ госпиталь, но на пятый день заболѣть тифомъ и умеръ. Это обстоятельство произвело тяжелое впечатлѣніе на всѣхъ, и госпиталя стали бояться.

Но Константиновъ былъ только началомъ; на другой день заболѣли еще двое и т. д., такъ что къ приходу Минина больныхъ было уже восемь человѣкъ. Всѣ они молили о начальнической милости, и никто не хотѣлъ въ госпиталь. Къ счастью, у насъ былъ добрый другъ Иванъ Николаевичъ Русаковъ. Каждое утро къ нему направлялась цѣлая вереница больныхъ. Всѣхъ онъ со вниманіемъ осматривалъ и только очень трудныхъ отправлялъ въ госпиталь, а остальныхъ кормилъ хиной въ ротъ.

III.

Черезъ нѣсколько дней линейка транспорта остановилась около лазаретнаго шатра. Тамъ былъ уже старшій врачъ, нѣсколько младшихъ, смотритель, комиссаръ и служителя. Докторъ, сопровождавшій транспортъ, вытащилъ списки, и сдача началась. Въ первой линейкѣ помѣщался только

одинъ тяжело раненый капитанъ. Пуля пробѣла ему колѣно. Онъ былъ смертельно блѣденъ и тяжело дышалъ: Каждое сотрясеніе приносило ему жестокое страданіе. Каково же ему было проѣхать слишкомъ тридцать верстъ? Онъ стоналъ всю дорогу. Рессорная лазаретная линейка сравнительно еще очень покойна, а что же испытывали солдаты съ болѣе тяжелыми ранами, когда ихъ везли на простыхъ телѣгахъ? Но гдѣ же взять покойные экипажи, когда раненыхъ бываетъ сотни, что было и теперь.

Когда стали высаживать капитана, онъ ужасно кричалъ.

— Нѣжничай,—шепталъ сзади меня Мининъ.— Что за слабодушіе—кричать!

Мы пошли посмотрѣть на раненыхъ солдатъ. Наши солдаты тоже не вытерпѣли и прибѣжали изъ роты.

Матюшкинъ и тутъ дѣйствовалъ.

— Теперича въ какое же мѣсто тебя пуля вдарилла?—начальническимъ тономъ вопрошалъ онъ.

— Руку прострѣлило.

— Сзади или спереди?—продолжалъ Матюшкинъ?

— Сзади.

И раненый поднялъ руку.

— Да его, должно-быть, лизнуло только, — хихикалъ Петровъ.

— Лизнуло!—огрызался раненый.—Что я сласть какая, что ли? Вотъ дуракъ!

— Можетъ, для ея и сласть. Вѣдь пуля-то турецкая,—обидѣлся Петровъ.—Чего лаешься?

— Петровъ, что ты!—внушительно остановилъ Матюшкинъ,

— Да вѣдь это не я,—онъ,—оправдывался Петровъ.

Мы подошли къ одной изъ телѣгъ, съ которой все время раздавался неистовый крикъ. Около телѣги собралась толпа солдатъ, и всѣ съ участіемъ смотрѣли на раненаго. Это былъ высокій рыжій солдатъ. Страданія исказили его лицо. Онъ лежалъ на правомъ боку, съ полураскрытыми глазами и неистово выкрикивалъ громкимъ сиповатымъ голосомъ. Зрѣлище было непріятное. Солдаты перешоптывались. Слышно было: „Господи, помилуй... Экъ лихо-то... страсть какая“...

Я обратился къ раненому:

— Куда ты раненъ?

— Въ спину. Ой, моченьки моей нѣтъ...

И онъ опять начать кричать.

— Послушай, любезный,—продолжалъ я,—будь подержанинѣе. Что кричать? Нехорошо.

— Больно. Кость спинную пробило; ногами не шелохну,—простоналъ онъ.

— Знаю, что больно, да что жъ подѣлаешь! Воздерживайся. Подумай, чтобъ это было, если бы всѣ-то тутъ, слишкомъ триста человѣкъ, стали кричать. Съ турками справлялся, а съ собой не можешь справиться.

Солдатъ широко открылъ мутные глаза, тяжело вздохнулъ, пересталъ кричать и только глухо стоналъ.

Пока продолжались высаживаніе и сдача раненыхъ, стемнѣло. Пріѣхали хирургъ-профессоръ и комендантъ.

Въ шатрѣ уже были зажжены огни, и докторъ, безъ сюртука, съ засученными рукавами, присту-

пилъ къ перевязкѣ, при помощи сестры милосердія.

Я подошелъ къ раненому унтеръ-офицеру.

— Когда дѣло было?

— Третьяго дня, весь день.

— Жаркое?

— И-и, ваше благородіе, не дай Богъ! Насъ-то всего одинъ полкъ былъ, а ихъ—силища! А все, кабы во-время помощи прислали, не сдали бы позицію. А то со всѣхъ сторонъ обошли, податься некуда. Нашъ полковникъ волосы на себѣ рвалъ. Только и слышно было: „Молодцы, стойте крѣпко! Еще недолго! Подкрѣпленіе идетъ“. А самъ все въ трубку смотритъ на дорогу. Ждали мы, ждали, а подкрѣпленія все не видать. Такъ перевалило за полдень. Артиллерія наша стала ослабѣвать; сказываютъ, зарядовъ не хватило. Тутъ у насъ на сердцѣ потяжелѣе стало, потому артиллерія—главная вещь, духу придаетъ. Какъ бухнуть—такъ словно ты самъ „къ нему“ летишь, сердце кипитъ; а какъ артиллерія постихла—„онъ“ еще пуще напирать сталъ. Смотримъ, вездѣ „онъ“, и направо-то и налево-то... Жутко стало! Обернулся я посмотрѣть, гдѣ-то нашъ полковникъ. Вижу, стоитъ онъ безъ шапки и смотритъ въ трубку на дорогу. Все подмоги ждалъ; не хотѣлось позицію отдавать, да ужъ ждать больше нельзя было... Стали отходить; онъ тутъ, съ нами же. „Братцы, полегче, отдохни, не торопись. Пуцай же не думаетъ онъ, проклятый, что мы струсили. Не осрами полка родного! Служили царю молодцами — и умремъ молодцами“. Отходимъ это полегоньку тутъ „онъ“ на насъ и понасѣлъ. Страсть! Какъ

почали жарить—не роди ты, мать-сыра земля. Что народу побил! И сбоку бьютъ и въ затылокъ хлещутъ—смерть! Да вѣдь что срамно, что больше по задамъ. Теперича про меня подумаетъ другой, что наутекъ шелъ, а что жъ ты подѣлаешь!

— Какъ же спасся?

— Взводъ не выдать. Далеко жъ онъ насъ и не преслѣдовать, потому въ кусты вошли, а то бы быть на штыкѣ у поганаго.

Унтеръ-офицеръ умолкъ и задумался.

На слѣдующее утро фельдфебель Алексѣевъ явился съ крайне озабоченнымъ лицомъ.

— Что скажешь?

— Ваше благородіе, еще четыре человѣка заболѣли, да и еще есть, только не сказываются пока.

— Исполняютъ они то, что имъ приказываютъ? Надѣваютъ ли набрюшники на ночь?

— Каждый вечеръ подтверждаю. Но главная причина тому, что трудно очень. Сами изволите знать, служба какая. Караулъ карауломъ, а тутъ еще приходится каждый день на покось посылать. Никакъ невозможно.

При ротѣ было восемнадцать лошадей, восемь—корпусного штаба, а десять—полковыхъ и ротныхъ. Купить сѣна нельзя было ни за что; приходилось съ разсвѣтомъ посылать косцовъ верстъ за десять.

Потолковалъ я съ Русаковымъ, и мы порѣшили перевести роту въ Бѣлу. Я сказалъ объ этомъ коменданту; тотъ согласился, и мы перебрались въ покинутые турецкіе дома. Но болѣзнь не ути-

малась. Черезъ нѣсколько дней человекъ восемь было отправлено въ госпиталь, а человекъ пятнадцать лѣчили у Русакова и были при ротѣ. Мы помѣстились у болгарина. Домъ былъ отличный. Нашу квартиру составляла одна громадная комната. Самъ хозяева жили въ кухнѣ. Они были люди зажиточные, о чемъ можно было судить по громаднымъ скирдамъ хлѣба, надворнымъ постройкамъ, лошадямъ и скоту. Семейство состояло изъ старика и старухи, двухъ невѣстокъ и нѣсколькихъ маленькихъ. Мужъ одной невѣстки былъ гдѣ-то на заработкахъ, а другой—въ дружинѣ. Несмотря на достатокъ, они жили очень скудно. Обѣдъ ихъ состоялъ изъ какой-то похлебки, куда они подливали сыворотку, оставшуюся отъ овечьего сыра, и толстой черной пшеничной лепешки, которую они, не заквашивая, ежедневно пекли въ горячей золѣ. Это былъ ихъ хлѣбъ. По праздникамъ—брынза (овечій сыръ). Несмотря на такую плохую пищу, они всѣ были очень крѣпки и здоровы. Въ первое время нашего пребыванія даже старикъ дичился насъ, хотя отвѣшивалъ намъ низкіе поклоны, а остальные члены семейства просто прятались. Ихъ можно было видѣть только очень рано утромъ, когда они молотили свою превосходную пшеницу. Молотьба производилась очень оригинальнымъ способомъ: пара воловъ вилялась въ телѣжный передокъ, на ось усаживалась одна изъ невѣстокъ и ѣздила по разостланнымъ по току стогамъ. Токъ былъ вмѣстѣ и дворъ, и намъ приходилось проходить мимо. Никогда я не видѣлъ, чтобы болгарка при этомъ посмотрѣла когда-нибудь въ лицо; если она си-

дѣла на своей оси, то упорно смотрѣла внизъ; если переворачивала соломѣ, то отворачивалась и дѣлала видъ, что занята работой. На привѣтствіе она молчала или нехотя проговаривала какое-то непонятное слово. Впослѣдствіи хозяйинъ сталъ любезнѣе и разговорчивѣе, но женщины сохранили дикость до конца. Устроивъ свой уголь, я пошелъ въ роту. Тамъ тоже дѣло было улажено: были заняты двѣнадцать турецкихъ домовъ; ихъ очистили, натаскали туда соломы, и жилье было готово. Наканунѣ я узналъ, что въ отрядный аптечный складъ привезли хинный спиртъ. Про этотъ хинный спиртъ мнѣ давно говорилъ Русаковъ и совѣтовалъ давать съ водкой всей ротѣ, какъ предохранительное средство противъ лихорадки. Блѣдность и утомленіе на многихъ лицахъ, какъ преддверіе лихорадки, которая за это время перетрепала чуть не полроты, беспокоили меня ужасно, и я тотчасъ же отправился въ складъ.

— Извините, пожалуйста,—обратился я къ аптекарю.—Могу я получить у васъ хинный спиртъ?

— Что, вѣрно, потрепываетъ лихорадка?

— Извела совсѣмъ.

— Что жъ, можно. Принесите записку отъ коменданта, что необходимо. Пузырьковъ пятокъ отпущу.

Я пошелъ къ коменданту.

Поворачивая къ комендантской квартирѣ, слышу ревъ. Неподалеку по улицѣ двигался цѣлый звѣринецъ; это были медвѣжатники съ медвѣдями и обезьянами. Они до той минуты благополучно странствовали по Болгаріи, давая представленія, но въ Бѣлѣ имъ не повезло. У нихъ спросили

паспорта и пропускъ отъ военного начальства, а этого-то у нихъ и не было.

— Что это?—обратился я къ казаку, который ихъ вель.

— Веду къ коменданту. Документу никакого не имѣють. Да потомъ, извольте видѣть, сколько звѣрья. Нешто такъ можно?

Медвѣдей различнаго возраста было штукъ восемь да двѣ обезьяны. Медвѣжатники, сознавая, вѣроятно, бесполезность всякихъ просьбъ, шли за казакомъ покорно; одинъ только держалъ въ рукахъ какой-то лоскутокъ бумаги и старался въ чемъ-то убѣдить казака, но тотъ отдѣлывался лаконическими фразами: „Не наше дѣло...разберуть... Это ужъ какъ начальство“.

Такъ мы въ сопровожденіи этого милаго общества и дошли до комендантской квартиры. Онъ охотно выдалъ мнѣ разрѣшеніе получить спиртъ. На дворѣ слышался ревъ.

— Это что за музыка тамъ?

— Васъ дожидаются. Цѣлый оркестръ привели.

Я объяснилъ, въ чемъ дѣло, и мы вышли. Казакъ подошелъ съ докладомъ.

— Ваше высокоблагородіе, вотъ-съ, привелъ со звѣрьемъ. Документу никакого не имѣють.

— Вы откуда?—обратился комендантъ къ болонгарамъ.

— Мы изъ болгарской гавани.

— Поставьте перекладочный пунктъ.

— Казакъ пробжалъ и въ кафе, и въ отъ казеннаго

Переводчикъ тотчасъ явился; имъ узнали, что

ревъ шепотомъ что юнкъ изъ за Балканъ имѣють разрѣшеніе отъ турецкаго начальства войти въ

медвѣдями, что за это право съ нихъ взыскивали подать въ турецкую казну; въ удостовѣреніе этого одинъ изъ нихъ, державшій бумагу, предъявить ее какъ документъ. Это показалось ужъ чрезчуръ подозрительнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, трудно было не запримѣтить тайнаго умысла въ разрѣшеніи ходить по Болгаріи съ медвѣдями во время войны.

Комендантъ призадумался, а потомъ обратился къ намъ.

— Я думаю отправить этихъ болгаръ къ чорту, а медвѣдей отдать казакамъ на разстрѣліаніе. Это какая-то подозрительная сволочь. Медвѣжьи плясы ходить показывать!

— Вотъ это ловко, полковникъ! Мы сердобольничаемъ, а они смѣются надъ нами. По-моему вздуть ихъ какъ слѣдуетъ,—проговорилъ Мининъ.

— Такъ мы и сдѣлаемъ. Отведи болгаръ съ медвѣдями къ старшему, а вы, прапорщикъ, сходите къ моему помощнику и скажите, чтобъ онъ приказалъ медвѣдей перестрѣлять, а болгарамъ выдать бы проходные билеты до мѣста жительства, по ихъ указанію.

На другой день рано утромъ помощникъ коменданта, Бадоновъ, заѣхалъ за мной, и мы отправились верхами осмотрѣть укрѣпленія, которыя возведены были нами на случай движенія турокъ на Бѣлу. Считавшіяся для сѣверной Болгаріи солиднымъ стратегическимъ и тактическимъ пунктомъ, укрѣпленія были преимущественно батареи: горизонтальныя и углубленныя, построенныя на гребнѣ возвышенія и обстрѣливающія мѣстность на очень большое разстояніе.

— Что, Александръ Филипповичъ, понадобится эта позиція или нѣтъ? Какъ вы думаете?

— Какъ сказать?.. Дай Богъ, чтобы не понадобилась, а, впрочемъ, кто знаетъ! Мнѣ что-то подозрительно это турецкое бездѣйствіе. Не хватило бы они сразу массой.

— Что вы говорите! Вѣдь въ отрядномъ штабѣ имѣются свѣдѣнія. Посмотрите, какъ мы маскируемъ нашу слабость.

— Пойдутъ напроломъ—ни къ чему и маскированье. Гдѣ у насъ резервъ? Ахъ, виновать, забытъ, а вы-то съ ротой!

— Нашъ отрядъ малъ, слабъ, а стоитъ крѣпко и дѣлаетъ большое дѣло. Исторія оцѣнитъ заслуги нашего командира.

Сдѣлавъ порядочный кругъ, мы выѣхали на дорожку и встрѣтили болгарина, тащившагося въ своей каруцѣ (телѣгѣ).

— Что, братушка, далеко турки?

Болгаринъ осклабился.

— Нима турци... далече турци, братушка... три часа за горы...

И онъ, снявъ шапку, отъ радости качать головой.

Возвращаясь, я заѣхалъ въ роту. Въ одномъ изъ домовъ раздавался вѣчно неутомимый голосъ Матюшкина. То, что у другихъ унтеръ-офицеровъ дѣлалось спокойно, у него сопровождалось какимъ-то зыканьемъ. Онъ не умѣлъ приказывать хладнокровно, а всегда рѣзко и задорно. Этотъ способъ обращаться уже рѣдко замѣчается теперь, но онъ поддерживааетъ въ подчиненныхъ бравость и расторопность.

— Что ты! Я тебѣ дамъ! Лихорадку хочешь належать? Вставай сейчасъ!

— Оедоръ Михайловичъ, ко сну клонить.

— Пырни его подъ бокъ, вотъ и сонъ вылетитъ. Мало васъ еще валяется! Ну, а скажи-ка ты мнѣ, Степановъ, что ты будешь дѣлать, если тебя пошлютъ въ патруль? Разсказывай по порядку, обстоятельно, а вы слушайте.

— Теперича, если пошлютъ въ патруль, я долженъ итти тихо и осторожно, чтобы непріятель меня не могъ замѣтить, а чтобъ я все видѣлъ.

— Помни же это, ребята, затверди хорошенько. Я вошелъ. Всѣ вскочили.

— Здорово, молодцы.

— Здравія желаемъ,—гаркнули солдаты.

Всѣ смотрѣли открыто, привѣтливо, какъ бы радуясь моему посѣщенію.

— Хороша была вчера водка?

Всѣ лица разомъ подернулись улыбкой, не рѣшаясь отвѣтить. Только Матюшкинъ отрѣзалъ:

— Хороша, ваше благородіе, горька шибко, зато полезительна.

Когда я уходилъ изъ избы, слышался шопотъ Матюшкина, обращенный къ солдатамъ:

— Что жъ вы молчите, когда спрашиваютъ? У, олухи! Коли начальникъ спрашиваетъ, хороша ли—всегда говори хороша.

Возвратившись домой, я получилъ записку отъ Русакова. Онъ увѣдомлялъ, что госпиталь ихъ отдѣленъ и перенесенъ на другое мѣсто, при чемъ звалъ насъ навѣстить его. Просидѣвъ вечеромъ у нихъ часа два, мы иѣшкомъ возвращались по Бѣлѣ. Проходя мимо одного большого дома,

мы услышали нестройное пѣніе. Пѣло нѣсколько человѣкъ.

— Что за черти тутъ воютъ!—говорить Мининъ.—Надо бы зайти посмотрѣть. Не праздникъ ли какой? Любопытно.

— Оставьте, неловко,—замѣтилъ я.

— Вотъ еще, неловко!

Мининъ отворилъ калитку. Какой-то старикъ-болгаринъ, увидѣвъ насъ, снялъ шапку и пригласилъ войти наверхъ, откуда слышалось пѣніе. Мы вошли. Въ довольно большой комнатѣ, на полу разостланъ былъ коверъ, на срединѣ стояла большая деревянная тарелка съ мясомъ, нарезаннымъ небольшими кусками; на другой тарелкѣ лежатъ хлѣбъ, рядомъ стояла бутылъ съ виномъ и нѣсколько стаканчиковъ. Вокругъ этой трапезы сидѣло болѣе десяти человѣкъ болгаръ. Когда мы вошли, они перестали пѣть, вскочили и, выражая удовольствіе, пригласили насъ въ свою компанію. Мы сѣли. Мининъ былъ сейчасъ же какъ дома. Пошли разспросы. Оказалось, что одинъ изъ болгаръ довольно сносно говоритъ по-русски. Прежде, чѣмъ говорить, онъ взялъ стаканъ съ виномъ и, поднявъ его, вскрикнуть:

— За здоровье русскаго царя!

Болгары закричали „ура“.

Потомъ всѣ устѣлись и стали говорить, мало понимая другъ друга. Петро, провозгласившій тостъ, недавно вернулся въ Болгарію. До войны онъ жилъ въ Румыніи и ѣзжалъ по торговымъ дѣламъ въ Кишиневъ и Одессу. Ему было лѣтъ сорокъ сличкомъ. Брюнетъ, съ рѣзкими выразительными чертами лица, онъ не носилъ на себѣ

отпечатка той приниженности, которая замѣтна была въ его землякахъ. Видно было, что онъ жилъ въ свободной странѣ, а не подъ надзоромъ бея и заптій.

— Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ,—началь онъ,—я бѣжалъ отсюда. Жить было нельзя. Мой отецъ занимался торговлей и меня приучалъ къ тому же. Когда мнѣ минуло двадцать лѣтъ, отецъ мой умеръ, и я остался хозяиномъ. Отецъ былъ хитрый человекъ; его выучили этому турки. Онъ ходилъ на поклонъ къ начальству, цѣловать ихъ платье, носилъ подарки, и за это его любили и не притѣсняли. Я часто говорилъ отцу, что нехорошо мнѣ будетъ послѣ его смерти, что я не могу дѣлать, какъ онъ. „Подожди,—говорилъ отецъ,—и потерпи, а то тебя задавятъ, какъ щенка. Теперь недолго ждать. Бѣлый царь придетъ и спасетъ насъ. Ты знаешь, что всякій болгаринъ живетъ этою надеждой. Живи и ты. Лучше отнести турецкому начальству подарокъ и жить спокойно, чѣмъ дрожать за свое добро“. Пока отецъ былъ живъ, я сидѣлъ у себя дома, никуда не выходилъ и ни съ кѣмъ не говорилъ, а только когда ѣздилъ за товаромъ въ Румынію, переставалъ быть такимъ. Тамъ я видѣлъ, какъ живутъ люди свободно, а не подъ палкой. Стала мнѣ противна жизнь у себя дома, и я подумывалъ, какъ бы мнѣ выбраться отсюда, но не могъ оставить отца. Но и послѣ его смерти уйти было нелегко. У меня остались на рукахъ мать, семейство; нельзя же было ихъ бросить потому только, что самому тяжело, а они свыклись. Притомъ нужно было бросить торговлю, продавать домъ, а этого скоро не сдѣлаешь. Че-

резъ нѣсколько времени послѣ смерти отца былъ я по дѣлу въ городѣ и заглянулъ къ каймакаму. Тотъ встрѣтилъ меня неласково: „Что, Петро, сталъ теперь хозяиномъ, а не заходишь ко мнѣ? Отецъ твой былъ добрый человѣкъ, вѣрный туркамъ, а ты, можетъ-быть, тянешь къ руссамъ? Смотри, у тебя не двѣ головы! Если я что-нибудь узнаю, не видать тебѣ твоей Бѣлы“. Подумалъ я тутъ; развѣ дать ему что-нибудь? Да злость меня очень взяла, и опаснымъ казалось теперь это сдѣлать, потому смотрѣлъ онъ очень сердито. Выйдя отъ него, я тутъ же рѣшилъ какъ можно скорѣе бѣжать. Пріѣхавъ домой, я сейчасъ же сталъ подыскивать покупателя, а пока дѣло шло, за мной слѣдили. Бывало, заптіе подойдетъ къ лавкѣ и стоитъ. Ну, болгары и идутъ въ другую лавку, чтобы не сочли за пріятеля. Заптіе слѣдитъ—значитъ надо ждать чего-нибудь недобраго. Пошли разговоры; за домъ стали давать гораздо дешевле, торговля шла плохо. Мать, бывало, плачетъ. „Петро, сходи къ начальству на поклонъ, отнеси подарки, поцѣлуй одежду—и опять у насъ будетъ покой“. Плакала старушка, но я слушаться ея не могъ. Я лучше удавилъ бы себя, чѣмъ пойти цѣловать платье у турка. Черезъ нѣсколько дней подъ вечеръ прибѣжать ко мнѣ одинъ пріятель и говорить: „Петро, спасайся! Пришелъ приказъ отъ каймакама схватить тебя“. Я его просить не говорю объ этомъ семейству, а самъ, взявъ деньги изъ отцовскаго сундучка, бѣжать въ Румынію. Тяжела мнѣ была эта ночь; никогда я ея не забуду. Переправившись на чужой берегъ, я упалъ на землю и рыдать, какъ мальчикъ. Я проклинать

турокъ и рѣшилъ лучше умереть на чужой сторонѣ, чѣмъ покориться моимъ врагамъ. И вотъ постѣ двадцати лѣтъ слишкомъ мы дождались того, о чемъ мечтавъ отецъ мой. Бѣлый царь пришелъ спасать насъ. У меня есть теперь въ Румыніи и домъ и лавка, но мое сердце не выдержало, и я пріѣхалъ на родину подышать роднымъ воздухомъ. А какъ война кончится, переселюсь сюда совсѣмъ. Вотъ мои земляки и собрались для моего пріѣзда попить. Никто изъ насъ не помнитъ, когда болгарская пѣсня пѣласьдесятью человѣками вмѣстѣ. Насъ и пятерыхъ разогнали бы турки палками и зажали бы намъ рты. Ну, братушка, выпьемъ! Ты вѣдь родной намъ.—И онъ потѣзъ пѣловаться.

Я попросилъ ихъ сгнѣть, и они затянули какую-то патріотическую пѣсню съ большимъ воодушевленіемъ. Мы простились и ушли. Выйдя на площадь, мы услышали другое пѣніе; оно раздавалось изъ лавки. Тамъ сидѣло нѣсколько человѣкъ офицеровъ-артиллеристовъ; на столѣ стояло румынское шампанское. Всѣ были подъ хмелькомъ, въ кителяхъ нараспашку. Одинъ какой-то офицеръ гнусавилъ: „Тихо на дорогѣ“...

Мы подошли къ дверямъ.

— Пожалуйте, пожалуйста,—раздались голоса.

Мы вошли.

— Мозе, еще бутылочку?—перевалившись черезъ прилавокъ, спрашивалъ еврей.

— Да ты жидъ или жидюга? Мы зовемъ въ нашу компанію, а ты еще спрашиваешь!—отвѣтилъ толстый капитанъ, начальникъ парка.—Что васъ, господи, не видно?

— И ко мнѣ пересталъ капитанъ ходить,—улыбался Рыжиковъ.

— Да что къ вамъ ходить? Свѣдѣній не сообщаете, зло беретъ. Аппараты стучать, а не знаешь о чемъ.

— Ну, вотъ теперь я вамъ могу сообщить. Сегодня цѣлый день дрались и, кажется, жарко.

— Гдѣ? Кто?—привскочилъ Мининъ.—Ужъ не наши ли?

— Этого не знаю. Около Канелева.

— Наши и есть. Ахъ, чортъ побори! А тутъ сиди и скучай. Руки чешутся.

— Ну, герой, давай выпьемъ,—тянулся полупьяный капитанъ.—Не торопись, еще надерешься!

— Какъ не надраться! Нынче какія войны-то. Того и гляди миръ заключать. Османку побьютъ, это навѣрное, ему не уйти, а тамъ Шипку перевалимъ—и миръ. Дома и придется только рассказывать, какъ съ артиллеристами въ Бѣлѣ пьянствовалъ... Тьфу!

— Ха-ха-ха!—заливался капитанъ.—О армейщина! Развѣ мы пьянствуемъ? Мы кутимъ.

Посидѣвъ съ часъ, мы разошлись.

На другой день подъ вечеръ отправились мы къ Русакову на новоселье. Ихъ госпиталь по случаю множества больныхъ и раненыхъ былъ отдѣленъ и стоялъ на новомъ мѣстѣ. На возвратномъ пути зашли мы посидѣть къ коменданту. На дворѣ у него стоялъ столъ и нѣсколько складныхъ табуретовъ. Съ нимъ былъ старшій докторъ; около плетня стоялъ верховой казакъ.

— Ступай и скажи начальнику парка, что я никакихъ объясненій отъ него не принимаю. Чтобы

сейчасъ же была четверка лошадей и повозка, а то донесу. Такъ и скажи.

Казакъ уѣхалъ.

— Что это вы, полковникъ, всердцахъ?

— Какъ же, свинство такое! Сейчасъ проѣзжаетъ парламентаръ отъ Мегметъ-Али въ главную квартиру, а у нихъ, видите ли, повозки нѣтъ. Какъ не совѣстно. Вы что, по дѣлу ко мнѣ?

— Нѣтъ, такъ посидѣть.

— Пока присядьте, а то я вотъ-вотъ жду: придетъ парламентаръ. Тогда уходите.

Въ это время Бадоновъ прибѣжалъ впопыхахъ:

— Ёдетъ, ёдетъ!

— Ну, господа, уходите отсюда.

— Мы вотъ сюда зайдемъ, за плетень, насъ и не будетъ видно.

— Хорошо, хоть туда.

Въ это время къ дому подъѣзжала открытая коляска, и въ ней сидѣлъ турецкій офицеръ съ завязанными глазами, а около него — гусаръ. Когда коляска остановилась, къ ней подбѣжали два конвойные и, по указанію гусара, помогли парламентару выйти изъ коляски и подъ руки ввели его по небольшому возвышенію во дворъ комендантской квартиры. Тутъ гусаръ развязалъ ему глаза и объявилъ на французскомъ языкѣ, что онъ находится передъ комендантомъ. Турокъ отдалъ честь и также на французскомъ языкѣ отрекомендовался.

Изаедъ-бей, парламентаръ турецкаго, главнокомандующаго, тотчасъ же вышелъ изъ своей комнаты и, когда они положили другъ другу руку и сѣли на приготовленные табуреты, Гусаръ удалился.

Подали чай, и пошла довольно оживленная бесѣда.

По пріемамъ было видно, что турокъ—человѣкъ бывалый. Это былъ мужчина средняго роста, очень плотный, съ большими усами. О чемъ они говорили—мы не могли слышать. Турокъ говорилъ бойко по-французски. Черезъ часъ ихъ бесѣда была прервана подъѣхавшею повозкой. При горѣвшихъ свѣчахъ видно было, что турокъ поморщился, но комендантъ, наливъ еще въ стаканы краснаго вина, приподнялся, видимо, съ пожеланіемъ добраго пути. Они чокнулись, проговорили нѣсколько фразъ, послѣ чего позванъ былъ гусаръ съ приглашеніемъ отправиться въ путь. Когда турокъ простился съ комендантомъ, гусаръ опять завязалъ ему глаза, казаки свели его подъ руки и помогли сѣсть въ повозку. Гусаръ, усаживаясь, проговорилъ по-русски:

— Не рессорная? Бѣдные мы, бѣдные! Что съ нами будетъ? Полковникъ, прикажите починить коляску, въ которой мы пріѣхали.

Они уѣхали. Мы вышли изъ-за плетня и хотѣли узнать, съ какимъ порученіемъ ѣдетъ этотъ парламентаръ, и узнали только одно, что вчера была битва очень горячая, но войска остались на своихъ позиціяхъ.

На другой день, передъ закатомъ солнца зашелъ Бадоновъ и сообщилъ, что парламентаръ пріѣхалъ обратно. Посидѣвъ у насъ, Бадоновъ, а вмѣстѣ съ нимъ и мы отправились въ управленіе и тамъ у воротъ нашли казака, который доложилъ, что коляска подъ парламентаромъ сломалась, и онъ возвращается въ Бѣлу. Мы рѣшили дожидаться его въ управленіи. Пронзошла та же

процедура высаживания и развизывашья глазъ, и онъ вошелъ въ комнату. Мы отрекомендовались. Онъ былъ разсерженъ. Я и Бадоновъ, понимая французскій разговорный языкъ, не могли на немъ объясняться, но Мининъ явился нашимъ спасителемъ, какъ ловкій говорунъ и усердный переводчикъ.

— Какъ неприятно мое путешествіе! — начать турокъ. — Нехороши ваши русскіе экипажи. Я совѣмъ разбитъ.

Мы видѣли, какъ его сажали въ телѣгу, поэтому улыбнулись. Турокъ продолжалъ:

— А тутъ экипажъ сломался! Не даромъ это проклятое мѣсто называется Бѣлой (несчастье).

— А вы знаете, что вы въ Бѣлѣ? — смѣясь, спросилъ Мининъ.

Турокъ тоже засмѣялся.

— Да я не долженъ бы знать. Меня въ каждое селеніе ввозятъ и вывозятъ съ завязанными глазами, но я при выѣздахъ изъ этихъ селеній могъ бы остановить кучера, если бъ онъ повернулъ не въ ту сторону, куда надо.

— Значитъ, вы хорошо знаете Болгарію?

— О да. Я — офицеръ генеральнаго штаба. Мнѣ не разъ приходилось поѣздить по Болгаріи съ карандашомъ и бумагой въ карманѣ.

— Извините за вопросъ, гдѣ вы получили военное образованіе?

— Сначала въ константинопольской военной школѣ, а потомъ въ Парижѣ, гдѣ я былъ два года!

Вошелъ сопровождавшій парламентаря гусаръ и объявилъ, что экипажъ скоро будетъ починенъ.

Бадоновъ, хлопотавшій о чаѣ, пригласилъ насъ къ столу, на которомъ стоялъ самоваръ, сухари, галеты и красное вино.

— Прапорщикъ, пригласите къ столу.

Мининъ всталъ.

— Хозяинъ проситъ васъ, майоръ, сдѣлать ему удовольствіе—откушать по русскому обычаю чаю.

— Съ большимъ удовольствіемъ. Мы, турки, не любимъ чай, но мнѣ теперь сталъ нравиться этотъ напитокъ.

Ему предложили сухарей и галетъ. Онъ взялъ сухарь и, показывая съ улыбкой на галеты, проговорилъ:

— Старыя знакомыя! Это, вѣроятно, изъ того несчастнаго транспорта, который вамъ удалось отбить у насъ.

— Вѣроятно. Онѣ очень вкусны. Хотя нашѣ солдаты и предпочитаютъ черные сухари, но мнѣ часто благодаримъ васъ за вашу оплошность.

— Да, мы уже нѣсколько разъ дѣлали взаимныя одолженія. Галеты, правда, недурны, но вашъ чай, которымъ мы пользовались изъ отбитаго офицерскаго обоза, и теперь еще приносить намъ большое удовольствіе,—лукаво улыбаясь, говорилъ турокъ.

— Ха-ха-ха! Позвольте усомниться: не была ли эта маркитантская фура?

— О нѣтъ. Этотъ обозъ принадлежалъ вашимъ кавалеристамъ, которые носятъ красные... красные...—И онъ указывалъ на панталоны.

На улицѣ послышался стукъ подѣхавшаго экипажа. Гусаръ посмотрѣлъ въ окно.

— Экипажъ готовъ.

Бадоновъ еще налилъ вина и просилъ выпить на прощаніе.

— Прапорщикъ, переведите, что я желаю счастливаго пути.

Мининъ сказалъ, и всѣ мы чокнулись.

Турокъ обратился къ намъ:

— Позвольте васъ поблагодарить за вниманіе и просить, когда мы перестанемъ быть врагами и судьба занесетъ, быть-можетъ, васъ въ Константинополь, вспомнить обо мнѣ.

Онъ вынулъ визитную карточку; на карточкѣ значилось по-французски: Юсседъ-бей, пасынокъ Фуадъ-паши. Затѣмъ онъ простился съ нами. Опять надъ нимъ была совершена процедура завязыванья глазъ, и онъ уѣхалъ.

Цѣлью этой поѣздки, какъ оказалось впоследствии, были переговоры о безпрепятственномъ погребеніи убитыхъ и уборкѣ раненыхъ.

IV.

На слѣдующій день резервная рота пришла намъ на смѣну. Дождь шелъ съ утра и сильно загрязнилъ землю. Ротный командиръ былъ человекъ несговорчивый: сколько я ни просилъ, онъ не смѣнилъ меня ранѣе пяти часовъ дня, такъ что караулу пришлось помокнуть. Къ вечеру дождь пересталъ. Смѣнившись, рота надѣялась слѣдующій день поблагодарить.

Я отправился къ коменданту проститься.

— Ну, вотъ и дождались смѣны, а мнѣ такъ, право, жаль васъ. Славная у васъ рота. За все

время ни одного безпорядка, ни одной жалобы, ни одного пьянства.

— Правда ваша, полковникъ, служаки хорошіе. Вы ужъ позвольте имъ завтра отдохнуть день, а послѣзавтра выступимъ.

— Конечно, еще бы!

Разговаривая такимъ образомъ, мы увидѣли мчавшагося къ намъ Баданова съ бумагой въ рукѣ. Онъ подошелъ къ коменданту и молча подалъ ему ее. Тотъ прочелъ и въ недоумѣніи посмотрѣлъ на меня, на Баданова и опять прочелъ.

— Что вы, полковникъ?

Комендантъ, не отвѣчая, подалъ мнѣ бумагу. Я прочелъ слѣдующее: „Всѣ войска, находящіяся въ Бѣлѣ, выслать на позицію къ деревнѣ Домогилѣ и о выступленіи донести“.

Я тоже, въ свою очередь, посмотрѣлъ на него въ недоумѣніи.

— Поняли?—спросилъ онъ.

— Ровно ничего.

— Ну, такъ я вамъ объясню. Выступайте на позицію. Войскъ только у меня и есть, что вы да саперы. Тѣ работаютъ укрѣпленія. Значитъ, ступайте, распорядитесь, и въ путь.

— Слушаю, только позвольте мнѣ взять нѣсколько подводъ подъ ранцы. Рота измучена, только что смѣнилась съ караула, а тутъ еще грязь, да и ночь будетъ хоть глазъ выколи.

— Прикажите нарядить подводы,—обратился онъ къ Баданову,—сколько нужно.

Я пошелъ къ ротѣ сдѣлать распоряженія. Тамъ только поужинали и собирались спокойно провести ночь. Слышенъ былъ веселый говоръ и

смѣхъ... Вѣсть о походѣ озадачила всѣхъ. Пошли сборы самые оживленные, стали считать больныхъ, которыхъ приходилось оставить. Ихъ оказалось человѣкъ пятнадцать.

Многіе были такъ слабы, что едва держались на ногахъ; нѣкоторые, побуждаемые насмѣшками товарищей, просились въ походъ. Всѣ сознавали, что если въ такую глубокую ночь призываютъ даже такую маленькую часть, какъ рота,—значить дѣло серьезное и опасность велика. Распорядившись сложить ранцы на подводы, я приказалъ кухнѣ и обозу выѣхать предъ свѣтомъ за нами, подъ конвоемъ, и, если не будетъ слышно выстрѣловъ, отыскать насъ. Скоро явились подводы, прибѣжать Мининъ и привели нашего навьюченнаго осла. Оставалось только побывать у коменданта и донести телеграммой о нашемъ выступленіи штабу 12-го корпуса. Я отправился къ коменданту.

— Что это, ужъ вы совсѣмъ готовы?—обратился онъ ко мнѣ, видя меня въ полной походной формѣ.

— Да-съ, черезъ четверть часа выступаемъ. Вотъ и рапортъ мой.

— Скорехонько. Не нужно ли вамъ чего-нибудь?

— Я оставляю здѣсь человѣкъ пятнадцать больныхъ, о которыхъ вы знаете. Завтра прикажите принять ихъ въ госпиталь.

— Непремѣнно. Затѣмъ позвольте поблагодарить васъ еще разъ за службу и пожелать выйти невредимыми, если придется исполнить долгъ.

Мы горячо пожали другъ другу руки и расстались.

Возвращаясь въ роту, я вспомнилъ, что наканунѣ разбилися стекла нашего фонаря, а темно было такъ, что я съ трудомъ пробирался по улицѣ. Захожу въ первую лавку, обращаюсь къ еврею:

— Продай мнѣ, пожалуйста, фонарь. Мнѣ нужно выступать въ походъ, а мой разбился.

Еврей смекнулъ, въ чемъ дѣло.

— Отчего же, можно. Пять рублей.

— Что такое? Пять рублей? Да ты никакъ сбѣсился!

— Сбѣсился? Зацѣмъ! Видите, какой фонарь хорошій, и съ нимъ такъ славно будетъ итти, а то, видите, ночь какая темная. Можно упасть въ грязь, платье испортите, или зайдете не туда, куда нужно.

Я вышелъ изъ терпѣнія.

— Что ты мнѣ еще басни будешь рассказывать! Все это я и безъ тебя знаю. Говори послѣднюю цѣну.

— Какую же еще послѣднюю? Ну, четыре съ полтинникомъ.

— Да онъ стоитъ тридцать копеекъ, а я тебѣ дамъ полтора серебряныхъ рубля. Согласенъ?

— Пхе! Не дай Богъ дожить мнѣ до завтрашняго дня.

Признаюсь, я не выдержалъ, хватилъ саблей по фонарю и пошелъ въ другую лавку. Еврей закричалъ: гвалтъ!

Другой еврей былъ сговорчивѣй.

— Ради Бога, продай мнѣ фонарь. Мнѣ очень нужно, а если безсовѣстно запросишь—расшибу, какъ у Юськи.

— Зацѣмъ безсовѣстно! Только у него одно стекло разбито.

— Ничего, давай. Сколько тебѣ за него?

— Звольте. За карбованецъ можно.

Я взялъ фонарь, купилъ свѣчъ и пошелъ къ ротѣ, которая уже выстроилась. Поздоровавшись съ ней, я сказалъ о важности нашего похода и обошелъ фронтъ. Всѣ лица горѣли воодушевленіемъ.

— Розданы ли,—спросилъ я,—крупы, чай, сахаръ, соль, сухари и шестая колодка патроновъ?

— Розданы,—отвѣтила рота.

На правомъ флангѣ Мининъ съ кѣмъ-то шумѣлъ. Я подошелъ съ фонаремъ и освѣтилъ такую сцену: предъ Мининымъ стоялъ болгаринъ, размахивая руками, и говорилъ рѣзко, выражая неудовольствіе:

— Я не проводникъ; у меня каруца, я не могу бросить воловъ,—говорилъ онъ.

— Чортъ съ твоими волами! Цѣлы будутъ.

Болгаринъ повернулся, намѣреваясь уйти.

Мининъ чуть не бросился на болгарина.

— Пойдите, Павелъ Никаноровичъ,—вмѣшался я.— Нечего разговаривать. Алексѣевъ! Назначь двухъ конвойныхъ, пускай они идутъ по обѣ стороны его, а ты води насъ безъ разговору. Не проведешь въ Домогилу—плохо тебѣ будетъ.

Я говорилъ рѣзко, вставляя болгарскія слова, и онъ меня понялъ. Мы выступили. Чтобы сократить дорогу версты на двѣ, онъ повелъ насъ по ужаснымъ неровностямъ. Несмотря на то, что мы шли съ зажженнымъ фонаремъ, солдаты падали ежеминутно. Въ тысячный разъ мы проклинали эти сокращенія пути. Я и Мининъ шли около самага фонаря, и то часто спотыкались. Приходилось идти тихо. Разозленный же болгаринъ мчался, невзирая на мои требованія идти тихо.

— Братушка, тише! Мы и то измучились.

Пройдя часть слишком по такой мучительной дороге, мы вошли на Рушукское шоссе и сдѣлали привалъ. Мы не знали, что дѣлалось впереди насъ. Слышали, что два дня тому назадъ было дѣло, и поэтому должны были поспѣшать на позицію, соблюдая величайшую тишину и скрытность въ движеніи. Выйдя на Рушукское шоссе, мы не считали себя въ правѣ даже зажечь фонарь, а между тѣмъ мракъ былъ непроницаемый. Небо заволокло тучами, но дождя не было, а изрѣдка насъ обдавало какъ бы туманомъ. Тьма была такъ велика, что невозможно было разсмотрѣть линію горизонта. Пришлось отъ высланнаго впередъ авангарда держать одиночныхъ людей шагахъ въ пятнадцать одинъ отъ другого. Они потихоньку должны были сообщать, если шоссе дѣлало поворотъ, иначе приходилось бы падать въ канаву. Соблюдая такой порядокъ, прошли мы верстъ десять и вступили въ какую-то деревню. Тамъ было тихо, даже не было слышно собачьяго оркестра, только одна несчастная собачонка гдѣ-то завывала дикимъ лаемъ. Мы прошли деревню и остановились около крайнихъ домовъ. Солдатамъ было приказано не расходиться, а мы вошли въ домъ и зажгли фонарь. Домъ былъ пустъ, хозяева-турки покинули его.

— Ну, батюшка, вотъ когда водки-то выпить и поѣсть,—говорилъ Мининъ. Онъ вытащилъ флягу и узелокъ.

— Ваше благородіе, что дѣлать съ болгаринномъ? Совсѣмъ окоченѣлъ,—доложилъ Алексѣевъ.

— Позови сюда.

Болгарина привели. Какой жалкій видъ имѣлъ этотъ человѣкъ! Онъ былъ въ разорванномъ зипунишкѣ и въ туфляхъ на босу ногу. Онъ дрожалъ такъ, что стучалъ зубами.

— О, глупый братушка, зачѣмъ такъ ходишь?

Онъ, дрожа, сталъ лопотать, что это ничего, что такъ можно ходить, но что ночь оказалась холодна, оттого онъ и озябъ. При этомъ сильно косился на лежавшую фляжку. Я налилъ стаканчикъ и поднесъ ему вмѣстѣ съ кускомъ хлѣба. Болгаринъ выпилъ, закинувъ назадъ голову и опрокинувъ стаканчикъ, какъ бы желая, чтобы ни одна капля не оставалась тамъ. Потомъ, улыбаясь своимъ искаженнымъ отъ холода лицомъ, бормоталъ:

— Добре, добре, охъ, добре! Спасибо, братушка.

Отдохнувъ немного, мы тронулись далѣе. Теперь уже не слышно было даже перешептыванья. Всѣ были подавлены усталостью и дремотой. Среди невозмутимой тишины въ природѣ слышенъ былъ только мѣрный стукъ шаговъ идущей роты. Даже думы, тревожившія сначала, замерли, и люди обратились въ идущую машину. Мы шли и шли... Небо стало свѣтить, на востокѣ предметы начали обозначаться ясно, и я увидѣлъ, какая усталость и утомленіе были на всѣхъ лицахъ. Сонъ клонилъ жестоко; ноги ступали какъ бы по привычкѣ. Многіе смѣются и не вѣрятъ, что можно на ходу спать, но кто бывалъ въ положеніи изнемогаго, который, несмотря ни на что, все-таки долженъ итти, тому это не покажется смѣшнымъ или нелѣпымъ. Такой сонъ продолжается не болѣе секунды, но это все-таки сонъ, потому что человѣкъ въ эту секунду забывается. Такъ, урывками при-

ходится спать, проходя значительное разстояние. Наконецъ братушка свернулъ съ шоссе направо, и мы пошли проселкомъ. Часа черезъ два показалось селеніе: это была Домогила. Болгаринъ размахивалъ руками и съ торжествомъ указывалъ, что привелъ.

Остановивъ роту около селенія, я послалъ фельдфебеля разузнать, кто тутъ комендантомъ и гдѣ и какія расположены войска. Пока фельдфебель исполнялъ приказаніе, солдаты натащили соломы и развели костеръ. Утро было очень холодное, такъ и тянуло погрѣться. Черезъ полчаса Алексѣевъ возвратился и доложилъ, что ни коменданта ни войскъ въ Домогилѣ нѣтъ и что стоятъ ли войска ближе Тростяника, никто этого не знаетъ. Мы вступили въ селеніе и заняли нѣсколько сараевъ, выставивъ за околицу наблюдательные посты.

Я не зналъ, что мнѣ дѣлать. Получить приказаніе было не отъ кого, куда идти — неизвѣстно. Мы съ Мининымъ вошли въ хату и составили совѣтъ.

— Павелъ Никаноровичъ, что тутъ дѣлать?

— Насъ прислали въ Домогилу, ну, и будемъ сидѣть. Найдутъ, коли будетъ нужно.

— Ну, это все не то. Надо послать въ корпусный штабъ.

— Это ваше дѣло. Посылайте, если хотите.

— Такъ-то такъ, только не знаю, кого послать.

— Вижу, въ какую онъ сторону гнетъ. Хочетъ, чтобъ я ѣхалъ.

— Видите, милѣйшій мой, на этотъ разъ я вамъ скажу, что я могъ бы и приказать, но я этого не сдѣлаю. У васъ силы тоже не двойныя.

— А вѣдь вамъ хочется, чтобъ я поѣхалъ? И то правда, кого послать? Видно, нечего съ вами дѣлать, надо ѣхать. Говорили бы прямо, а то антимоію разводите! Вотъ вода въ котелкѣ вскипить, чаю изопьемъ—и гайда!

Скоро были приведены осѣдланныя лошади, и Мининъ съ проводникомъ-болгариномъ поѣхалъ въ Тростяникъ. Я хотѣлъ было до его возвращенія уснуть, но, несмотря на утомленіе, не сомкнулъ глазъ. Такъ провалялся я часа два. Слышу за дверьми кто-то топчется и покашливаетъ, чтобы замѣтили.

— Кто тамъ?

— Я, фельдфебель.

— Войди, что скажешь?

— Обоза до сихъ поръ нѣтъ. Только патронный ящикъ и кухня пріѣхали, а подводъ съ ранцами нѣтъ. Сказываютъ колеса поломались.

— Что за мученіе! Гдѣ Шмелевъ?

— Остался съ конвоемъ при подводахъ.

Я вскочилъ, одѣлся, накинулъ пальто и пошелъ въ роту. По улицамъ ходили озабоченные болгары. При встрѣчѣ они униженно кланялись и жалобно произносили: „Здорово, братушка“. Нѣкоторые разговаривали и упорно смотрѣли на горы, показывая туда пальцами.

Обойдя роту, я вышелъ за деревню. Глазамъ моимъ представилась слѣдующая картина: въ недалекомъ отъ меня разстояніи нѣсколько болгаръ, впрягшись, тащили нагруженную телѣгу; истомленный видъ, катившійся потъ и открытыя головы показывали, какихъ трудовъ и усилій стоило имъ тащить свою драгоценную кладь. На телѣгѣ былъ

наваленъ всевозможный скарбъ домашняго обихода; въ чистѣ кладѣ виднѣлись и малютки, а дѣти побольше бѣжали около. Вдали видно было нѣсколько такихъ телѣгъ со впрягшимися въ нихъ болгарами. Я подошелъ.

— Что это вы, братушки? А гдѣ же ваши буйволы? Или турки отняли?

Одинъ изъ нихъ со слезами сталъ рассказывать печальную исторію.

— До сегодняшней ночи мы еще не знали, что турки могутъ такъ отомстить намъ. Ночью ворвались въ нашу деревню черкесы и стали требовать, чтобы мы выгнали въ поле весь скотъ и лошадей. Многіе не хотѣли отдать ихъ добровольно, и тѣ лежатъ теперь около своихъ домовъ съ раскроенными черепами. Видя это, мы не хотѣли подвергаться той же участи и отдали весь нашъ скотъ, а сами ушли. Охъ, братушка, что будетъ съ нашими домами! Сегодня къ ночи придетъ много-много турокъ. Они сожгутъ нашъ родной Черевень.

Женщины стали плакать, закрывая лицо руками, а тяжело дышавшіе болгары смотрѣли по направленію къ родному мѣсту, какъ бы прощаясь съ нимъ...

Въ это время на дорогѣ отъ Тростяника показался Мининъ въ сопровожденіи болгарина. Онъ лихо скакалъ, будто не провелъ безсонной ночи, а дѣлалъ верховую прогулку.

— Ну, какъ дѣла?

— Отлично. Все обдѣлалъ въ наилучшемъ видѣ, — говорилъ онъ, слѣзая съ лошади. — Сейчасъ идутъ сюда двѣ роты, два орудія и сотня казаковъ.

— Рассказывайте по порядку.

— Приѣхалъ я въ Тростяникъ и сейчасъ же къ начальнику штаба. Доложили. Любезно принять. Сейчасъ же написалъ записку, чтобы сдѣлали нарядъ. Только я вышелъ отъ него—идеть великій князь. Я взялъ подъ козырекъ и стою. Онъ замѣтилъ незнакомые погоны, спрашиваетъ, зачѣмъ здѣсь. Я доложилъ. Онъ милостиво со мной обошелся, поблагодарилъ, что скоро прибыли, и отпустилъ, пожелавъ, коли придется, поколотить турокъ. Да такъ все это ласково, любезно говорить... Я просто въ восторгѣ.

Черезъ часъ прибѣжалъ дежурный по ротѣ, объявилъ, что меня спрашиваетъ майоръ. Я вышелъ. Майоръ обратился ко мнѣ:

— Вы—командиръ роты? Я назначенъ командовать здѣсь. Вы вступаете въ мой отрядъ.

— Слушаю-съ.

— Мы идемъ сейчасъ же избрать позицію и окопаться. Немедленно приводите вашу роту.

— Господинъ майоръ, позвольте васъ просить дать моимъ людямъ отдохнуть. Мы вчера только смѣнились съ караула и цѣлую ночь шли. Люди изнурены окончательно.

— Пожалуй, но только сейчасъ же прибыть, если будетъ нужно.

— Даю вамъ честное слово.

Онъ повелъ свой отрядъ на позицію, и мы съ Мининымъ пошли съ нимъ. Когда мы возвращались назадъ, уже смерклось. Предупредивъ людей, чтобъ они были въ полной готовности, мы отправились на квартиру и улеглись спать.

Улегшись на наши постели, мы чувствовали двойное наслаждение: надѣясь уснуть и отъ сознанія, что мы не на бивуакѣ, гдѣ холодъ и голая земля были бы нашей постелью.

Вдругъ среди ночи раздается стукъ. Я слышу это какъ бы во снѣ. Стукъ повторяется. Стучить кто-то, безъ всякой осторожности, какъ будто палкой въ ставни. Я проснулся.

— Кто тамъ?

— Дежурный по ротѣ, ваше благородіе. Отъ майора съ запиской прислали. Турки наступаютъ.

— Ясинскій, огня! Живо! Павелъ Никаноровичъ, вставайте! Идемъ на позицію.

Мининъ не шевельнулся. Зажгли огонь, и я прочелъ записку, написанную карандашомъ на лоскуткѣ бумаги.

„Турки наступаютъ. Немедленно прибыть на позицію“.

— Канахинъ, толкни своего барина. Господи, какъ спить!

Канахинъ началъ его качать на постели, и Мининъ, разобравъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, вскочилъ на ноги.

— Да который же часъ?

— Десять.

— Только? Плохо выспался! Не везетъ намъ, право.

Мы почти бѣгомъ побѣжали къ ротѣ, которая уже выходила изъ сараевъ въ полной амуниціи. Мы быстро выступили на позицію. Пока мы одѣвались, посланный отъ майора уже ушелъ, и мы должны были итти, надѣясь только на свою память. Избирая днемъ мѣсто для позиціи, мнѣ ка-

залось, что я настолько ознакомился съ мѣстностью, что не боялся сбиться. Притомъ понижающаяся равнина, оканчивающаяся возвышеніемъ, гдѣ и была позиція, казалась мнѣ такою незамысловатою дорогой, что мы смѣло пошли безъ проводника. Выйдя изъ деревни, мы быстро зашагали по направлению къ позиціи. Ночь была звѣздная; но южная звѣздная ночь, когда на небѣ нѣтъ луны, очень темна, такъ что сравнительно на очень близкомъ разстояніи трудно рассмотреть что-нибудь. Намъ казалось, что мы идемъ вѣрно, какъ вдругъ мы подошли къ остановившемуся патрулю.

— Чего вы стали?—спросилъ я вполголоса.

— Нельзя итти далѣе, ваше благородіе, — оврагъ.

— Оврагъ? Чго за оказія! Куда же это мы попали! Кажется, оврагъ былъ правѣе. Не зайти бы куда-нибудь.

— Ваше благородіе,—раздался сзади голосъ Матюшкина, — позвольте мнѣ сбѣгать, я мигомъ отыщу отрядъ.

— Что его искать! Или я всю память проспалъ? Экъ мы затесались!

— Пустяки! Сами найдемъ!

— Чего жъ мы будемъ слоняться? Кричать нельзя, а видимъ мы только небо да на пять саженъ вокругъ. Матюшкинъ, возьми двухъ рядовыхъ—и маршъ.

При этомъ я ему шепнулъ на ухо пароль. Матюшкинъ скрылся. Мы остались ждать. Не прошло и пяти минутъ, Матюшкинъ прибѣжалъ обратно на всѣхъ парахъ.

— Ваше благородіе, нашелъ. Они близехонько, только малость на горку подняться. И что только турокъ видно—не перечестъ. Огней какъ фонарей на улицѣ.

— Ну, довольно языкъ чесать, ступай впередъ.

V.

Когда мы подошли къ позиціи, предъ нами замелькали огоньки вдаль. Это турки на берегу Кара-Ломы варили свой кофе. Майоръ встрѣтить меня словами:

— Хороша иллюминація? Я думаю, не хотѣлось разставаться съ постелью?

— Давно они пришли?

— Недавно. Какъ казакъ пріѣхалъ съ донесеніемъ, что застучали орудія и слышались разговоры, я и послалъ за вами.

Поставивъ роту на указанное мѣсто, я подошелъ къ орудійному блиндажу, куда собрались всѣ офицеры. Они сидѣли молча. Видно было, что сосѣдство турецкаго отряда, и притомъ такого значительнаго, повліяло на общее расположеніе духа. Съ нашимъ приходомъ, особенно съ приходомъ говорливаго Минина, компанія оживилась. Нѣкоторые даже попробовали шутить, но шутки эти казались неумѣстными. Положеніе быть въ близкомъ сосѣдствѣ съ большимъ непріятельскимъ отрядомъ вызываетъ совсѣмъ нешутливыя мысли.

— Майоръ, послали вы донесеніе въ штабъ?

— Давно. Жду отвѣта. Посмотримъ, сколько-то пришлютъ намъ помощи. Не можетъ же быть, чтобы насъ оставили на жертву.

— Если и пришьютъ, такъ только нѣсколько ротъ. Что это за помощь,—сказать одинъ молодой офицеръ.—Одно, жаль, если искалѣчать въ такомъ незначительномъ дѣлѣ. Что тутъ дѣлать? Намъ будутъ бить, а мы будемъ падать. То ли бы дѣло большое сраженіе! Не совѣстно и рану получить. Лестно рассказать было бы, что получилъ ее въ такомъ-то сраженіи.

— Да вы что, за славой сюда пришли? Такъ ужъ это вы—ахъ, оставьте вашъ характеръ!—отрѣзалъ Мининъ.—Видите, подавай ему большое сраженіе! Не все ли равно гдѣ драться!

— Конечно, но я говорю про мое желаніе. Я, такъ сказать, разсуждаю.

— И что тутъ за разсужденія!—вмѣшался одинъ изъ ротныхъ командировъ.—Разсуждать не мѣсто и поздно. Надѣлъ бы фракъ, тогда и разсуждай сколько хочешь. А теперь молчи, дѣлай то, что прикажутъ. Въ мирное время жалованье получалъ, казенный хлѣбъ ѣлъ,—ну, и нишкни. Терпѣть не могу этихъ пустыхъ разговоровъ. Я тебѣ не разъ говорилъ, не болтай вздора, а ты опять за свое.

— Оставь ты его, пусть мелеть.

— Не могу. Мало ли кому что хочется! У меня вонъ жена да пятеро ребятъ остались дома, да и то я молчу. А скорѣй бы могъ роптать, что попалъ въ такую западню. То-есть ни къ чорту-то вы не годитесь, нынѣшняя молодежь. Нѣтъ-то въ васъ нашего кадетскаго духа!

Разговоръ этотъ шелъ вполголоса; въ отрядѣ же было такъ тихо, что отчетливо слышны были даже шопотъ и сдерживаемый глухой кашель. Курить было воспрещено; офицеры позволяли себѣ

эту вольность, опустившись на дно блиндажа и накрывшись пальто.

Послышался топотъ лошади: то казакъ возвращался изъ штаба, куда ѣздилъ съ донесеніемъ.

— Ну, что сказали? Кого видѣлъ?

— Штаба начальника. Вотъ извольте, записка. Приказали сказать, чтобы не сумѣвались. Къ свѣту помочь пришлюгъ.

Это свѣдѣніе успокоило насъ. Всѣ стали расходиться, чтобы найти мѣстечко уснуть. Немного спустя прѣхалъ казакъ съ аванпостовъ и доложилъ, что въ турецкомъ отрядѣ все стихло и незамѣтно никакого движенія. Казакъ хотя и тихо проговорилъ свой докладъ, но солдаты подслушали его, и между ними послышались радостныя восклицанія:

— Ну, ребята, спи! Ночью ничего не будетъ. Должно-быть, за день-то и „онъ“, окаянный, измучился!

И все стало стихать: каждый дорожилъ этими нѣсколькими часами, чтобы подкрѣпить свои силы.

Я пошелъ въ свою роту сообщить, чтобы спали спокойно, такъ какъ пока опасности нѣтъ. Подойдя, я услышалъ негромкій разговоръ.

— И самъ, братъ, не знаю, такъ щемить сердце, какъ голубь бьется.

— Чего ты, Раковъ, дуже кручинишься. Эка штука!

— Ты вотъ молодъ, тебѣ и ничего. И я бы тоже говорить. А у меня семья. Теперича мальчонку восьмой годокъ. Ужъ такой-то мальчонка,— на всѣ руки! Что тебѣ корабль по лужѣ пустить, что тебѣ мельницу на дождевомъ ручѣ прила-

доть... Нѣтъ, братъ, должно-быть, не видать мнѣ ихъ больше!

— Плюнь ты на это, Раковъ, плюнь. Видишь, какое на тебя „равнодушіе“ напало!

Но тутъ говорившіе, вѣроятно, замѣтили меня и умолкли. Нѣсколько головъ приподнялось съ земли.

— Ну, ребяташки, усни! Опасности нѣтъ. Набирайся силы. Завтра будетъ здоровая работа,—проговорилъ я вполголоса.

— Ужъ мы постараемся, ваше благородіе, охулку на руку не положимъ,—такъ же тихо отвѣтило мнѣ нѣсколько голосовъ, и прилегли къ землѣ.

— Алексѣевъ,—позвалъ я.

— Сейчасъ.

Вмѣстѣ съ Алексѣевымъ подошелъ еще кто-то.

— Кто это?

— Шмелевъ, ваше благородіе.

— А! тебя-то мнѣ нужно. Давно прибылъ?

— Никакъ нѣтъ. Только что.

— Чего же ты копался?

— Никакъ невозможно было, ваше благородіе. Болгарамъ не хотѣлось въ подводы итти, они и понадѣли худыя колеса. Нарочнаго назадъ посылалъ. Изъ силъ выбились, за весь день одну корочку поглотали.

— Отчего жъ на мѣстѣ колесъ не осмотрѣли?

— Суетно шибко было да и въ голову не пришло, а главная причина—въ потемкахъ выступали.

— Ты бы до свѣта въ деревнѣ остался при кухнѣ, если измучился очень.

— Нѣтъ ужъ, ваше благородіе, гдѣ рота, тамъ и я.

Сдѣлавъ распоряженіе, я отошелъ опять къ блиндажу. Тамъ ужъ никого не было; не слышно было ничьихъ голосовъ. Кругомъ мертвая тишина, ничто не шелохнется, только изъ деревни доносился отдаленный лай собакъ, да вѣтеръ изрѣдка шумѣлъ въ составленныхъ въ козлы ружьяхъ, какъ бы веселя и освѣжая ихъ для предстоящаго дѣла.

— Кто это тутъ стоитъ? Да это мой командиръ! Что вы тутъ дѣлаете? Или астрономіей занимаетесь?—проговорилъ подошедшій ко мнѣ Мининъ.

— Спать что-то не хочется. А вы гуляете?

— Какое гуляю? Я было прилегъ, да вѣтромъ пронизываетъ. Хочу вотъ за брустверъ. Пойдемте-ка.

Мы подошли къ брустверу. Спавшій артиллерійскій офицеръ окликнулъ насъ:

— Кто это?

— Кто? Мы. У васъ, кажется, тутъ найдется мѣстечко, гдѣ вздремнуть. А вы ужъ успѣли уснуть.

— Нѣтъ еще. Все что-то мерещится. Ужъ я и столбы считалъ, и на засѣянное поле смотрѣлъ, и по морю ѣздилъ—не беретъ. Должно-быть, потому, что холодно.

— А вотъ погодите, мы ляжемъ, такъ теплѣе будетъ. Э, да у васъ тутъ отлично. Песчаная перина, подушка въ сажень вышины, спи—не хочу!

Песчаный тюфякъ оказался сноснымъ, но земляная подушка была непріятна. Я подложилъ подъ голову рукавъ отъ того пальто, которымъ укрывался и на которомъ лежалъ, но все-таки головѣ

было холодно, и я принужденъ былъ накрыться съ головой. Сдвинувшись спинами, мы остались довольны этимъ первобытнымъ способомъ согрѣться.

— Тепло вамъ?—спрашивалъ я моего сосѣда.

— Славно,—отвѣчалъ онъ, едва шевеля губами.

Счастливецъ скоро заснулъ; мнѣ же это никакъ не удавалось. Закрою плотно глаза, изо всѣхъ силъ стараюсь заснуть, но думы неотвязныя преслѣдуютъ и гонятъ сонъ. И чего только не перебивало въ моей головѣ за эту ночь! Вся жизнь съ удивительною ясностью промчалась въ моемъ воображеніи. Вотъ я мальчикъ, беззаботно играющій съ братьями. Лѣто. Деревня. Уборка хлѣба. Возять снопы. Мы разсѣлись верхомъ на запряженныхъ въ телѣгу лошадей и мчимся въ поле. Сколько беззаботнаго веселья и удовольствія! Вотъ матушка увидѣла, сердится, боится, что попадемъ подъ колесо, ведетъ насъ домой. Далѣе представляется, что я въ глухомъ лѣсу,—слышится безконечное „ау“. Мы шалимъ, стараясь отзывать на разные голоса, а потомъ, когда всѣ съ набранными грибами собираются итти домой, мы прячемся за сосѣдніе кусты и не выходимъ, чтобы попугать, а затѣмъ разомъ выскакиваемъ и съ крикомъ мчимся къ собравшимся. Тутъ начинаются лѣсни, и мы возвращаемся домой. Далѣе меня везутъ въ корпусъ. Боже мой, сколько горя! Меня пугаетъ не то, что я поступаю въ корпусъ, а то, что я долженъ разстаться съ матушкой. Тутъ мнѣ представилось, какъ она пріѣхала въ послѣдній разъ въ корпусъ. Какою горячею материнскою любовью горѣлъ ея прощальный взглядъ и какія неутѣш-

ныя слезы лились изъ ея чудныхъ и кроткихъ глазъ!.. Это воспоминаніе никогда еще такъ живо не являлось мнѣ. Можетъ-быть, это было оттого, что я былъ наканунѣ такого дня, когда приходилось думать не объ одномъ только живомъ; можетъ-быть, и нервы были слишкомъ возбуждены, но я видѣлъ образъ матери подлѣ себя, чувствовалъ ея дыханіе на своемъ лицѣ... Я открылъ глаза—и видѣніе исчезло. Кругомъ та же тишина и покой, но у многихъ ли изъ насъ былъ онъ на душѣ!

„Господи, да засну ли я сколько-нибудь“, подумалъ я и хотѣлъ повернуться съ отлежалаго бока, но, вспомнивъ, что могу этимъ лишить себя теплоты, а сосѣда—и сна, я только поправился и опять отдался прежней заботѣ заснуть, но сна опять нѣтъ. Опять замелькало прошлое, возставая какъ туманныя картины.

Вотъ я наканунѣ выпуска. Послѣ тяжелыхъ семи лѣтъ, проведенныхъ въ стѣнахъ корпуса, молодое сердце рвется на свободу. Жизнь рисуется очаровательнымъ праздникомъ; вспоминается рядъ увлеченій, страданій, разочарованій, сожалѣній и, въ концѣ-концовъ, лишь упреки самому себѣ. Какъ теперь являлось удобнымъ то, что прежде казалось невозможнымъ! Какимъ укоромъ награждалъ себя за то, что прежде казалось естественнымъ. Это былъ мимолетный отчетъ и беспощадная критика всему своему прошедшему. „Теперь все руками разведешь,—думалось мнѣ,—когда проводишь послѣднюю ночь, можетъ-быть, въ этомъ мірѣ, а возврати меня туда же, къ этому прошедшему,—и опять начнется рядъ ошибокъ“...

Незадолго до разсвѣта я заснулъ глубокимъ сномъ. Видѣнія измѣнились. Я видѣлъ несмѣтныя толпы турокъ, и пѣшихъ и конныхъ, со звѣрскими лицами, двигающихся на насъ, приказывалъ стрѣлять чаще, видѣлъ, какъ падали массами враги, слышалъ раздававшіеся около меня стоны, чувствовалъ, какъ нѣсколько пуль пронизали меня безо всякой боли и приковали къ мѣсту. Я дѣлалъ усилія подняться, кричалъ, чтобы меня вынесли и не оставляли туркамъ. Волненіе мое было такъ велико, что я вздрогнулъ, проснулся и даже разбудилъ артиллериста.

— Что это вы, Богъ съ вами! Меня-то испугали. Вѣрно, приснилось очень непріятное что-нибудь?

— А неужели вамъ нѣтъ?

— Снилось какая-то чертовщина; только я отлично спалъ.

Разсвѣло. Въ ротахъ замѣтно движеніе. Нѣкоторые солдаты сидятъ, нѣкоторые молятся, другіе съ котелками въ рукахъ потянулись къ колодцу. Офицеры неподалеку отъ бруствера спали крѣпкимъ сномъ... Немного спустя, пріѣхалъ казакъ съ донесеніемъ, что въ лагерьъ турецкомъ замѣтно какое-то движеніе. Весь бивуакъ быстро поднялся на ноги.

— Господа,—обратился къ намъ майоръ,—пожалуйте ко мнѣ, обсудимъ, какъ намъ быть. Насъ три роты, непріятеля много. Смотрите сами.

Мы по очереди брали бинокль, и нашимъ глазамъ представлялись два большіе лагеря. Разстояніе до нихъ невелико, а подкрѣпленіе, хотя и обѣщали,

нейдетъ. Пока мы разсуждали, что предпринять, солдаты замѣтили двигающіяся вдали войска.

— Ваше высокоблагородіе,—подбѣжалъ мой Матюшкинъ,—подкрѣпление идетъ.

Мы посмотрѣли на дорогу и увидѣли артиллерію и пѣхоту, спускающуюся съ горы. Охъ, какъ отлегло у насъ отъ сердца. Черезъ четверть часа они были у насъ. Такимъ образомъ составилъ у насъ отрядъ изъ десяти ротъ пѣхоты, восьми орудій и полка казаковъ. Мы остались на той же маленькой позиціи, которую наканунѣ избрали для трехъ ротъ. Намъ это казалось страннымъ, но разсуждать было нельзя. Мы заняли указанныя мѣста, и лопаты начали свое дѣло. Турецкій лагерь былъ виденъ намъ очень хорошо и сдѣлался предметомъ самыхъ оживленныхъ шутокъ во время работъ.

— Что, Петровъ, какъ ты думаешь, что теперь турки дѣлаютъ? Видятъ ли они, какъ ты ловко землю ковыряешь?

— Отвяжись,—говорилъ на это мрачно Петровъ,—не ко время зубы скалишь. Неизвѣстно, какую пѣсню будешь пѣть черезъ часъ. Лучше лобъ крести.

Шутникъ поумолкъ. Въ другомъ мѣстѣ также смѣхъ.

— Ты думаешь, отчего они на насъ сегодня утромъ не напали? Чего ловчѣй было. Ну-ка, разгадай.

— А почему я знаю?

— То-то вотъ, не головой ты думаешь. Они, братъ, каждое утро обмываются; по-ихнему, это намазъ. Ну, извѣстно, скоро ли всѣмъ перемыться;

тоже вѣдь не одинъ человѣкъ. Опять же теперь рано, холодно, вотъ они и ждутъ, пока солнышкомъ обогрѣтъ.

— Здоровъ этотъ Ефимовъ брехать. Цѣлую исторію вывелъ. Ну, ребята, наддай! Коли дѣло не завяжется, предъ обѣдомъ водку пить будемъ, ротный обѣщаль.

— Тише ты! Самъ ротный недалеко стоитъ.

— Нѣтъ, братъ, водки намъ не пить! Ты нешто не слышалъ, казакъ прѣзжалъ и сказывалъ, что перешли на эту сторону.

Однако водку пить пришлось. Было десять часовъ, а непріятель не показывался. Сваренный обѣдъ привезли въ котлахъ на позицію, и рота пообѣдала. Такъ какъ удачное наступленіе турокъ на Домогилу могло имѣть для насъ серьезныя послѣдствія, то къ одиннадцати часамъ сюда были уже стянуть цѣлый полкъ, двѣ батареи и долженъ былъ прибыть еще казачій полкъ. Къ отряду прибылъ генералъ и офицеръ генеральнаго штаба. Прибывшія войска опять разставили на занятой уже позиціи, расширивъ ее немного въ сторону. Вездѣ закипѣли земляныя работы. Насъ, какъ роту прикомандированную, поставили впереди всѣхъ, на такомъ мѣстѣ, что мы должны были принять первый натискъ. Мы сознавали наше опасное положеніе, но покорялись своей участи.

— Знаете что,—говорилъ Мининъ,—а вѣдь насъ преподло поставили. Заранѣе пиши письма къ родителямъ.

— Я говорилъ командиру, что мы бесполезно обрекаемся на жертву. Не принялъ во вниманіе.

Значить, придется тутъ стоять. Приставать нечего, а то подумаютъ, что мы струсили.

Въ это время къ недалеко стоящей отъ насъ артиллеріи подѣхалъ какой-то толстый артиллерійскій полковникъ.

Онъ осмотрѣлъ позицію и рѣзко спросить офицера:

— Кто выбралъ эту позицію?

— Я не знаю. Мы пришли, она уже была занята. Генераль осматривалъ ее.

— Здѣсь есть кто-нибудь изъ генеральнаго штаба?

— Есть, капитанъ какой-то.

— Господи, Господи, это ни на что не похоже! Гдѣ генераль?

— Вонъ онъ, ѣдетъ сюда.

Полковникъ шагомъ поѣхалъ ему навстрѣчу и, приложивъ руку къ козырьку, заговорить:

— Ваше превосходительство, позвольте вамъ доложить, эта позиція никуда не годится. Извольте посмотреть: эта гора командуетъ надъ нами, про ту и говорить нечего, даже и отъ той, дальней, тоже будетъ доставаться. Мы въ ящикѣ. Стоитъ только туркамъ поставить на эти высоты орудія, и насъ перестрѣляютъ, какъ куръ.

— Знаете, мнѣ тоже это казалось, но тутъ присланъ офицеръ генеральнаго штаба; онъ и распорядился.

— Да, наконецъ, не угодно ли посмотреть, артиллерія стоитъ рядомъ съ первою линіей пѣхоты. Это ужъ ни на что не похоже.

Во время этого разговора прискакалъ офицеръ генеральнаго штаба. Генераль обратился къ нему

— Послушайте, капитанъ, полковникъ находить эту позицію неудобною.

— Точно такъ, ваше превосходительство, позиція эта имѣетъ недостатки, но такъ какъ поблизости нѣтъ лучше, то я и избралъ ее.

— Какъ нѣтъ!—вскрикнулъ полковникъ.—А это что? Не позиція?

И онъ показалъ пальцемъ на отлогую возвышенность, находившуюся въ полуверстѣ отъ насъ и прилегавшую къ деревнѣ Домогилѣ.

— Этою позиціей,—продолжалъ полковникъ,—пользовались нѣсколько столѣтій тому назадъ. Вы видѣли тамъ два громадныя кургана? Это двѣ могилы убитыхъ въ сраженіи. Ваше превосходительство, позвольте васъ попросить отвести войска назадъ и все, что тутъ накопано, зарыть.

Офицеръ генеральнаго штаба отъѣхалъ сконфуженный, рассматривая ту позицію, на которую указывалъ полковникъ.

Сейчасъ же было приказано срыть укрѣпленія и постепенно отойти назадъ на новую позицію. Закипѣла работа, и мы съ облегченнымъ сердцемъ уходили съ этого ужаснаго мѣста, гдѣ обречены были на гибель. Новая позиція оказалась прекрасною. На гребнѣ возвышенности разставлены были батареи, которыя могли обстрѣливать слегка понижающуюся мѣстность болѣе чѣмъ на версту, а за гребнемъ совершенно укрытою стала пѣхота. Рядомъ съ нами была деревня, гдѣ помѣщались кухни на берегу ручья. Часа въ два пріѣхалъ корпусный командиръ, объѣхалъ войска, похвалить за бравый видъ, напомнилъ о чувствѣ долга, и мы остались ждать перевѣдаться съ

турками, а въ ожиданіи этого растянули даже палатки.

Въ пятомъ часу на долинѣ Кара-Ломы раздались два орудійные выстрѣла. Во всемъ отрядѣ пронеслась общая команда: „Ранцы надѣвать!“ Всѣ стали быстро одѣваться и строиться. Я выбѣжалъ къ ротѣ. Фельдфебель доложилъ мнѣ, что съ рядовымъ Духовымъ сдѣлалось дурно. Я обернулся и увидѣлъ его блѣднаго, какъ полотно, съ неподвижнымъ взглядомъ, сидящаго на землѣ за фронтомъ. Духовъ былъ хорошій солдатъ, и я подошелъ освѣдомиться, что съ нимъ. Но раньше, чѣмъ я спросилъ у него, до меня долетѣлъ говоръ его товарищей:

— У, дылда большая, клюква владимирская! Медвѣжья болѣзнь приключилась... Во чортъ! Пробрать бы его хорошенько!

Дѣйствительно, Духовъ до выстрѣловъ и до команды надѣвать ранцы былъ совершенно здоровъ, хотя и скученъ, но при этой командѣ онъ затрясся, упалъ на землю и какъ бы пересталъ понимать, что происходило вокругъ него. Подойдя къ нему и видя его въ такомъ положеніи, я самъ растерялся и не зналъ, на что рѣшиться. Съ одной стороны, его убитый видъ вызывалъ состраданіе, съ другой—глухой ропотъ еще невыстроившейся роты, протестовавшей противъ такой трусости, ставили меня въ тяжелое положеніе.

— Вставай, Духовъ,—заговорилъ я,—стыдись, посмотри, какъ смотрятъ на тебя твои товарищи! Собирайся съ духомъ. Вспомни, ты присягалъ.

— Ваше благородіе, отецъ родной! Я всѣмъ сердцемъ... Я помню... я присягалъ... явите божескую милость...

И онъ смотрѣлъ безсмысленными глазами, а руки висѣли какъ плети. Къ этой сценѣ подошелъ Мининъ.

— Что это? А! Одинъ ужъ... Видно, пушка не свой братъ!

Въ ротъ раздался смѣхъ.

— Что вы съ нимъ церемонитесь? Дать ему разъ пять въ морду. У!.. Только роту срамить! Вставай!

И онъ схватилъ его за шиворотъ.

— А то вотъ такъ и удушю. Да еще моего взвода!

Когда Мининъ выпустилъ его изъ рукъ, Духовъ упалъ на землю.

Прискакавшій адъютантъ объявилъ, что приказано обождать надѣвать ранцы. Я воспользовался этимъ случаемъ и приказалъ немедленно отвести Духова въ лазаретъ. Двое съ трудомъ дотащили его; дорогой онъ, выкидывая ногами, какъ разбитая лошадь, вполголоса твердилъ: „Господи, помилуй, Господи, помилуй“... Докторъ нашелъ у него сильное потрясеніе всей нервной системы, и онъ отправленъ былъ въ Россію.

Тревога оказалась напрасною. Слышанные выстрѣлы, продолжавшіеся до вечера, раздавались изъ рекогносцировочнаго отряда турокъ, направленного противъ Тростяника и наткнувшагося на наши аванпосты.

Предъ самымъ вечеромъ казаки ухитрились-таки изловить двухъ турецкихъ пѣхотинцевъ, которые шли за водой на Кара-Ломъ. Мы подозрѣвали, что они и вышли съ тою цѣлью, чтобы попасться въ плѣнъ, потому что ружья были при нихъ, но

они не сдѣлали ни одного выстрѣла и вообще не оказали никакого сопротивленія. Ихъ лица были некрасивы и унылы; платье почти новое, но сидѣло мѣшкомъ. Одинъ изъ нихъ флегматично рассказывалъ, что они изъ отряда Гассанъ-ефенди, что ихъ тутъ до ста таборовъ, съ которыми Гассанъ долженъ былъ итти на Домогилу, но не пошелъ потому, что замѣтилъ стягиваніе нашихъ войскъ.

Такъ какъ почти одновременно съ прїѣздомъ корпусного командира прислали еще шесть ротъ съ батареями, то мы вздохнули свободно и уже подшучивали надъ своими недавними опасеніями.

Ночь прошла тихо, но мы не были спокойны и рано утромъ отправились смотрѣть въ бинокль на турецкій лагерь, но его уже не было. Вскорѣ и казаки донесли, что турки снялись съ позиціи и отступили; генераль не хотѣлъ этому вѣрить и, опасаясь обмана, медлилъ отпустить насъ къ полку, стоявшему въ семи верстахъ отъ насъ, пока дальніе разъѣзды не донесли, что непріятель дѣйствительно отступилъ. Тогда онъ разрѣшилъ намъ присоединиться къ отряду.

Часа въ два мы выступили и потянулись по дорогѣ, пролежавшей неподалеку отъ наканунѣ занимаемой позиціи. Щемящее чувство ощущали мы, проходя мимо этого мѣста. Оно навсегда у всѣхъ останется въ памяти. Въ эту темную, холодную ночь, лежа на сырой землѣ, всѣ мы много передумали, перечувствовали...

У насъ невольно рождался вопросъ: что это былъ за отрядъ и отчего онъ ушелъ. Онъ не былъ такъ великъ, какъ говорили плѣнные, но,

вѣроятно, былъ все-таки значителенъ. Зачѣмъ же ему было уходить? Мы тогда еще не знали, какая страшная неурядица царила въ арміи нѣмца-турка, Мегметъ-Али. Паши считали почти унижительнымъ ему повиноваться. Фланговое движеніе Гассанъ-ефенди было предпринято сейчасъ же послѣ дѣла подъ Аблавой. Дѣло это имѣло для насъ очень важныя послѣдствія. Мы хотя и должны были бросить укрѣпленную позицію, но въ день битвы остались на своихъ мѣстахъ, чѣмъ и пріостановили назойливое наступленіе турецкой арміи. Войска наши были утомлены и понесли значительную убыль. Предприми нерѣшительный египетскій принцъ такое же энергичное наступленіе, какъ подъ Аблавой,—одной дивизіи, стоявшей у Тростяника, трудно было бы удержаться. Мегметъ-Али, подошедшій уже къ Синанъ-кюйю, могъ, не опасаясь удара во флангъ, двинуться на Бѣлу, куда отъ Домогилы пошелъ бы и Гассанъ. Бѣла же, какъ главный складъ запасовъ, была для насъ важнымъ пунктомъ. Но Гассанъ ушелъ, и мы съ легкимъ сердцемъ поспѣшили къ боевой семьѣ—полку, котораго такъ давно не видѣли. День былъ жаркій, у солдатъ были ранцы на плечахъ, но рота шла бодро и скоро. Мы съ Миннинымъ шли впереди. Мининъ потиралъ руки и лукаво улыбался. Вся длинная широкоплечая, немного сутуловатая фигура его, съ живыми карими глазами и небольшою черною бородкой была очень оживлена.

— Однако это тоже ловко: пришли, поляскали другъ на друга зубами и разошлись. За какимъ псомъ приходилъ сюда этотъ Гассанъ! Должно-

быть, онъ, какъ мужчина любопытный, захотѣлъ посмотреть на насъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ принцъ деликатный, не захотѣлъ связываться съ нами.

Между солдатами разговоръ шелъ о томъ же. Маленькій коренастый Матюшкинъ, идя рядомъ со Шмелевымъ, сыпалъ туркамъ обвиненія:

— Теперича неизвѣстно, чья бы взяла, а все же этотъ самый Гассанъ долженъ былъ попытаться, а то вѣдь за такаія дѣла по шапкѣ. Предать бы его, нехриста, военному суду— вотъ бы и зналъ! Намъ бы теперича, можетъ, и не жить, а онъ насъ пустилъ. Какъ же такъ?..

— Какъ вы это скоро рѣшили! Неужели онъ это такъ, безо всякаго резону? Тоже вѣдь, чай, и тамъ законы есть.

Ротный риѣмистъ и музыкантъ Сорокинъ уже складывалъ пѣсню и подгѣввалъ вполголоса при общемъ одобреніи:

„Турка близко подходитъ,
Намъ ничуть не повредилъ.
Охъ, калина, охъ, малина!
Видны съ горки намъ палатки,
Съ насъ, братъ турка, взятки гладки.
Охъ, калина, охъ, малина!
Къ твоему счастью ты смирился,
Не то бъ нами подавился.
Охъ, калина, охъ, малина!..“

Пѣсня длилась бесконечно.

— Что, братушка, далеко до Баницы?

— Недалече, братушка, полчаса (двѣ съ половиною версты) за горы.

Но эти полчаса длились долго. Пройдя еще добрый часъ, мы, наконецъ, вышли въ долину Баницы и увидѣли раскинутый бивуакъ.

— Это онъ, это онъ, нашъ полкъ родной!— заплѣлъ Мининъ.—И-ихъ, какое мы сейчасъ свиданіе сочинимъ—страсть!

Вотъ и полкъ. Солдаты высыпали изъ палатокъ, слышались здравствования и неизбежныя подтруниванья съ обѣихъ сторонъ.

Наконецъ рота стала на мѣсто, я явился начальству, и мы слились съ полкомъ.

Такъ окончила свои походы забытая рота.

Эвакуація.

(Разсказъ офицера).

Это было во время послѣдней русско-турецкой войны. Военно-временный госпиталь, куда помѣстили меня, переполненъ былъ ранеными и больными. Въ шатрахъ, гдѣ помѣщались офицеры, не оставалось ни одной свободной кровати, а въ юрты солдаты набивались, какъ сельди въ бочки. Рѣдкій день проходилъ, чтобы изъ отрядовъ не подвозили пострадавшихъ въ дѣлахъ съ турками и заболѣвшихъ разными недугами. Главный врачъ и смотритель госпиталя терялись, не зная, что дѣлать съ такимъ переполненіемъ, и съ нетерпѣніемъ ждали транспорта для эвакуаціи присланныхъ изъ отрядовъ. Но проходили дни, а о перевозочномъ обозѣ не было ни слуха ни духа. Онъ долженъ былъ прослѣдовать съ провіантомъ въ полки, стоявшіе на позиціи, а ужъ на обратномъ пути „захватить“ насъ. Но его прибытіе замедлилось совпаденіемъ нашего сраженія съ дѣломъ подъ Плевной, гдѣ, какъ извѣстно, выбыли изъ строя тысячи людей, которыхъ и пришлось перевозить въ госпитали.

Я находился въ самомъ печальномъ положеніи. Не имѣя возможности не только свободно ворочаться отъ полученной раны, но даже кашлянуть и сдѣлать глубокій вздохъ, я еще мучился отъ безпощадно трепавшей меня лихорадки. Начавшаяся со второго дня раненія небольшимъ ознобомъ, она постепенно впиалась во все мое существо. Пароксизмы стали настолько сильными, что у меня не только не попадалъ зубъ на зубъ, а дрожь въ тѣлѣ походила на сотрясеніе камертона, и приступы болѣзни сопровождались невыносимой ломотой во всемъ тѣлѣ. Къ довершенію бѣды, подулъ сѣверный вѣтеръ, и въ воздухѣ такъ поствѣжѣло, что наши шатры не могли сопротивляться холоду. Особенно неприятно было озябнуть ночью. Чтобы укрыться, приходилось прибѣгать къ посторонней помощи и звать служителей, которые и безъ того были измучены нами. Не знали отдыха и доктора. Ихъ, сколько могу припомнить, было, кромѣ старшаго врача, четыре да три курсистки медицинскихъ курсовъ выпускного класса. Не могу безъ умиленія вспомнить этихъ людей. Мы видѣли подлѣ себя не только медиковъ, но друзей въ лучшемъ значеніи этого слова. Среди глубокой ночи, безъ зова они появлялись у изголовья тѣхъ „трудныхъ“, надъ кѣмъ долженъ былъ быть досмотръ. Изъ курсистокъ отличалась одна миловидная блондинка, съ очень нѣжнымъ цвѣтомъ лица и кроткимъ взглядомъ. Это была по виду типичная кисейная барышня, и никто не повѣрилъ бы, что она считалась великой искусницей по части извлечения изъ тѣла засѣвшихъ пуль и рѣзала, какъ самый заправскій хирургъ.

Но, несмотря на заботы и попеченія о насъ, мы рвались попасть въ теплое помѣщеніе и обратиться изъ госпиталя, куда, къ крайнему негодованію старшаго врача Завадскаго, не было тогда доставлено даже необходимаго количества фуфаякъ.

День шель за днемъ, но транспортъ, ожидаемый нами съ такимъ нетерпѣніемъ, не показывался. Наконецъ настать желанный часъ избавленія. Часовъ около девяти утра застучали по шоссе колеса, и обозъ съ сухарями прошелъ въ отрядъ, а на другой день на разсвѣтъ прибыть къ намъ. Нашъ муравейникъ зашевелился. Солдаты, назначенные къ отправкѣ, собрали свои пожитки и двинулись къ телегамъ. Кого вели подъ руки, кто самъ ковылялъ, а кого несли и на носилкахъ.

Когда меня одѣли, я тоже выпелся изъ шатра и пошелъ поблагодарить докторовъ за ихъ сердечныя отношенія къ намъ и застать старшаго врача возлѣ кровати умирающаго болгарина. Онъ былъ страшно изуродованъ и метался въ предсмертной агоніи. Въ изголовьѣ стояла его жена и горько плакала. Въ другое время такая картина, конечно, потрясла бы насъ, но тамъ, гдѣ смерть вѣяла надъ многими, и послѣ только что видѣннаго поля сраженія, горе несчастной женщины вызывало не состраданіе, а чувство негодованія на то, что люди такъ звѣрски расправляются со своими ближними. Увидѣвъ меня, докторъ подошелъ проститься, и я сердечно пожалъ ему руку.

Въ это время начальникъ транспорта и врачъ, назначенный сопровождать насъ, усаживали боль-

ныхъ на телѣги. Очень тяжело раненыхъ клали по одному и по два на повозку, а кто могъ сидѣть—по четыре. Меня помѣстили съ товарищемъ по полку, большимъ шутникомъ и весельчакомъ, Алексѣемъ Ивановичемъ Берцовымъ. Намъ положили два тюфяка, набитыхъ соломой, и двѣ подушки, а сверху устроили небольшой навѣсъ отъ дождя. Однимъ словомъ, озаботились такъ, какъ только можно было озаботиться, но эти заботы не избавили меня отъ страшныхъ мученій. Несмотря на то, что отъ большихъ пріемовъ пищи я почти оглохъ и чувствовалъ ужасный шумъ въ головѣ, пароксизмъ лихорадки приближался, и боль въ раненомъ мѣстѣ мучительно отзывалась при каждомъ толчкѣ и движеніи. Но я, боясь заболѣть тифомъ или дизентеріей, отъ которыхъ не одинъ изъ насъ отошелъ въ вѣчность, рѣшилъ все переносить.

Наконецъ распоряженія окончены, больные размѣщены, и послышалась команда: „Трогай!“

Пока обозъ ѣхалъ по грунтовой дорогѣ, тряску можно было еще терпѣть, но вотъ мы выбрались на шоссе, и тутъ начались терзанія. Каждый камешекъ, на который насакивало колесо, причинялъ жестокия страданія. Имѣя въ распоряженіи только одну руку, я не могъ даже съ достаточной силой удерживаться отъ качки и поворачиваться. Только благодаря любезности моего спутника, я не терялъ послѣдняго терпѣнія. Но эта попытка была только началомъ моихъ мукъ.

Проѣхавъ верстъ пять, я почувствовалъ, какъ по мнѣ сначала стала пробѣгать изрѣдка зловѣщая дрожь, потомъ ность, уши и руки похолодѣли,

и затѣмъ уже меня стало трепать. Я поднялъ воротникъ ватнаго пальто, закутался одѣяломъ, дышалъ въ край его, чтобы не втягивать свѣжаго воздуха, и напрягалъ всѣ силы, чтобы не издавать стоновъ и не выказывать малодушія передъ своимъ товарищемъ, и не имѣлъ силъ владѣть собой.

Рѣдко кто не болѣлъ перемежающейся лихорадкой, но она ничто по страданіямъ съ другой формой—болгарскою, особенно съ такой, которая повторяется черезъ два дня въ третій. Сенкевичъ въ своихъ письмахъ изъ Африки рассказываетъ, какъ люди, заболѣвшіе африканскою лихорадкой, отъ отчаянія бросались въ море; я понялъ это и съ восторгомъ встрѣтилъ бы смерть, лишь бы освободиться отъ нечеловѣческихъ мукъ. Къ довершенію всего нашъ обозъ, тянувшійся на версту, не могъ итти непрерывною линіей, нѣкоторыя изъ повозокъ отставали и транспортный офицеръ то и дѣло командовалъ:

— Подтянись!

Это слово было для меня въ своемъ родѣ крикомъ палача: „Поддержись, ожгу!“ Услышавъ приказаніе, солдаты, правившіе лошадьми, хлестать ихъ, и онѣ мчались по неровному шоссе, отъ ужасныхъ толчковъ насъ трепало, и мы подпрыгивали. Что я чувствовалъ въ эти минуты, и теперь вспомнить страшно!

Передъ вечеромъ ознобъ утихъ, и наступилъ жаръ. Въ такомъ положеніи, съ помощью другихъ, я вылѣзъ изъ телѣги, когда транспортъ прибылъ на пунктъ Краснаго Креста. Я едва двигалъ ногами, и меня, не раздѣвая, уложили на кровать.

— У васъ, вѣрно, сильная жажда? Не хотите ли вы чаю?—обратилась ко мнѣ сестра милосердія.

Я старался разсмотрѣть черты лица говорившей, но воспаленные глаза плохо слушались, и я, не разобравъ, кто обращался ко мнѣ, тихо проговорилъ:

— Да, пожалуйста... дайте мнѣ чего-нибудь...

Черезъ нѣсколько минутъ опять тихій голосъ раздался подлѣ меня:

— Вамъ, вѣроятно, неудобно будетъ самому держать стаканъ. Позвольте, я вамъ налью на блюдечко.

Впавшій въ забытье, я открылъ глаза и увидѣлъ стоявшую подлѣ меня средняго роста милосердную дѣвушку, съ пріятнымъ выраженіемъ лица. Красный крестъ на бѣломъ фартукѣ припадалъ всей ея фигурѣ какую-то святость. Подлѣ нея стоялъ служитель со свѣчей въ рукѣ.

— Если это не обезпоконтъ, то мы немного приподнимемъ васъ и подложимъ подушку. Сидя, вамъ будетъ удобнѣе пить.

Я молча кивнулъ головой. Меня бережно приподняли и придали мнѣ полусидячее положеніе. Сестра налила на блюдечко чаю, ложечкой остудила его и поднесла къ моимъ губамъ. Это сдѣлано было, вѣроятно, потому, что она не надѣялась на мою дрожавшую лѣвую руку. Я съ жадностью выпилъ стаканъ и попросилъ другой, но сестра замѣтила на это:

— Сразу это будетъ много, а погода съ удовольствіемъ принесу вамъ еще чаю.

Меня опустили на подушки, и я скоро впалъ въ забытье. Сколько я пролежать въ такомъ со-

стоянии, не могъ сообразить, но черезъ нѣкоторое время услышалъ подлѣ себя шорохъ и тихій голосъ:

— Вы стонете. Вамъ, вѣрно, нехорошо? Я привела доктора, онъ осмотритъ васъ.

Врачъ, попробовавъ голову и пульсъ, проговорилъ:

— Пока жаръ не кончится, нужно терпѣть.

Сестра опять дала мнѣ стаканъ кислаго чаю, и я, выпивъ, снова погрузился въ безсознательное состояніе. Лежа съ закрытыми глазами, я видѣлъ то огненные круги, то огненные фигуры, отчего вздрагивалъ и просыпался. Особенно мучила и преслѣдовала меня картина только что бывшаго боя. Въ ушахъ раздавались крики, стоны... Я слышалъ пушечную пальбу, свистъ пуль... что-то выкрикивалъ и каждый разъ на нѣсколько мгновеній открывать глаза, чтобы опять впасть въ бредъ.

Это мучительное состояніе постепенно стало проходить, и я почувствовалъ легкую испарину. Наступило полное изнеможеніе. Мнѣ казалось, что я не существую. Въ такомъ состояніи я пролежалъ съ часъ, отдыхая отъ только что перенесенныхъ мученій. Придя нѣсколько въ себя, я оглядѣлся и увидѣлъ, что нахожусь въ просторной болгарской хатѣ, посреди которой стоялъ столъ, накрытый бѣлою скатертью, у стѣнъ стояло нѣсколько кроватей. Это былъ промежуточный пунктъ для ночлега и отдыха эвакуированныхъ въ Зимницы. На этомъ пунктѣ находилась партія сестеръ милосердія.

Ночь, проведенная мною тамъ, навсегда врезалась въ памяти. Къ намъ нѣсколько разъ вхо-

дили одна за другой сестры и, не желая беспокоить больных, говорили вполголоса, а затѣмъ уходили. Только бывшая моимъ добрымъ геніемъ была, вѣроятно, въ тотъ день дежурная, потому что безотлучно находилась при насъ. Я, какъ теперь, вижу ее, сидящую у стола съ опущенной головой на лѣвую руку и погруженную въ глубокую думу. И могла ли она оставаться спокойной, видя столько страданій? Я невольно спрашивалъ себя, что привело ее на этотъ подвигъ? Сознаніе ли гражданской обязанности или христіанскій долгъ, посылающій творить добро и испытывать лишенія?.. И вотъ, когда я задавалъ себѣ подобные вопросы, на порогѣ появился офицеръ въ адъютантской формѣ и проговорилъ негромко:

— Позвольте мнѣ отдохнуть. Я ѣду въ главную квартиру, и меня порядкомъ расколотило.

Она молча показала ему рукой на стулъ.

— Я хочу васъ побеспокоить вопросомъ,—продолжалъ вошедшій: — здѣсь находится госпожа Гирсъ?

— Зачѣмъ она нужна вамъ? Вы, вѣроятно, имѣете къ ней какое-нибудь порученіе?

— Да, имѣю. Но, кромѣ того, всякій русскій офицеръ не можетъ не интересоваться этой личностью. Дочь товарища министра и съ такимъ героизмомъ пошла служить дѣлу милосердія.

— Что же въ этомъ удивительнаго?—перебила она его. — Всякій, кто любитъ свою родину, не смѣетъ оставаться безучастнымъ и обязанъ служить, какъ можетъ. Удивляться этому нельзя.

Офицеръ сдѣлалъ невольное движеніе и почти-тельно проговорилъ:

— Вы такъ рѣшительно отвѣчаете за госпожу Гирсъ, что я невольно начинаю подозрѣвать, что вы именно то лицо, о которомъ я спросилъ.

— Да, это я. Но у меня нѣтъ здѣсь фамиліи, я сестра Анна — и только.

Тутъ адъютантъ передалъ ей поклонъ отъ гусара Б. и сталъ рассказывать штабныя новости и подробности о плевненскомъ сраженіи.

Измученный переѣздомъ, изможденный пароксизмомъ, я заснулъ подъ ихъ разговоръ тяжелымъ сномъ и проснулся въ восьмомъ часу, когда вокругъ меня началось уже движеніе. Едва я открылъ глаза, какъ сестра Анна подошла ко мнѣ и заговорила съ участіемъ:

— Вашъ транспортъ скоро отправляется, но вы слишкомъ слабы. Не лучше ли вамъ пребыть здѣсь день-другой?..

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Ради Бога, не удерживайте меня, — перебилъ я ее. — У меня, дѣйствительно, нѣтъ силъ, но тутъ я не наберусь ихъ, а мнѣ станетъ еще хуже. Какъ-нибудь оттерплюсь дорогой, лишь бы добраться до Россіи. Если умирать, такъ на родинѣ.

По моему возбужденному тону и дрожащему голосу сестра увидѣла, что удержать меня невозможно, и, пожавъ плечами, проговорила:

— Я должна была вамъ передать мнѣніе доктора, но если вы такъ настойчиво желаете отправиться, мы не въ правѣ удерживать васъ. Все-таки вамъ надо подкрѣпиться. Я принесу сейчасъ рюмку портвейна и кусокъ жаренаго мяса.

Послѣ ея ухода я хотѣлъ съ помощью служителя встать, но едва поднялся съ подушки, какъ

почувствовать головокруженіе и долженъ былъ обратно лечь.

Огромная потеря крови послѣ раны, потрясающіе пароксизмы лихорадки, изнурительный потъ и огромное количество принятой хины расшатали мой организмъ. Когда я закрывать глаза, то чувствовалъ себя несуществующимъ, только страшный шумъ въ ушахъ и безпорядочныя мысли, блуждающія въ головѣ, говорили мнѣ о томъ, что я еще живъ. Сознаніе своей беспомощности вызывало послѣднюю энергію, и я рѣшилъ бороться за жизнь до послѣдней возможности. Поднимая нѣсколько разъ голову отъ подушки, я овладѣлъ собой и сѣлъ на кровать. Меня поддерживали служитель и добродушный Алексѣй Ивановичъ Берцовъ, вступившій опять въ свои права добраго товарища.

Этотъ неутомимый человѣкъ былъ вездѣ, какъ дома, и никого не оставлялъ въ покоѣ. Когда я проснулся, первое, что донеслось до моего слуха, это былъ рядъ фразъ, сыпавшихся изъ устъ Алексѣя Ивановича.

— Такъ ты тутъ состоишь служителемъ?—обращался онъ къ подававшему ему сапоги.

— Такъ точно-съ, служителемъ.

— А какой ты губерніи?

— Калужской.

— Хорошая губернія! Я тамъ не разъ бывалъ и тѣсто ѣдалъ. Что же у тебя жена, дѣти?

— Такъ точно-съ, и жена и дѣти.

— Какъ же ты пошелъ сюда?

— Хотѣлось послужить царю-батюшкѣ.

— Молодецъ!

— Радъ стараться!

— На вотъ тебѣ гривенникъ. Выпьешь за мое здоровье.

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше благородіе.

Едва Берцовъ окончилъ свою бесѣду съ служителемъ, какъ вошла сестра. Алексѣй Ивановичъ съ развязностью подошелъ къ ней, протянулъ руку и проговорилъ:

— Здравствуйте!

Та улынулась и поздоровалась.

— А что, сестрица, нельзя ли пропустить „маленькій килишекъ вудки“, какъ говорятъ поляки? Потому въ настоящее время я чувствую большую слабость.

Сестра Анна взглянула на его бравое, здоровое лицо, кивнувъ головой, обѣщала исполнить его желаніе и подала мнѣ подносикъ, на которомъ стояла рюмка вина, хлѣбъ и жаркое.

Выпивъ съ жадностью портвейнъ, я съѣлъ съ аппетитомъ небольшой бифштексъ. Любезность сестры не ограничилась этимъ. Мнѣ подали большую чашку черного кофе. Подкрѣпившись, я не чувствовалъ уже прежней удручающей слабости и смѣло сталъ готовиться въ путь.

Прощаясь съ сестрой Анной, я не могъ удержаться, чтобы не высказать ей того, что чувствовалъ.

— Сестра, сегодня ночью я случайно узналъ, кто вы. Ваше положеніе въ обществѣ слишкомъ высоко, и вы не привыкли къ непосильному труду, который несете здѣсь. Но я не стану разсыпаться въ ненужныхъ похвалахъ, а скажу вамъ отъ имени русскаго человѣка братское спасибо!

Я протянулъ ей свою лѣвую руку и, разставаясь съ ней, едва удержался отъ слезъ. Съ тѣхъ поръ я не встрѣчалъ сестры Анны, но образъ ея до сихъ поръ живетъ въ моей памяти.

Транспортъ тронулся. Опять я лежалъ на тю-фикѣ, и опять подлѣ меня находился Берцовъ. День былъ свободный отъ пароксизма, и этотъ немолкающій говорунъ не былъ уже мнѣ въ тягость, а, наоборотъ, развлекалъ своими безконечными рассказами.

— Знаете, мой другъ, а нашъ экипажъ не напоминаетъ вѣнской коляски. Впрочемъ, будемъ утѣшаться мыслью, что послѣ горькаго сладкое еще слаще покажется, и воскликнемъ: „Терпи, казакъ! Никогда атаманомъ не будешь“. Я, знаете, думалъ, что въ рядахъ нашей побѣдоносной арміи совершу маленькую прогулку въ Болгарію, получу крестикъ и вернусь героемъ на родину. Однако вышло не то, мы тащимся обратно, не солоно хлебавши.

На пути намъ попадались навстрѣчу воинскія части, шедшія въ отрядъ, транспорты хлѣба да изрѣдка болгарская каруца, запряженная парой буйволовъ.

Часовъ около четырехъ дня мы подѣхали къ Дунаю. Невольно припомнилось то время, когда приходилось идти по этому же мѣсту, но съ совѣтъ другими чувствами. Самая рѣка казалась тогда величественнѣе. Проѣхавъ низину, мы поднялись на гору и добрались, наконецъ, до Зимницы, куда свозились раненые и больные со всѣхъ отрядовъ, и отсюда уже направлялись во Фратешты, гдѣ начинался желѣзно-дорожный путь.

Насъ размѣстили по правильно разставленнымъ шатрамъ огромнаго госпиталя, имѣвшаго большой составъ медиковъ и сестеръ милосердія. Изъ нихъ одни были доставлены общиной, а другія явились съ воли. Изъ послѣднихъ сформирована была организованная группа, имѣющая начальницу и старшую сестру, вѣдавшую хозяйственную часть.

Тутъ при обществѣ Краснаго Креста имѣлся громадный складъ всевозможныхъ больничныхъ вещей, теплаго платья и бѣлья. Намъ предлагали фуфайки, одѣяла, шерстяные носки и всевозможные платки. Мы увидѣли, что матушка Русь не скупилась для своихъ сыновъ, ушедшихъ на поле брани, и только удивлялись тому, что здѣсь было всего вволю, тогда какъ въ томъ госпиталѣ, откуда насъ отправили, всѣ мерзли по ночамъ и страшно простуживались, выходя изъ шатровъ безъ фуфаекъ. перевязочныхъ средствъ тоже было изобиліе, но операціи сравнительно дѣлалось немного, такъ какъ оперированныхъ нельзя было надолго задерживать въ Зимницахъ, куда везли массу раненыхъ изъ-подъ Плевны. И намъ сообщили, что мы на другой же день будемъ эвакуированы во Фратешты. Однако постѣ переѣзда слишкомъ сорока верстъ мы положительно не были способны немедленно тронуться въ путь и имѣли дневку.

Всматриваясь въ жизнь такого большого госпиталя, какъ Зимницы, невольно пришлось убѣдиться, что русскіе нравы сопутствуютъ намъ всюду. Кажалось бы, что было дѣлать сестрамъ милосердія, присланнымъ изъ общины съ тѣми, кто пришелъ

добровольно? Однако между ними шла нескончаемая вражда. Объяснилось это тѣмъ, что въ общинѣ находилось большинство женщинъ простыхъ, часто совсѣмъ необразованныхъ, набранныхъ наскоро и не подготовленныхъ, тогда какъ другой отрядъ состоялъ изъ курсистокъ, гимназистокъ и вообще женщинъ воспитанныхъ. Волонтерки вызывали страшную ненависть у общинныхъ и именовались у нихъ не иначе, какъ „левантерки“. Нерасположеніе, главнымъ образомъ, происходило оттого, что офицеры всегда предпочитали пользоваться услугами молодыхъ дѣвушекъ, дѣлавшихъ необыкновенно ловко перевязки, бывшихъ хорошими собесѣдницами и посредницами между больными и докторами. Когда лежавшій офицеръ отказывался отъ услугъ общинной сестры, а требовать къ себѣ волонтерку, то нужно было видѣть взгляды, которыми окидывала ее забракованная. Не разъ дѣло доходило до открытыхъ столкновений, вслѣдствіе чего, какъ я слышалъ потомъ, уже строго распредѣляли мѣсто для работъ, какъ для однѣхъ, такъ и для другихъ. При насъ же неудовольствія никогда не затихали, и общинныя, приступая къ дѣлу, ехидно спрашивали:

— А не позвать ли „левантерку“?

Отдохнувъ сутки, мы должны были тронуться въ Фратешты.

Я съ ужасомъ представлялъ себѣ то, что буду испытывать въ дорогѣ, такъ какъ подходилъ день пароксизма. Опять съ утра я почувствовалъ страшную тоску, вѣрный предвѣстникъ наступленія лихорадки. Благоразуміе подсказывало мнѣ остаться

но, поразмысливъ, я рѣшился рисковать и ѣхать. Во-первыхъ, потому, что свѣжія почти очень безпокоили меня въ госпитальномъ шатрѣ, и я опасался, что непрерывное движеніе транспорта съ ранеными изъ-подъ Плевны можетъ отодвинуть мой отъѣздъ надолго. Поэтому, положившись на русское „авось“, я объявилъ, что не остаюсь больше.

Обыкновенно первые приступы пароксизма начинались у меня около часу дня, и я съ ужасомъ ожидать этого времени. И вотъ оно подошло. Холодъ уже пробѣгалъ полосами по спинѣ, и я уже готовился къ адскимъ мукамъ. Но, къ крайнему моему изумленію, ознобъ не разыгрался въ бурный и потрясающій, а постепенно затихалъ и перешелъ въ незначительный жаръ. Я чувствовалъ, что внутри меня есть какая-то задерживающая сила, не пускающая овладѣть мною болѣзни. Конечно, моею благодѣтельницей была хина, которую я принималъ по 15 и 20 грагъ въ день. Она не могла такъ быстро побороть овладѣвшую мною болѣзнь, но, очевидно, вела съ ней ожесточенный бой, и, какъ результатъ ихъ схватки, были тѣ слабыя ощущенія, которыя я испытывалъ.

Проѣхавъ верстъ пятнадцать по шоссе, мы свернули на проселокъ и отклонились въ сторону, направляясь въ имѣніе румынскаго помѣщика, уступившаго свой домъ Красному Кресту подъ промежуточный эвакуаціонный пунктъ. Больше десяти верстъ пришлось намъ тащиться до этого пункта, но я былъ доволенъ тѣмъ, что грунтовая дорога не такъ безпокоила мою рану.

Когда мы подъѣхали къ дому, на крыльцѣ стояли четыре сестры милосердія, а за ними виднѣлась стройная фигура красивой, полной, высокой брюнетки съ благороднымъ и гордымъ выраженіемъ лица. Это была начальница. Служителя подбѣжали высаживать привезенныхъ, а сестры помогали имъ. Затѣмъ насъ ввели въ комнаты, оставленныя со вкусомъ. Госпожа Маевская, какъ старшая, обратилась къ намъ съ маленькимъ привѣтствіемъ и объявила, чтобы мы не стѣснялись въ своихъ требованіяхъ и заявляли о томъ, въ чемъ нуждаемся. Такъ какъ мы ѣхали довольно долго и прибыли, когда уже солнце садилось, то всѣ отощали и просили чего-нибудь поѣсть. Намъ подали очень хорошій бульонъ и довольно твердый бифштексъ; но оказалось, что лучшаго мяса трудно было добыть даже въ Зимницѣ. Утомившись отъ дороги, намъ очень хотѣлось поскорѣе снять верхнее платье и лечь; особенно тяготили меня большіе сапоги, отъ которыхъ ноги страшно пыли.

Когда насъ раздѣли, явился докторъ, и при помощи сестеръ началась перевязка. Это необходимо было потому, что у многихъ бинты отъ тряски и качки сбились.

Когда перевязка кончилась и суতোлка прекратилась, намъ подали чай, и тутъ-то мы могли разобратъ, кто тѣ милыя особы, ухаживавшія за нами. По произношенію мы сразу угадали, что это жительницы Западнаго края, такъ какъ всѣ говорили съ польскимъ акцентомъ. По части разспросовъ Берцовъ былъ незамѣнимымъ человекомъ. Усѣвшись за столъ, онъ сейчасъ же всту-

пить съ одной въ разговоръ по-польски. Слушая его ужасную рѣчь, она улыбалась, но также отвѣчала на своемъ родномъ языкѣ. Оказалось, что вся группа сестеръ была изъ семействъ средняго положенія и изъ учившихся, какъ учатся большинство. Меня же заинтересовала только начальница, то-есть госпожа Маевская. Она оказалась вдовой родовитаго барина, незадолго до войны потерявшая мужа и сына. Это такъ поразило женщину, жившую въ полномъ довольствѣ и счастьѣ, что она, желая заглушить свое горе, собрала маленькую группу желающихъ послужить дѣлу милосердія и отправилась въ Румынію. Госпожа Маевская отличалась необыкновеннымъ изяществомъ манеръ и такъ участливо и нѣжно относилась ко всемъ намъ, что мы не могли налюбоваться на эту страдающую и вмѣстѣ съ тѣмъ сострадательную женщину. Берцовъ, по пословицѣ „нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ“, и тутъ оказался неводержимымъ на языкъ. Желая выразить сочувствіе, онъ вступилъ съ ней въ безтактный разговоръ.

— Мадамъ, мы вамъ очень благодарны...

Маевская сдѣлала движеніе рукой, желая прекратить дальнѣйшую тираду, и, изысканно-деликатно улыбнувшись, замѣтила:

— Господинъ офицеръ, здѣсь я не мадамъ, а сестра милосердія, поэтому прошу васъ называть меня не иначе, какъ сестрой.

— Съ удовольствіемъ... съ удовольствіемъ, мнѣ все равно, — неудачно поправился Алексѣй Ивановичъ. — Я потому назвалъ васъ такъ, что вы, какъ слышно, изъ большого общества.

— Этотъ крестъ всѣхъ равняетъ.

— Совершенно справедливо. Что же касается сердца, то оно у васъ должно сильнѣе чувствовать, такъ какъ вы имѣли потери и страдали.

Маевская закусилла губу, брови ея дрогнули, и на глазахъ показались слезы, которыя она старалась скрыть, часто мигая.

— Люди не живутъ безъ потерь, и мы всѣ должны быть къ нимъ готовы. Я рада, что Богъ привелъ меня послужить страждущимъ и облегчать ихъ участь. Моихъ же чувствъ никто не долженъ знать, кромѣ меня, и прошу васъ не продолжать этого разговора.

Сказавъ это, она перемѣнила тонъ и опять сдѣлалась той же мягкой, ласковой сестрой, какою была раньше.

На утро насъ напоили кофе съ прекрасными сливками, желающимъ дали позавтракать, и мы опять потащились на своихъ колымагахъ къ конечному пункту нашихъ страданій.

Проѣхавъ безъ всякихъ приключеній двадцать пять верстъ, мы увидѣли издали Фратешты, а за нимъ на большой полянѣ нѣсколько госпитальныхъ шатровъ, юртъ и множество солдатскихъ палатокъ. Когда транспортъ остановился, и мы вылѣзали изъ повозокъ, то ужасная картина предстала передъ нашими глазами. Врачи, безъ сюртуковъ, съ засученными рукавами и нерѣдко окровавленными руками, то и дѣло сновали, сестры ходили съ тазами, рукомойниками и полотенцами на плечѣ. Возлѣ палатокъ сидѣли и лежали раненые, которыхъ за многочисленностью некуда было положить. Плевненскій по-

громъ и дѣла въ рушукскомъ отрядѣ дали такой контингентъ пострадавшихъ и изувѣченныхъ, что ими переполнены были всѣ госпитали, какъ находившіеся вблизи главной квартиры, такъ и отдаленные. Приходилось заботиться объ одномъ, какъ бы людей, неспособныхъ быть въ строю, отправить въ Яссы или препроводить на родину. Распорядители дѣлали все отъ нихъ зависящее, чтобы сплавить этотъ боевой балластъ, и поѣзда, по мѣрѣ возможности, отвозили ихъ въ Россію.

Въ ожиданіи отправки я опустился на землю и попросилъ себѣ чаю. Едва я взялъ стаканъ, какъ ко мнѣ подошла полная пожилая женщина въ большихъ синихъ очкахъ, съ крестомъ сестры милосердія на груди. Посмотрѣвъ на нее, я вскрикнулъ отъ удивленія:

— Евгенія Александровна, вы ли это?

Она посмотрѣла на меня пристально и сказала:

— Я не узнаю васъ.

Это было неудивительно, такъ какъ я былъ въ такомъ состояніи, про которое говорятъ, что краше въ гробъ кладутъ. Но когда я назвалъ свою фамилію, она тоже слегка вскрикнула и, опустившись ко мнѣ, поцѣловала меня въ лобъ.

— Боже мой! Вотъ гдѣ опять пришлось встрѣтиться.

Разспросивъ, давно ли я раненъ и куда, она повела меня въ баракъ и уложила на свою кровать.

— Васъ-то, дорогая, что подвинуло итти сюда?— обратился я къ ней.

— Вы развѣ не знаете, что Петръ Ивановичъ умеръ?

Я долженъ былъ сознаться, что не слышать объ этомъ, и выразилъ искреннее сожалѣніе. Ея мужъ, полковникъ Арцыбашевъ, когда-то командовалъ полкомъ, въ которомъ я служилъ. Этого человѣка всѣ искренно почитали, начиная отъ старшаго офицера и кончая послѣднимъ солдатомъ. Съ Евгеніей Александровной мы устраивали благотворительные спектакли, и домъ Арцыбашевыхъ былъ самымъ пріятнымъ и гостепріимнымъ въ городѣ.

— Теперь вы понимаете меня, — продолжала она. — Я получаю пенсію за мужа, слѣдовательно, обезпечена государствомъ. Чѣмъ же я могла лучше отблагодарить за это обезпеченіе, какъ не тѣмъ, чтобы пойти потрудиться?

Мы бесѣдовали, вспоминая былое время. Евгенія Александровна не удержалась и всплакнула, но тутъ вскорѣ пришли за ней изъ шатра, а за мной объявить, что я долженъ немедленно итти на вокзалъ, гдѣ для насъ готовъ уже поѣздъ.

Какъ легко вздохнулось намъ, когда мы почувствовали, что избавляемся отъ тѣхъ неудобствъ и лишеній, при которыхъ нельзя думать о возстановленіи разбитаго здоровья.

Вагоны были очень просты. По стѣнамъ въ два яруса, а посрединѣ въ одинъ рядъ устроены были постели, на которыхъ лежали тюфяки, подушки и байковые одѣяла. Сестры милосердія, какъ и большинство добровольно шедшихъ въ отрядъ, были наполовину изъ молодыхъ дѣвушекъ. Въ нашемъ вагонѣ служила госпожа Тарнавцева, маленькая пухленькая, необыкновенно мило-

видная, восемнадцатилѣтняя южанка съ черными выразительными глазами и нѣсколько выющимися волосами. Сестра сразу вызвала нашу симпатію. Ея ребяческая улыбка и простодушная рѣчь не могли не располагать къ себѣ. Когда мы увидѣли, какою измученною она вошла въ вагонъ, то, конечно, Берцовъ не могъ оставить ее въ покоѣ и тутъ же высказалъ свое соображеніе:

— Должно-быть, вы сильно, сестра, устали?

— Ухъ, какъ устала, страсть! — садясь на табуретку, говорила она. — Да какъ и не устать? Восемьдесятъ перевязокъ сдѣлала сегодня.

— Восемьдесятъ? — съ удивленіемъ спросилъ я.

— Что жъ тутъ диковиннаго? — наивно спросила она. — Другія и больше сдѣлали, только мнѣ попадались все трудно раненые. У трехъ пришлось пинцетомъ червей изъ глазъ вытаскивать. Вотъ это непріятно... а съ остальными легко справилась. А что устала — за ночь выплюсь. Кажется, на мое счастье между вами нѣтъ такихъ, около которыхъ нужно ночь сидѣть.

Однако бѣдненькая ошиблась. Рядомъ со мной помѣщенъ былъ контуженный въ голову. Когда его привели изъ фратешскаго госпиталя, онъ былъ угрюмъ, молчалъ, хватался то за темя, то за виски, но не проявлялъ безпокойства и, устроившись на своей койкѣ, скоро уснулъ. Но среди ночи ему вдругъ сдѣлалось нехорошо. Онъ сначала тихо стоналъ, потомъ слегка приподнялся на локтѣ и блуждающими глазами смотрѣлъ въ пространство. Безпокойство его постепенно усиливалось. Больной спустилъ ноги и сталъ покачиваться. Я, всегда чутко спавшій, проснулся,

услышавъ его стоны, и съ участіемъ смотрѣлъ на страдающаго. Валянскій не обращалъ ни на что вниманія и оставался сосредоточеннымъ. Очевидно, въ его головѣ творилось что-то неладное, и нервы напряглись до послѣдней степени. Я окликнулъ его:

— Капитанъ, вамъ, кажется, нехорошо? Въ томъ отдѣленіи сидѣлка, она сдѣлаетъ вамъ, что нужно.

Больной словно не слыхалъ того, что я ему говорилъ, и, поднявшись на ноги, озирался вокругъ. На мое счастье, на другомъ концѣ вагона молодой поручикъ, также не спавшій отъ сильныхъ болей въ спинѣ, услышавъ нашъ разговоръ и увидя подозрительное движеніе контуженнаго, надѣлъ туфли и разбудилъ сидѣлку. Та побѣжала за сестрой милосердія и за докторомъ. Жаль было смотрѣть на измятое личико Тарнавцевой, когда она подошла ко мнѣ близко.

— Что съ вами?—обратилась она къ Валянскому.

— Нехорошо...—шепталь онъ.—Мнѣ страшно... Я боюсь...

— Чего?

— Самъ не знаю... Въ ушахъ звенить, въ головѣ шумъ... Я весь дрожу...

Тарнавцева взяла его за руку. Она была холодна, какъ ледъ. Вскорѣ явился врачъ. Осмотрѣвъ больного, онъ принесъ изъ походной аптечки пузырекъ, накапалъ нѣсколько капель и далъ больному выпить. Исполнивъ это, докторъ также, судя по лицу, измученный ушелъ, оставивъ Валянского на попеченіе Тарнавцевой.

— Съ полчаса посидите, сестра. Вѣроятно, больной успокоится, тогда ложитесь.

Дѣйствительно, безпокойство больного стало затихать, и онъ легъ на кровать, но Тарнавцева, думая, что экстазъ можетъ возвратиться, продолжала сидѣть на табуреткѣ. Мой сонъ прошелъ, и я рѣшилъ заговорить съ ней.

— Бѣдненькая сестра! Не удалось вамъ спокойно провести ночь.

— Что дѣлать?—съ покорностью отвѣтила она.— Не благодушествовать шла сюда, значить, не о чемъ и тужить.

— Судя по вашей внѣшности, можно безъ ошибки сказать, что нелегко было вамъ войти въ новую роль.

— Вы хотите сказать, что я смотрю нѣженкой? Да, мое воспитаніе и образъ жизни мало подготовили меня къ тому, что я дѣлаю теперь, но, увѣряю васъ, ни разу никто не слышалъ отъ меня ропота, и я ни разу не упрекнула себя. Сначала было тяжело. Каждый стонъ, видъ страданія глубоко отражались въ сердцѣ, но человекъ—существо, быстро привыкающее ко всему, и я теперь равнодушно отношусь къ тому, что вижу. Занеетъ сердце и отойдетъ, какъ вспомню, что наше дѣло не плакаться, а помогать.

Я съ удивленіемъ и глубокимъ почтеніемъ смотрѣлъ на эту маленькую хорошенькую дѣвушку съ измятымъ лицомъ, заспанными глазами и растрепанной шевелюрой. Въ ея словахъ не было торжественности, а, напротивъ, отъ Тарнавцевой вѣяло простотой и естественностью.

— Авось, война скоро кончится, — проговорить я, желая успокоить свою собесѣдницу, — и вы отдадитесь мирнымъ занятіямъ.

Сестра улыбнулась и, иронически покачавъ головой, повторила:

— Мирнымъ занятіямъ, то-есть какимъ же? Шляться по урокамъ за десять рублей въ мѣсяцъ, стоять за прилавкомъ книжнаго магазина или обратиться въ телеграфистку? Благодарю васъ. Здѣсь мнѣ трудно, но я чувствую себя чело-вѣкомъ, на котораго смотрятъ съ уваженіемъ. Самое обращеніе съ нами здѣсь не такое, какъ дома. Барышня вѣдь что такое? Неземное созданіе, съ которымъ разговариваютъ о пустячкахъ или любезничаютъ.

— Такъ идите учиться, сдѣлайтесь докторомъ, акушеркой.

— Акушеркой я ни за что не буду, потому что терпѣть не могу возиться съ женщинами, а сдѣлаться докторомъ не такъ-то легко. На это средства нужны, а ихъ нѣтъ у меня. Но мы что-нибудь придумаемъ — лѣчебницу откроемъ или хирургическую амбулаторію. Я уже объ этомъ говорила съ двумя докторами.

Я невольно улыбнулся и, шутя, сказалъ ей:

— Какая вы фантазерка! Вы вотъ старайтесь лучше не заболѣть тифомъ, а то приближается осень, вамъ привезутъ изъ отрядовъ столько этого товара, что рукъ не приложите.

— По правдѣ говоря, я только этого и боюсь. Ну, да Богъ не безъ милости, не всѣ же заболѣваютъ.

Подъ нашъ тихій разговоръ Валянской заснулъ, и она проговорила:

— Ну, теперь, кажется, и я могу вздремнуть.

Послѣ ухода сестры въ вагонъ водворилась полная тишина. Слабо свѣтила лампа, висѣвшая на стѣнѣ, да монотонно гремѣли по рельсамъ колеса. Подъ этотъ однообразный стукъ невольно неотвязныя думы лѣзли въ голову. Опять передъ глазами неотступно являлась картина минувшаго боя, отодвинувшаго собой прежнія кровавыя схватки. Окровавленные лица, валявшіеся по полю трупы, гулъ выстрѣловъ изъ орудій, ружейная трескотня, свистъ пуль,—все это не отошло еще въ прошедшее, а составляло ужасное настоящее. Но что вспоминалось съ болью въ сердцѣ и казалось страшнѣе ранъ и смерти—борьба съ природой, дождь, холодный вѣтеръ, мокрая земля, на которую приходилось ложиться отъ усталости и засыпать, положивъ голову на кочку, промокшее платьѣ, чвакавшіе носки въ сапогахъ, невозможность нѣсколько дней раздѣться и лечь въ постель, что каждый человѣкъ считаетъ не только необходимою, но величайшею потребностью. Вспоминая товарищей, оставшихся въ отрядѣ, мнѣ больно стало за нихъ, и война, на которую мы шли съ подъемомъ духа, постепенно стала казаться мнѣ бѣдствіемъ, озлобляющимъ душу человѣка.

Въ концѣ-концовъ, философствованія мнѣ самому показались смѣшными, такъ какъ люди дерутся и, вѣроятно, никогда не дойдутъ до того, чтобы мирнымъ путемъ разрѣшать столкновенія.

Съ трудомъ дѣлая незначительныя движенія на твердомъ тюфякѣ, я промучился нѣсколько часовъ и, наконецъ, уснулъ. Утромъ меня разбудили голоса моихъ спутниковъ. Я повернулъ голову и увидѣлъ сестру милосердія умытою, причесанною, бодрою и въ чистомъ фартукѣ. Она разливала чай и подносила тѣмъ, кто лежалъ.

Такъ добрались мы до Яссы, гдѣ должны были пересѣсть на другой поѣздъ, стоявшій уже на запасномъ пути. Не болѣе какъ черезъ часъ мы были на немъ.

Первое, что поразило насъ въ сестрахъ милосердія,—ихъ костюмъ. Онѣ были изъ общины „шаритокъ“ и ходили въ огромныхъ бѣлыхъ чепцахъ съ вычурными разводами, что для непривычнаго глаза казалось очень забавнымъ. На поѣздѣ, кромѣ коменданга и доктора, находился еще ксендзъ, юркій человѣкъ, небольшого роста, лѣтъ сорока. Считая ли это своей обязанностью или по подвижности натуры, но патеръ сновалъ изъ вагона въ вагонъ, спрашивалъ, кто куда раненъ, чѣмъ боленъ и предлагалъ все, чѣмъ только располагалъ поѣздной буфетъ. Меня, какъ не имѣющаго возможности подниматься наверхъ, положили внизу, а надо мной помѣстился Берцовъ, не желавшій отдаляться отъ товарища. Но я, признаюсь, не радъ былъ этому сосѣдству, потому что онъ утомлялъ меня своими нескончаемыми разговорами.

Вагоны отличались поразительною чистотой. Все было съ иголочки новенькое и приспособлено для перевозки раненыхъ. Начальницей надъ сестрами состояла очень важная панна, ходившая всегда съ четками въ рукахъ и напоминавшая собой скорѣе

игуменью, чѣмъ женщину, посвятившую себя труду и дѣлу милосердія. Младшія сестры боялись ея и относились къ ней раболѣпно.

Столъ намъ давали такой, какой мы давно не имѣли. Передъ обѣдомъ ксендзъ ходилъ съ графинюмъ и, перемѣшивая русскія фразы съ польскими, выкрикивалъ:

— Панове, може, кто хце килишекъ вудки?

Такъ какъ охотниковъ находилось не мало, то патеръ, смакуя, наливалъ въ рюмку и, подавая, говорилъ:

— Будь, панъ, здрувъ!

Нѣкоторые были однимъ недовольны, что нельзя было сдѣлать повторенія, такъ какъ священникъ, обойдя всѣхъ, уже удалялся въ сосѣдній вагонъ. Чтобы подкрѣплять наши ослабѣвшія силы, кромѣ водки, намъ давали вино.

Первый день мы провели однообразно. Никто не выходилъ изъ вагона. Даже Берцовъ, всегда склонный прогуляться на вокзалъ и тамъ пропустить рюмочки двѣ, находилъ это путешествіе туда неудобнымъ, такъ какъ погода стояла отвратительная. Несмотря на то, что шли среднія числа сентября, въ окна вмѣстѣ съ дождемъ били хлопья снѣга, и вѣтеръ былъ такъ силенъ, что казалось вагоны не выдержатъ его напора и слетятъ съ полотна. Унылое завываніе ухудшало и безъ того наше невеселое настроеніе духа. Только Алексѣй Ивановичъ не унывалъ и, выспавшись днемъ, не показывалъ ни малѣйшаго желанія дать другимъ покой. Лежа наверху, онъ никого изъ идущихъ не пропускалъ безъ того, чтобы не заговорить. Особоенно лихо было ксендзу. Стоило

ему войти къ намъ, какъ раздавался голосъ сверху.

— Святой отецъ,—говорилъ онъ по-польски, — вы непременно будете въ царствіи небесномъ, потому что у васъ ангельская душа, и вы отлично разливаете водку.

— У пана хорошій вкусъ, и онъ, очевидно, понимаетъ толкъ въ томъ, кто хорошо наливаетъ, а кто нѣтъ,—огрызнулся съ язвительностью пастеръ.

— Вотъ, падре, вы и обидѣлись, а я васъ похвалилъ, чтобы сдѣлать удовольствіе.

— Вы сдѣлаете мнѣ его еще больше, если оставите посторонніе разговоры и будете обращаться ко мнѣ по-русски, потому что такого польскаго языка, какъ вашъ, я не понимаю.

— Вижу, что въ настоящее время вы не въ духѣ, ну, такъ мы съ вами послѣ окончимъ бесѣду.

— Нѣтъ, ужъ, пожалуйста, избавьте!—махаль руками ксендзъ, хватаясь за ручку двери, чтобы уйти.

Но нахаль Берцовъ не унимался.

— Э-э-э!--остановилъ онъ ксендза.—Я хотѣлъ васъ спросить, не знали ли вы въ Сувалкахъ кюре Лашкевича, у него еще господыня была толстая-претолстая?

Ксендзъ на это только презрительно улыбнулся и ушелъ.

Нѣсколько человѣкъ замѣтили Берцову, что онъ непристойно поступаетъ, но Алексѣй Ивановичъ не смутился и объяснилъ:

— Скучно!.. Притомъ я очень люблю дразнить ксендзовъ.

Томительно шло время. Изолированные отъ всего міра, мы не знали ничего, кромѣ своего вагона. Никто изъ насъ не интересовался, по какой мѣстности мчался поѣздъ, около какихъ станцій останавливался. Намъ интересно было одно, что такого-то числа мы прибудемъ въ Москву.

Временные сожители по вагону не выражали склонности сойтись между собой, и разговоры отличались крайнею ординарностью. Сначала находились словоохотливые люди, рѣшавшіеся рассказывать эпизоды изъ тѣхъ дѣлъ, въ которыхъ они участвовали, но это никого не занимало. Наши нервы настолько были притуплены, что подобныя сообщенія не вызывали вниманія. Напротивъ, рассказы дѣйствовали непріятно, такъ какъ говорившіе непременно старались подчеркнуть то, что они дѣлали, и выставить себя героями. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ охота продолжать сказанія исчезла, а такъ какъ мы отъ міра были оторваны и не знали, что дѣлается за стѣнами нашего вагона, то и ждали съ нетерпѣніемъ, когда будетъ окончень путь.

Наконецъ въ назначенный день, около девяти часовъ утра, поѣздъ подошелъ къ станціи Курской желѣзной дороги. На платформѣ находилась масса народа. Мужчины, стоявшіе тамъ, обнажили головы. Это произвело на насъ глубокое впечатлѣніе. Мы почувствовали, что родина въ лицѣ явившихся на вокзалъ благодарить насъ за пролитую кровь.

Началось высаживаніе. Кто выходилъ самъ, кому помогали, а нѣкоторыхъ выносили на носилкахъ. Мы подходили къ генералу, пріѣхавшему по слу-

чаю прибытія поѣзда. Онъ привѣтливо встрѣчалъ насъ. Возлѣ него стоялъ уполномоченный Краснаго Креста и тотчасъ же дѣлалъ распредѣленіе, кому куда отправиться. А затѣмъ насъ посадили въ приготовленные экипажи и повезли въ назначенныя мѣста.

Я былъ доставленъ въ Ивановскій монастырь, тогда еще не открытый и гдѣ устроена была великолѣпная больница. Руководительство ею взялъ на себя покойный А. А. Шиловъ. Лучшаго человека, дѣйствительно, трудно было подыскать для такого дѣла. А. А. былъ неутомимъ. Мы видѣли его по нѣскольку разъ днемъ и ночью. Это былъ истинная гроза для служителей, нянекъ и всей прислуги. Чистота соблюдалась изумительная, и столъ больнымъ давали прекрасный. Но я недолго пробылъ въ Ивановскомъ госпиталѣ. Вслѣдствіе раны и лихорадки у меня стали проявляться грозныя симптомы нервнаго разстройства, и мнѣ рекомендовали перейти въ лазаретъ, устроенный въ частномъ домѣ и находившійся въ вѣдѣніи приватъ-доцента по нервнымъ болѣзнямъ А. П. Скалозубова. Въ этомъ лазаретѣ я пролежалъ все время, пока оправился настолько, что могъ покинуть больничныя халаты и туфли.

Дѣлая обзоръ тому, что пришлось видѣть и испытать на пути, невольно хочется помянуть добрымъ словомъ людей, являвшихся утѣшеніемъ въ тяжелыя и скорбныя минуты жизни, и спокойнымъ взглядомъ проникнуть во внутренній міръ тѣхъ, кто жилъ одной жизнью съ нами, бившимися съ врагомъ. Что влекло ихъ надѣвать эмблему милосердія—красные кресты на грудь, и что заставляло

ихъ безкорыстно жертвовать покоемъ, а иногда и жизнью? Если бы въ рядахъ ихъ стояли пожилые люди, для которыхъ наступила пора думать объ искупленіи грѣховъ и добрыми дѣлами загладить свои ошибки, а то большинство была молодежь, свѣжая и полная надеждъ. Искали ли они сильныхъ ощущеній или рвались изъ будничной, неинтересной жизни, чтобы сознать, что хоть разъ въ жизни они исполняли завѣтъ Богочеловѣка, возвысились душой и приблизились къ Тому, именемъ Кого все доброе держится на свѣтѣ? То, въ чемъ намъ пришлось убѣдиться, это и было именно проявленіемъ тѣхъ святыхъ чувствъ, которыя ничѣмъ не могутъ быть заглушены, которыя рвутся при всякой возможности излиться въ благородныхъ поступкахъ. Эти порывы сердца всегда двигали міромъ и навсегда останутся величайшимъ рычагомъ, толкающимъ людей на путь любви и правды.

Съ крестомъ въ рукѣ.

I.

Это было еще до крымской войны, т.-е. тогда, когда нравы, понятія и порядки въ Россіи не подходили нисколько на нынѣшніе. Существовавшее крѣпостное право накладывало на все свою печать. Привилегированное сословіе, пользовавшееся даровымъ трудомъ, имѣло полную возможность ничего не дѣлать и проводить время, думая только объ удовольствіяхъ. Покой и наслажденіе—вотъ были конечные пункты стремленія большинства интеллигенціи. Такія воззрѣнія не могли не отражаться на всемъ. Они вырабатывали своеобразные типы чиновниковъ, офицеровъ и даже лицъ духовныхъ. Когда сравнишь то время съ нынѣшнимъ, то не вѣришь своимъ глазамъ. Гдѣ пресловутые бурсаки, изъ которыхъ выходили пастыри Церкви, гдѣ бурбоны-офицеры, производившіеся изъ полуграмотныхъ фельдфебелей? Въ старину не придавали значенія образовательному цензу. Отъ офицеровъ требовалось исполнительность въ мирное время и храбрость въ военное. Большинство получали первыі чинъ, подвергаясь экзамену въ раз-

мѣрѣ курса трехкласснаго уѣзднаго училища. При производствѣ главную роль играли сословныя права. Столбовые дворяне производились въ офицеры изъ юнкеровъ по прослуженіи двухъ лѣтъ, личные дворяне—черезъ четыре, разночинцы—черезъ восемь, а лица податнаго сословія—черезъ двѣнадцать. Кадеты составляли сливки офицерства, но пропорція ихъ въ рядахъ глубокой арміи была не велика. Самое размѣщеніе полковъ показывало, что объ умственномъ развитіи воинскихъ чиновъ не заботились, а требовались только: выправка, ружейные приемы и шагистика. Казармы составляли исключеніе. О военныхъ собраніяхъ не было и помину. Полковые штабы находились въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, а роты послѣ лагернаго сбора разбрасывались „на широкія квартиры“ по деревнямъ и продовольствовались обывательскими харчами. Офицерамъ приходилось жить въ крестьянскихъ хатахъ, въ которыхъ дуло изъ половъ, оконъ и стѣнъ. Поневоѣ всякому хотѣлось, какъ можно скорѣе, выбраться изъ такой берлоги или же на свой счетъ дѣлать изъ хаты приличное и удобное жилье, что позволяли себѣ ротные командиры, имѣвшіе отъ своихъ частей крупныя доходы, такъ какъ крестьяне прощали слѣдуемый имъ провіантъ, дѣлавшійся собственностью начальника. Молодымъ же офицерамъ всякая трата была не по силамъ, такъ какъ, напримѣръ, прапорщики получали жалованья семнадцать рублей въ мѣсяцъ. Ни столовыхъ ни суточныхъ никому не полагалось. Общество сознавало тяжелое положеніе молодежи и широко отворяло двери передъ каждымъ изъ нихъ. Поэтому холостой офи-

церь рѣдко сидѣлъ дома, и если были сосѣди, то многіе проживали тамъ недѣлями.

Нашъ полкъ, гдѣ я служилъ, въ этомъ отношеніи былъ очень несчастливъ. Мы стояли въ мѣстности, гдѣ преобладали села государственныхъ крестьянъ, и помѣщики жили отъ насъ на далекомъ разстояніи. Поневолѣ приходилось искать знакомствъ въ городѣ, отстоявшемъ въ пятнадцати верстахъ отъ ротнаго двора. Бывало, выпросишь у хозяина лошадку и ѣдешь въ штабъ полка. Оставлялись мы обыкновенно у одного изъ товарищей, имѣвшихъ квартиру. Въ эти пріюты набивалось такое количество пріѣзжихъ, что повернуться было негдѣ. Спали на сѣнѣ или соломѣ, наваленныхъ на полъ. Днемъ компанія покучивала и рѣзалась въ карты, а вечеромъ расходились, кто куда могъ. Такъ было и со мной въ одинъ изъ пріѣздовъ въ штабъ полка.

Напившись чаю, я одѣлся и вышелъ изъ дома. На улицѣ тогда фонарей не было, и царила повсюду тьма кромѣшная. Порывистый вѣтеръ подхватывалъ снѣжную пыль и хлесталъ ею въ лицо. Гдѣ-то выли и лаяли собаки; прохожихъ почти не встрѣчалось. Несмотря на то, что пробило только семь часовъ, въ домахъ обывателей было темно, и только сквозь цвѣты, стоявшіе на окнахъ, виднѣлись зажженные передъ образомъ лампы. Это была какая-то мертвечина, навѣвающая на душу томительную тоску.

Проходя мимо квартиры исправника, Ивана Матвѣевича Сутаева, я увидѣлъ въ комнатахъ яркій свѣтъ и мелькавшіе офицерскіе сюртуки. Недолго

думая, я поднялся на нѣсколько ступенекъ и позвонилъ.

Когда я вошелъ, то прихожая была завалена платьемъ гостей, явившихся такъ же, какъ и я, на огонекъ. Въ залѣ, обставленной плетеною мебелью, четыре барыни рѣзались въ преферансъ. Въ гостиной хозяйка вела оживленную бесѣду съ двумя пожилыми женщинами. Поздоровавшись съ Сутаевой и спросивъ о здоровьѣ, я двинулся въ кабинетъ, откуда доносились громкіе голоса.

Хозяинъ, увидя меня, издали привѣтствовалъ:

— Жалуйте, жалуйте, Василий Егоровичъ! Давно ли прибыли въ нашъ вертоградъ?

— Всего нѣсколько часовъ, какъ пріѣхалъ.

— И перваго вспомнили меня? Вотъ за это спасибо. Чайку хотите?

— Нѣтъ, благодарю. Я уже напился.

— Куда же васъ пристроить? Пульку составить или къ намъ примажетесь понтировать?

— А вотъ погодите, дайте осмотрѣться.

Въ другомъ углу кабинета, вокругъ стола, сидѣло и стояло человѣкъ десять игроковъ. Возлѣ банкмета, богатаго купца Комина, лежала груда всевозможныхъ кредитныхъ билетовъ. Всѣ были поглощены игрой. Даже очень любившій меня полковой священникъ, Петръ Викторовичъ Владычинскій, не обратилъ на меня вниманія. Онъ стоялъ возлѣ стола, перебиралъ колоду картъ и, откинувши голову назадъ, смотрѣлъ въ потолокъ. Немного погодя, онъ вытащилъ десятку пикъ и, стремительно накрывши ею все, что лежало возлѣ метавшаго штось, рѣзко проговорилъ:

— Ва-банкъ,

Это слово произвело сильное впечатлѣніе. Послышался сдержанный гулъ голосовъ. Банкометъ обратился къ Петру Викторовичу:

— Батюшка, что вы дѣлаете? Это невозможно! Я не буду метать.

— Не смѣйте этого сдѣлать! Не смѣйте! — дрожащимъ голосомъ говорилъ Владычинскій, крѣпко нажимая своей десяткой груду денегъ. — Вы сказали „готово“ и не можете не метать. Если не довѣряете, я выну деньги.

Метавшій банкъ отъ неожиданности смутился и не хотѣлъ уступать, но присутствующіе стали протестовать:

— Батюшка правъ, отказываться невозможно. Послѣ этого никто съ вами играть не станетъ.

Банкомету пришлось покориться. Онъ со злостью перевернулъ колоду и десятка пикъ въ соникахъ была дана. Коминъ бросилъ на столъ карты и, вскочивъ, съ досадой проговорилъ:

— И нанесъ же чортъ сюда этого попа!

Дрожащими руками Владычинскій собралъ деньги, отошелъ къ письменному столу и сталъ приводить въ порядокъ бумажки.

— Ну, батюшка, удрали вы штуку! — проговорилъ я, подойдя къ нему и тронувъ его за плечо.

— Ба, Василій Егоровичъ! Вы тутъ были, а я не замѣтилъ. Значитъ, это вы принесли мнѣ счастье.

Онъ наскоро положилъ бумажникъ въ карманъ, и мы обнялись.

— Господа! — обратился онъ къ присутствующимъ. — Завтра, по случаю пріѣзда нашего милаго поручика, пожалуйста ко мнѣ вечеромъ. Въ бан-

чишку сръжемся и спрыснемъ сегодняшній мой выигрышъ.

Онъ потиралъ руки, смотрѣлъ на всѣхъ сіяющимъ взглядомъ, ерошилъ руками свою роскошную шевелюру и какъ-то по-дѣтски, ходя по комнатѣ, поднимался на носки.

Глядя на Владычинскаго, можно было подумать, что онъ радовался такъ потому, что подобную сумму ему пришлось получить въ первый разъ въ жизни. На самомъ дѣлѣ, батюшка былъ страстнымъ игрокомъ, для котораго побѣда надъ врагомъ пріятнѣе выигрыша.

II.

При тогдашнемъ низкомъ умственномъ развитіи и грубости среди духовенства Владычинскій отличался начитанностью, умомъ, благородствомъ манеръ и очень свободнымъ взглядомъ на вещи. Петръ Викторовичъ для всѣхъ былъ загадочной личностью. Санъ обязывалъ его быть примѣромъ воздержанія, кротости, смиренія, но природа, по-видимому, совершенно не надѣлила его этими качествами. Средняго роста, красивый брюнетъ, съ большими жгучими глазами и великолѣпной волнистой бородой, онъ былъ бы кумиромъ женщинъ, если бы не носилъ священнической рясы. Кромѣ привлекательной наружности, Владычинскій отличался изящными манерами, что, какъ извѣстно, рѣдко можно встрѣтить у духовныхъ лицъ. Его истинно-христіанская доброта и готовность помочь каждому, кто къ нему обращался, были всѣмъ

извѣстны. Эти качества обезоруживали какъ духовное, такъ и военное начальство, и всѣ, скрѣпя сердце, сквозь пальцы смотрѣли на пагубную страсть Петра Викторовича къ игрѣ. Призывали его къ себѣ для увѣщаваній начальникъ дивизіи, командиръ полка и благочинный, но это ни къ чему не привело. Владычинскій съ гордой осанкой выслушивалъ выговоры и съ достоинствомъ говорилъ:

— Я знаю, что это не соотвѣтствуетъ моему сану. Что жъ, если я не угоденъ, представьте меня къ увольненію.

Начальникъ дивизіи, не любившій крутыхъ мѣръ и искренно цѣнившій заслуги Петра Викторовича, старался дѣйствовать на него не строгостью, а отеческимъ словомъ.

— Ахъ, батюшка, зачѣмъ вы говорите объ увольненіи? Мы всѣ любимъ васъ и намъ васъ жаль. Вы извѣстны, какъ прекрасный проповѣдникъ, сердечный пастырь, котораго обожаютъ солдаты за доброту и безкорыстность, но есть формы, которыхъ нельзя нарушать. Обѣщайте же мнѣ исправиться.

Чтобы успокоить любимаго начальника, Владычинскій обѣщалъ, но недолго могъ справляться съ собой. Первый хорошій соблазнъ—и Петръ Викторовичъ забывалъ не только генеральскую мораль, но и все на свѣтѣ, кромѣ картъ. Эта страсть въ батюшкѣ была такъ велика, что онъ положительно не могъ существовать безъ игры. Если не подыскивалось партнеровъ для крупной баталіи, онъ садился играть въ преферансъ по сотой и такъ увлекался, что не только спорилъ и шумѣлъ, но доходилъ до непріятностей.

Разсматривая условія жизни военнаго духовенства того отдаленнаго времени, о которомъ мы говоримъ, нельзя не сознаться, что Владычинскій по-своему былъ правъ. Исключая лагерныхъ сборовъ, когда въ полковой церкви приходилось ему служить всенощныя подъ праздники и въ праздники обѣдни, онъ всю зиму обрекался бездѣйствовать, такъ какъ роты квартировали по деревнямъ, а находившіеся въ городѣ ходили молиться въ соборъ и приходскія церкви, гдѣ совершали богослуженіе мѣстные священники. Что же было дѣлать полковому духовнику? Съ требами ему также не приходилось ѣздить въ отдаленныя мѣста, а развѣ посѣщать лазаретъ, но и это случалось рѣдко. Свадьбы, крестины или похороны также были не часты. Обреченный на бездѣйствіе и заброшенный въ глухой малоинтеллигентный уѣздный городъ, Владычинскій тяготился непримечательностью своего положенія и, въ концѣ-концовъ, отыскивая въ чемъ-нибудь утѣшеніе, взялся за карты и, какъ натура страстная, пристрастился къ нимъ. Эта болѣзненная слабость постепенно росла еще потому, что игра была общимъ недугомъ, а судьба столкнула Петра Викторовича съ неукротимыми картежниками.

III.

Приглашая по случаю моего пріѣзда гостей, Петръ Викторовичъ, конечно, думалъ не такъ обо мнѣ, какъ о томъ, чтобы учинить у себя жаркій бой на зеленомъ полѣ. На другой день въ

его квартиру стали стекаться къ вечеру званые и случайный людъ, шедшій попасть куда-нибудь на огонекъ.

Обстановка квартиры священника отличалась большимъ вкусомъ. Объ этомъ заботился хозяинъ. Жена его Софья Ивановна, умѣвшая превосходно печь пироги, заготовлять соленья, варенья, маринады, какъ дочь сельскаго священника, жившая всегда просто, не отличалась изысканнымъ вкусомъ и относилась равнодушно къ комфорту. Блондинка, всегда гладко причесанная, съ самымъ зауряднымъ лицомъ, она привлекала къ себѣ всѣхъ кротостью и добротой. Попавъ въ чуждую ей сферу, Софья Ивановна долго держалась въ сторонѣ, избѣгая знакомствъ, и все свое время посвящала заботамъ о маленькой дочери, но также постепенно попала въ общее теченіе, и въ ихъ квартирѣ стало собираться общество и устраивались картежные вечера. Не предполагая сначала, что изъ ея мужа можетъ выйти страстный игрокъ, она радовалась, что Петръ Викторовичъ оставался нерѣдко въ большомъ выигрышѣ. Это было большимъ подспорьемъ, такъ какъ священники очень мало получали жалованья. Когда же батюшка, забывъ свой санъ, сталъ просиживать ночи напролетъ, не отходя отъ ломбернаго стола, и вызвалъ осужденія, она пришла въ ужасъ и стала умолять его отказаться отъ предосудительнаго поведенія и замаливать грѣхи. Но ни совѣтъ ни убѣжденія Софьи Ивановны не дѣйствовали на Владычинскаго,—онъ игралъ и игралъ. Матушка сначала огорчалась, а потомъ свыклась съ тѣмъ, что есть, и равнодушно смотрѣла на слабость своего мужа.

Едва къ священнику собрались нѣсколько человекъ, какъ Петръ Викторовичъ, желая поскорѣе сѣсть за карты, торопиль:

— Господа! Пожалуйте въ столовую чайку попить. Что даромъ время терять. А всего лучше, возьмемъ стаканы съ собой.

Это предложеніе всѣмъ понравилось, и гости потянулись „не терять драгоценнаго времени“.

На ломберныхъ столахъ немедленно зажглись свѣчи, и гости принялись за дѣло. Одни сѣли за преферансъ съ табелькой, а другіе искали болѣе сильныхъ ощущеній и предпочли штось.

Первымъ, какъ хозяинъ, сталъ метать Владычинскій, и три сотенныя бумажки были расхватаны изъ его банка. Въ числѣ играющихъ находились: Сутаевъ, Коминъ и Корытцевъ. Первые двое не были страшны банкомету. Они играли съ выдержкой, степенно. Корытцевъ же „гнулъ“ огромными кушами.

Я, какъ мало игравшій въ азартныя игры, оставался зрителемъ и наблюдалъ то, что совершалось передъ моими глазами.

— Сегодня Петръ Викторовичъ что-то сразу ослабѣлъ, — подтрунивалъ надъ нимъ поручикъ Мякишевъ. — Сразу три катеньки проѣхали.

— Молодъ еще, отыграюсь! — отшучивался батюшка. — Игрочки добренькіе, не захотятъ погубить духовную особу.

— Погубишь тебя! — помахивая головой, говорилъ Коминъ. — Ты какъ на небо посмотришь, такъ словно тебѣ оттуда откровеніе. Вчера ты со мной какую подлость сдѣлалъ, вѣкъ тебя не забуду.

— Ваше степенство, ну, о чемъ вы разговариваете? Стоитъ накинуть по четвертачку на сажень дровъ или на бревнышко, вотъ и вернете свое.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, зачѣмъ ты на небо смотришь, передъ тѣмъ какъ большую карту загибаешь? Вѣдь не Богу же ты молишься? Онъ, нашъ Создатель, не просвѣтляетъ мыслей на то, чтобы обидѣть ближняго. Ну-ка, говори, зачѣмъ въ потолокъ глазами упираешься?

Неизвѣстно, что отвѣтилъ бы Владычинскій, если бы Корытцевъ, метавшій банкъ, не вмѣшался въ разговоръ:

— Бросьте вы, господа, вашу философію! Мы сѣли не разговорами заниматься. Готово!

Матвѣй Сергѣевичъ положить колоду на край стола, придерживая ее лѣвой рукою, а по двумъ пальцамъ правой руки провелъ языкомъ для того, чтобы удобнѣе было метать. Едва банкометъ сказалъ „готово“, какъ Владычинскій, стоя у стола, наклонился корпусомъ впередъ и проговорилъ:

— Семерка—банкъ.

Карта была бита.

— Усердствуйте, батюшка, усердствуйте!—подтрунивалъ надъ нимъ Корытцевъ.—Мы не обижаемся.

Другіе партнеры понтировали систематически и ставили карты, какъ смакующіе игроки.

— Запишите десять рублей,—говорилъ одинъ и прибавлялъ уголь.

— Отъ пяти рублей транспортъ съ кушемъ и по кушу очко.

— На не и кушъ мазу.

Батюшка, у котораго убили четыре карты, стать проявлять волненіе и пускаться на „штучки“, какъ игроки называли подобную манеру.

— По пяти копеекъ очко, двойка!

— Отецъ святой шутить, шутить.

— Погоди, онъ тебѣ задастъ шутку.

Двойка была дана священнику. Тогда Петръ Викторовичъ сталъ смотрѣть въ потолокъ. Припоминалъ ли игрокъ талію, установившуюся въ колодѣ, или вспоминалъ рутерокъ, выручавшихъ его не разъ, но это смотрѣніе кверху, о чемъ говорилъ Коминъ, обратилось у Владычинскаго въ привычку, когда онъ собирался произвести опустошеніе въ банкѣ. Посмотрѣвши нѣсколько времени вверхъ, Петръ Викторовичъ, слушая шутки, направленные къ нему, улыбнулся.

— Я обожду-съ.

— Струсилъ, отецъ Петръ, струсилъ!

Но Владычинскій не отвѣчалъ и сталъ звать гостей пить водку.

Адское ли спокойствіе, съ которымъ велъ командиръ нестроевой роты игру, или робость передъ тѣмъ, что Корытцевъ, имѣя всегда значительныя казенныя суммы денегъ, можетъ позволить себѣ рискъ, но никогда священникъ не волновался, какъ играя съ Матвѣемъ Сергѣевичемъ. Владычинскій и Корытцевъ были связаны какою-то роковою силою. Какъ игроковъ, ихъ неудержимо тянуло одного къ другому. Это была даже не игра, а какая-то охота. Каждый чувствовалъ безпокойство, пока не наносилъ противнику рѣшительнаго пораженія. Стоило командиру нестроевой роты обчистить карманы священника, Владычин-

скій ходилъ по пятамъ Матвѣя Сергѣевича, пока не добивался реванша. Въ свою очередь, и Корытцевъ поступалъ такъ же. Въ этой погонѣ было много комичнаго, но отъ смѣха до слезъ одинъ шагъ, и часто проигрыши грозили испортить жизнь тому или другому.

Корытцевъ средняго роста, широкоплечій, съ рыжеватою бородою и маленькими бѣгающими глазками, рябоватый, отличался дѣловитостью, энергіей, считался однимъ изъ лучшихъ офицеровъ въ полку, за что и былъ назначенъ командиромъ нестроевой роты, куда на продовольствіе лошадей и командъ отпускаются большія суммы. Поэтому командиръ полка, узнавъ, что Корытцевъ ведетъ азартную игру, призвалъ его къ себѣ для объясненія.

— Капитанъ, до меня доходятъ свѣдѣнія, что вы ведете большую игру. Въ вашемъ положеніи это предосудительно.

Рѣзкій тонъ не смутилъ Матвѣя Сергѣевича, и онъ отвѣтилъ съ достоинствомъ:

— Господинъ полковникъ, вамъ доложили правду—я играю. Но вы можете не опасаться за казенныя суммы; если же считаете меня способнымъ къ дурному поступку, то прошу уволить меня отъ командованія ротой или произвести внезапную ревизію.

— Я этого не желаю... поймите, не желаю!—горячился Падимовъ.—Но вы ставите меня въ очень тяжелое положеніе. Вы—прекрасный офицеръ и батюшка—священникъ, достойный всякаго уваженія. Что же съ вами дѣлать? Я чувствую, что дождусь отъ обоихъ какой-нибудь крупной

непріятности, а между тѣмъ мнѣ не хочется васъ трогать.

Объясненіе окончилось ничѣмъ, и игроки продолжали вести непрерывный бой съ переменнымъ счастьемъ. То священникъ гарцовалъ въ великолѣпной енотовой шубѣ рублей въ пятьсотъ, а жена его въ бархатной лисьей ротондѣ, то Петръ Викторовичъ плелся по морозу въ драповой старой рясѣ, которая въ хорошую минуту жизни валялась гдѣ-нибудь въ сундукѣ. То же самое было и съ Корытцевымъ. То его видѣли съ брильянтами на рукахъ, свободно и громко разговаривавшимъ, то свирѣпымъ до того, что дрожала вся нестрогая рота.

Вотъ какіе люди сошлись на вечеръ священника и отважно бились на зеленомъ полѣ.

Поставивъ двойку, по пяти копеекъ очко, и сдѣлавъ перерывъ, Владычинскій, закусывая икрой выпитую рюмку водки, старался показывать, что не волнуется, но на самомъ дѣлѣ чувствовалъ такое тревожное состояніе духа, что у него тряслись руки. Я замѣтилъ это и тихо сказалъ священнику:

— Петръ Викторовичъ, вамъ сегодня не везетъ. Не лучше ли забастовать?

Онъ окрысился на меня:

— Василій Егоровичъ, я васъ люблю и уважаю, но какъ прежде, такъ и теперь, прошу такихъ совѣтовъ не давать. Я не маленькій и знаю, что дѣлаю.

Проговоривъ это, онъ стремительно подошелъ къ столу и взялъ карты. Я невольно взглянулъ ему въ лицо. Оно было блѣдно и слегка подерги-

валось. Не спокоенъ былъ и Корытцевъ. Посмотрѣвъ на своего главнаго противника, онъ какъ-то болѣзненно улыбнулся, закусилъ губу, сталъ часто мигать глазами и, положивъ на столъ стасованныя карты, проговорилъ:

— Я бастую.

— Почему? Почему?—набросится на него Владычинскій.—Не будете больше играть?

— Нѣтъ, буду, только стану понтировать, а мечеть пусть кто-нибудь другою.

Усмотрѣлъ ли капитанъ въ пріемахъ священника приближающійся моментъ, когда батюшка дѣлалъ рѣшительную атаку, и не хотѣлъ рисковать, или почувствовалъ въ душѣ наплывъ сомнѣнія, при которомъ игрокъ начинаетъ проигрывать, но онъ благоразумно ретировался и, собравъ выигрышныя деньги, пошелъ въ столовую.

Съ выходомъ Корытцева игра пошла тише и ставки меньше; даже батюшка присмирѣлъ, находя нерасчетливымъ зарываться, когда въ банкѣ сто рублей. Онъ какъ бы берегъ свои силы, надѣясь, что главный врагъ его Матвѣй Сергѣевичъ не устоитъ противъ искушенія и снова подсядетъ къ столу.

Выпивъ рюмку англійской горькой и закусивъ сардинкой, капитанъ тщательно уложилъ выигранныя деньги въ бумажникъ и, потирая руки, прошелся нѣсколько разъ по кабинету, потомъ подошелъ къ банкомету и, положивъ подъ карту горсть смятыхъ ассигнацій, проговорилъ:

— Кушъ подъ картой.

Валеть былъ данъ,

Взявъ выигрышъ, Корытцевъ опять прошелся нѣсколько разъ по кабинету и сталъ что-то тихо напѣвать. Это хладнокровіе бѣсило Владычинскаго. Онъ нѣсколько разъ искоса взглянулъ на гостя и, не выдержавъ, съ укоризной замѣтилъ:

— Матвѣй Сергѣевичъ, играть, такъ играть, а то что фланировать-то!

— А вотъ погодите, спина отойдетъ, сяду.

Коминъ металъ неудачно. Первый банкъ сорвали быстро, на второмъ онъ продержался подольше, но и его расхватили. Сутаевъ, игравшій по маленькой, взявъ пятьдесятъ рублей, всталъ.

— Съ меня на сегодня довольно,—проговорилъ онъ.

Игра становилась болѣе и болѣе вялой. Для вдохновенія игроки то и дѣло подходили къ закускѣ. Но исправникъ, не любившій портить аппетита, заявилъ громогласно:

— А что у здѣшнихъ хозяевъ есть дурная привычка кормить ужиномъ?

Слова почетнаго гостя произвели желаемое дѣйствіе. Батюшка вышелъ изъ кабинета и, возвратившись, объявилъ:

— Сейчасъ будутъ подавать. Тамъ все готово.

Черезъ нѣсколько времени въ дверяхъ показалась толстуха Софья Ивановна и объявила:

— Дорогіе гости, просимъ закусить.

Ужинъ былъ приготовленъ на славу. Сначала на столѣ появилась великолѣпная осетрина, подернутая янтарнымъ жиромъ, за ней слѣдовала индѣйка и мелкая дичь, потомъ мороженое двухъ сортовъ. Всѣ ѣли съ большимъ аппетитомъ, записывая хорошими винами,

— Ты, батька, на этомъ не отдѣлаешься. Надо вспрыснуть вчерашній выигрышъ. Подавай шампанскаго!—говорилъ Коминъ, когда подали жаркое.

— А вы, что жъ, не видите, что бокалы стоятъ? Дайте срокъ, подадутъ.

Во время всего ужина Петръ Викторовичъ чувствовалъ себя дурно. Проигравъ семьсотъ рублей, онъ рвался вернуть ихъ и досадовалъ, что гости такъ медленно ѣдятъ. Наконецъ настала желанная минута. Всѣ встали изъ-за стола и возвратились къ прерванной игрѣ.

— Кто же будетъ метать?—спрашиваетъ Владычинскій.

— Ваша очередь,—отвѣтилъ ему Корытцевъ.

— Я и не отказываюсь, извольте!—соглашался священникъ, распечатывая новую колоду.—Триста рублей въ банкъ.

Батюшка рассчитывалъ, что гости, возбужденные виномъ, ринутся на банкъ, и игра пойдетъ бойко, но ошибся. Даже Корытцевъ былъ сдержанъ и ставилъ маленькіе куши. Маневрируя такимъ образомъ, ему не разъ удавалось, утомивъ банкмета, въ двѣ-три карты срывать значительные банки. Это понималъ Петръ Викторовичъ и съ робостью поглядывалъ на своего злѣйшаго врага. Ожидая катастрофы и не желая быть свидѣтелемъ того, какъ кто-нибудь будетъ разбитъ впухъ и прахъ, я незамѣтно пробрался въ прихожую, надѣлъ пальто и вышелъ на улицу. Придя на квартиру, я посмотрѣлъ на часы: было безъ четверти пять.

Проснувшись въ одиннадцать часовъ, я одѣлся и пошелъ къ Владычинскому узнать, чѣмъ кончи-

лась игра. Едва я переступилъ порогъ квартиры батюшки, какъ понялъ, въ чемъ дѣло. Меня встрѣтила Софья Ивановна съ заплаканными глазами.

— Проигрался... такъ проигрался... до послѣдней копейки... Пошелъ къ жиду закладывать серебро и другія вещи.

Я очутился въ очень глупомъ положеніи. Утѣшать было смѣшно и бесполезно. Нужно было, не дожидаясь намека, явиться съ помощью.

— Возьмите-ка у меня двадцать пять рублей. Вѣрно, они вамъ будутъ теперь въ самую пользу.

Обрадованная матушка спрятала бумажку въ карманъ и вышла послать кухарку за Петромъ Викторовичемъ.

Часъ спустя, не повидавшись съ Владычинскимъ, я катилъ въ деревню.

IV.

Все время, пока я доѣхалъ до ротнаго двора, личность священника не выходила у меня изъ головы. Я вспоминалъ, когда видѣлъ его въ лазаретѣ съ причастіемъ въ рукахъ у постели умирающаго, когда любимый всѣмъ полкомъ батюшка съ чувствомъ глубокаго участія и вѣры напутствовалъ уходившаго въ иной міръ, и тутъ же представлялся мнѣ Петръ Викторовичъ съ колодой картъ въ рукахъ возлѣ ломбернаго стола, срывающій банкъ въ двѣ тысячи,—другими словами, покушающійся на собственность ближняго. Второе такъ не соотвѣтствовало первому, что я становился втупикъ. Истинное ли онъ духовное

лицо, проникнутое глубокой вѣрой въ свою миссію, или жалкій лицемѣръ, играющій комедію? Думалъ я, думалъ и никакъ не могъ рѣшить этой задачи. Личность Владычинскаго такъ была сложна, что въ ней могъ бы разобраться только присяжный психологъ. Но меня такъ интересовалъ Петръ Викторовичъ, что я рѣшилъ, рано или поздно, вызвать его на откровенную бесѣду и узнать, чѣмъ наполнена душа этого человѣка и откуда явилась въ немъ масса противорѣчій.

Прошелъ мѣсяцъ. Наша рота прибыла въ полковой штабъ для занятія карауловъ какъ разъ ко дню полкового праздника. Этотъ день очень чествуется въ войскахъ. Утромъ всѣ находящіеся въ городѣ воинскіе чины сведены были въ одну изъ городскихъ церквей, гдѣ обѣдню служилъ уже не мѣстный батюшка, а полковой священникъ.

Я нарочно сталъ поближе къ алтарю, чтобъ хорошенько видѣть Владычинскаго и отчетливо слышать проповѣдь, которую онъ будетъ говорить. Отецъ Петръ, какъ всегда, былъ великолѣпенъ. Онъ проявлялъ столько благородства въ движеніяхъ и такъ проникся тѣмъ, что совершалъ, что мы, глядя на него, съ благоговѣніемъ стояли въ храмѣ. Каждый возгласъ, произносимый батюшкой, такъ былъ величественъ и задушевенъ, что невольно проникалъ во всѣ сердца. Передъ нами былъ вдохновенный духовникъ, молившійся отъ чистаго сердца и любившій свою паству. Но когда наступилъ причастный стихъ и Владычинскій, появившійся у аналоя, сталъ говорить проповѣдь,—тутъ онъ дошелъ до апогея. Темой для проповѣди былъ призывъ ко всеобщей любви,

добротѣ и сострадательности. Въ горячей рѣчи отецъ Петръ указывалъ, что человѣкъ можетъ считать себя созданнымъ по образу Божию и подобію только тогда, когда носить въ сердцѣ благожеланіе къ ближнему и чуждъ гордости, своекорыстія и лжи. Все это, конечно, были старыя истины, но сопоставленія отличались оригинальностью. Онъ указывалъ на то, что не тотъ—добрый человѣкъ, кто броситъ подачку нищему, подпишется въ пользу бѣдныхъ, а тотъ, кому чужое горе тяжестью ложится на душу и кто, помогая, не величается, а творитъ добро по-братски о Христѣ. Къ концу проповѣди Владычинскій воодушевился, и глаза его свѣтились огнемъ фанатика.

— Итакъ, братія!—сказалъ онъ въ заключеніе.— Да не прикоснется къ вашей рукѣ ничто чужое, и вы со спокойной совѣстью сложите ваши персты для крестнаго знаменія, съ полнымъ спокойствіемъ, что на нихъ не осталось слѣдовъ любостыжанія. Поднимемъ же этотъ могучій знакъ готовности страдать и любить и помолимся, чтобы Господь далъ намъ силу исполнить Его завѣтъ и съ твердостью и смиреніемъ идти по стопамъ Искупителя. Аминь.

Во время сказанной проповѣди въ церкви стояла мертвая тишина. Духовный ораторъ производилъ подавляющее впечатлѣніе простотой, силой и выразительностью. Передъ слушателями былъ не заурядный поучитель, а вдохновенный ораторъ, способный глубоко проникать въ сердца людей.

Когда Владычинскій, проговоривши „аминь“, осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и, сдѣлавъ плав-

ный поклонъ наполнившимъ церковь, ушелъ въ восточныя врата, среди молящихся послышались тяжелые вздохи и шопотъ одобренія.

Впечатлѣніе отъ проповѣди было такъ велико, что я невольно забылъ, что говорившій о добрѣ, участіи и сострадательности—тотъ самый страшный картежникъ, „батька Петръ Викторовичъ“, какъ Владычинскаго называлъ Коминъ, а не тотъ пастырь, только что громившій людскіе слабости и пороки. Придя немного въ себя, я невольно опять спрашивалъ себя: „Кто же передъ нами? Актеръ или убѣжденный духовный мыслитель, но больной человѣкъ, не умѣющій бороться со своими страстями?“ Отвѣтить на это было бы нетрудно, если бы обаятельная личность Владычинскаго не отгоняла желанія даже мысленно осудить его. Онъ попрежнему оставался въ моихъ глазахъ сфинксомъ.

Послѣ обѣдни, парада и поздравленія роты офицерство разбрелось по квартирамъ, а потомъ всѣ находившіеся при штабѣ собрались къ командиру роты на обѣдъ. Батюшку, явившагося благословить хлѣбъ-соль и раздѣлить съ нами трапезу, встрѣтили очень радушно и поздравляли съ блестящею проповѣдью. Петръ Викторовичъ краснѣлъ, конфузился и, пожимая всѣмъ руки, съ наивною улыбкою отвѣчалъ:

— Благодарю васъ, господа, но вы слишкомъ снисходительны ко мнѣ. Говорилъ отъ сердца, какъ умѣю.

Обѣдъ прошелъ очень оживленно, съ обычными тостами и рѣчами, послѣ чего нѣкоторые простились, а другіе усѣлись играть въ карты. Въ числѣ

ихъ, конечно, были Владычинскій и Корытцевъ. Они выбрали себѣ компанію и составили партію въ преферансъ по три копейки съ котломъ. Игра въ сущности маленькая, но они ухитрились окончить ее такъ, что проигрышъ оказался въ девяносто рублей, и поплатился Корытцевъ. Матвѣй Сергѣевичъ до того обозлился, что вскочилъ со стула, бросилъ деньги и съ раздраженіемъ проговорилъ:

— И нашелъ же я съ кѣмъ играть? У васъ, батюшка, только и на умѣ, какъ бы партнеру каверзу сдѣлать!

— Позвольте! — въ свою очередь, возмущался Владычинскій. — Это къ вамъ гораздо больше относится. Проиграли вы потому, что понятія не имѣете о преферансѣ.

Побранившіеся разошлись и не отвели души, заложивши банкъ, потому что командиръ роты не любилъ азартной игры. Но это не помѣшало имъ отправиться вечеромъ на „огонекъ“ и произвести схватку боевую.

V.

Отбывъ при полковомъ штабѣ срокъ караула, наша рота возвратилась на прежнюю стоянку, въ деревню, и жизнь потекла обычнымъ порядкомъ.

Зима подходила къ концу. Наступилъ Великій постъ, а потомъ — недѣля, назначенная намъ для говѣнія. Пріѣзжавшаго священника по большей части ротные командиры помѣщали въ своей квартирѣ. Мой же начальникъ былъ семейный и самъ

ютился въ тѣснотѣ. Поэтому я предложилъ направить батюшку ко мнѣ, чему Петръ Викторовичъ очень обрадовался.

Въ назначенный день къ крылечку подѣхали сани, запряженные ротной лошадыю; на козлахъ сидѣлъ конюхъ. Я вышелъ встрѣтить отца Петра и едва узналъ его, такъ онъ исхудалъ и поблѣднѣлъ. Подойдя подъ благословеніе, что Владычинскій очень любилъ, я ввелъ его въ свою квартиру.

— Заранѣе прошу извиненія, если вамъ будетъ у меня не совсѣмъ удобно,—предупреждать я гостя, когда онъ снималъ верхнее платье.

— Ахъ, Василій Егоровичъ, что вы говорите! Мнѣ совѣстно, что я стѣсню васъ.

Снявъ шубу и калоши, онъ ходилъ по хатѣ постукивалъ ногами объ полъ.

— Однако свѣжо сегодня, я озябъ.

— Сейчасъ, батюшка, подадутъ водочки, чайку, вы и отогрѣетесь.

— Чаю выпью съ удовольствіемъ, а о водкѣ вы не беспокойтесь. Я не пью теперь.

— Одну-то рюмку? Это даже необходимо съ мороза.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не буду.

Распорядившись подать самоваръ, я сталъ спрашивать у Владычинскаго, что новаго въ полку, но онъ уклонялся отвѣчать, отговариваясь, что ничего не знаетъ.

Смотря на изможденное лицо священника, я не могъ не спросить о здоровьѣ Владычинскаго, на что онъ отвѣтилъ съ удивленіемъ:

— Почему же вы думаете, что я боленъ?

— Вы такъ похудѣли, блѣдны.

— Это ничего не значить, я чувствую себя прекрасно. Правда, немного утомился, но теперь для священника такое время, что приходится не жалѣть силъ.

— Что вы, батюшка, кушаете? Рыбкой можно васъ попотчевать?

— О нѣтъ! Что вы!—испуганно сказалъ Петръ Викторовичъ.—Я не ѣмъ ея. Да и вообще я прошу васъ не беспокоиться. Нѣсколько ложекъ супа, каша съ растительнымъ масломъ, вотъ и все, что мнѣ нужно. Да еще... чашечку кофейку съ миндальнымъ молокомъ. Это я позволяю себѣ, потому что кофе поддерживаетъ мои силы.

Мнѣ въ первый разъ приходилось принимать Владычинскаго при такихъ условіяхъ. Въ прежніе года рота говѣла въ городѣ, и я не зналъ, какой образъ жизни ведетъ полковой священникъ во время Великаго поста, и товарищи не сообщали ничего особеннаго о батюшкѣ.

Выспросивъ, что можно подавать батюшкѣ къ обѣду и ужину, я пошелъ въ хозяйскую избу, гдѣ должны были готовиться кушанья, и повелѣ бесѣду объ этомъ предметѣ въ моимъ денщикомъ Терентьевымъ.

— Батюшка рыбы не кушаетъ.

— Слушаю-съ. Стало-быть, имъ по порядку не положено? Это дѣйствительно...

— Ты не распускай языка, а слушай, что тебѣ говорить!

— Слушаю-съ.

— Что же намъ приготовить ему?

— Шти со снитками.

— Дуракъ, вѣдь это жъ рыба!

— Снитки-то? Нешто можно ихъ за рыбу счесть?

— Что съ тобой разговаривать, оселъ. Тебѣ говорятъ, что нельзя, значитъ, нельзя!

— Тогда можно съ грибами, а то похлебку картофельную.

— Ты свари щи, а на второе... рисовыя котлеты со сладкимъ соусомъ.

— Это, стало-быть, чернослива и изюма припустить? Слушаю-съ!

— На третье клюквенный кисель съ сахаромъ и съ миндальнымъ молокомъ.

— И это можно-съ.

— Потомъ кофе сварить, да покрѣпче, и опять подашь миндальнаго молока, только чтобъ густое-прегустое было. Смастеришь?

— Чего, лучше требовать не нужно, какъ потрафлю.

Обѣдомъ священникъ остался очень доволенъ. Щи оказались очень вкусными, отъ котлетъ же онъ пришелъ въ восторгъ, хвалилъ и кисель, а особенно — искусно приготовленное миндальное молоко.

— Денщикъ у васъ поварски готовить. Вѣрно, дома при кухнѣ состоялъ?

— Нѣтъ, онъ прямо отъ сохи. Но вѣдь русскій солдатъ таковъ: немножко объяснишь, покажешь, вотъ вамъ и стряпунъ.

Когда подали кофе, то Петръ Викторовичъ пришелъ въ изумленіе отъ сливокъ.

— Знаете, это такая прелесть, что я рѣдко встрѣчалъ. Сколько разъ говорилъ Софѣѣ Ивановѣ, что у нея сливки не удаются, а вотъ можно

же сдѣлать, какъ слѣдуетъ. По прїѣздѣ непремѣнно сдѣлаю ей замѣчаніе.

Дѣйствительно, сливки были великолѣпны. Наливая въ чашку, я подозрительно посмотрѣлъ на Терентьева, но на его глупомъ лицѣ не замѣтилъ никакого смущенія. Онъ не взглянулъ ни на кого изъ насъ, а стоялъ, какъ автоматъ, опутивши глаза.

Послѣ обѣда батюшка выразилъ желаніе отдохнуть и, улегшись на приготовленную для него постель, уснулъ сладкимъ сномъ.

Къ вечернему чаю пришелъ ротный командиръ, чтобы провѣрить списокъ говѣльщиковъ. Затѣмъ посланъ былъ въ сосѣднее село вѣстовой съ подтвержденіемъ, что завтра имѣетъ начаться въ приходской церкви говѣніе нижнихъ чиновъ.

Послѣ легкаго ужина, состоящаго изъ соленыхъ грибовъ и рисовыхъ котлетъ, батюшка пожелалъ окончить день и успокоиться. Я улегся и, не отдыхая послѣ обѣда, скоро заснулъ. Уступивши свою кровать отцу Петру и помѣстившись на лавкѣ, гдѣ мнѣ Терентьевъ устроилъ довольно жесткую постель, я скоро отлежалъ бокъ, проснулся и слышалъ шопотъ — это отецъ Петръ вычитывалъ молитвы. Я посмотрѣлъ черезъ дверную щель и увидѣлъ, какъ Владычинскій стоялъ на колѣняхъ и, поднимая руки надъ головой, усердно молился. Не желая смутить его въ такую торжественную минуту, я опять улегся, но заснуть уже не могъ. Пробило двѣнадцать, потомъ часъ... До моихъ ушей не переставало доноситься тихое чтеніе молитвъ. Наконецъ все затихло. Я опять посмотрѣлъ въ дверную щель и увидѣлъ отца

Петра попрежнему стоявшимъ на колѣняхъ и упавшимъ ницъ.

Когда пробило два часа, Владычинскій послѣдній разъ троекратно, нѣсколько возвысивъ голосъ, сказалъ: „Господи, помилуй!“ и сталъ раздѣваться.

Мнѣ очень хотѣлось сказать съ нимъ нѣсколько словъ, но я счелъ непристойнымъ беспокоить человека, столько часовъ отдававшагося молитвѣ.

Отецъ Петръ скоро уснулъ, и я послѣдовалъ его примѣру. Въ седьмомъ часу я услышалъ за перегородкой кашель, а затѣмъ шаги батюшки. Приходилось вставать и одѣваться.

Въ десятомъ часу мы отправились со священникомъ въ село, куда изъ окрестныхъ деревень сходились солдаты. Когда мы входили въ церковь, мѣстный батюшка, окончивъ службу, выходилъ изъ алтаря. Отецъ Петръ сбросилъ шубу, калоши и, отдавъ шапку одному изъ говѣльщиковъ, подошелъ къ старику подъ благословеніе.

Оказавъ радушный пріемъ, настоятель велѣлъ сторожу поставить ширмы, аналой, небольшой столикъ и стулъ. Удаляясь, священникъ просилъ меня и отца Петра зайти къ нему откусать хлѣба-соли, но Владычинскій наотрѣзъ отказался отъ обѣда, объяснивъ, что онъ до конца исповѣди никогда не принимаетъ пищи, и просилъ позволенія зайти только на стаканъ чая. Я же отложилъ исповѣдь до утра и поѣхалъ домой позаботиться объ отцѣ Петрѣ.

— Что ты сегодня готовишь?—обратился я къ Терентьеву.

— Супъ картофельный, солянку грибную на сквородѣ да миндальный кисель.

— Что жъ, это хорошо. А скажи мнѣ, пожалуйста, отчего это у тебя такія были вкусныя ши и котлеты?

— Такъ ужъ готовилъ, чтобъ вкусно было,— съ глупѣйшей улыбкой отвѣчалъ Терентьевъ.

— Что жъ ты зубы скалишь? Должно-быть. какую-нибудь штуку продѣлалъ? Говори!

— Да я малость коровьяго маслица подпустилъ для сдобы. Съ лучкомъ, какъ его поджаришь, оно и не примѣтно, особливо, когда сверху постнымъ помажешь.

— Ахъ, ты, животное! Вѣдь это жъ грѣхъ!

— Вотъ вы, ваше благородіе, изволите говорить—грѣхъ, а подай-ка я такъ, чтобы батюшка не кушалъ, вы и разгнѣвались бы.

Сказавъ это, Терентьевъ махнулъ рукой и хотѣлъ выйти. Я остановилъ его.

— Постой, постой! Ну, а какъ ты миндальныя сливки дѣлалъ?

Онъ фыркнулъ и отвѣтилъ съ разстановкой:

— Съ крынки снялъ да и подмѣшалъ коровьихъ.

— Вотъ погоди, я скажу завтра священнику, онъ тебѣ задастъ, какъ баловаться!

— Да я самъ скажу, когда они станутъ уѣзжать, и прощенія буду просить.

Священникъ вернулся изъ села, когда уже стемнѣло и вездѣ зажглись огни.

Послѣ обѣда батюшка прошелся нѣсколько разъ по избѣ и попросилъ позволенія прилечь, „чтобы дать костямъ отдохнуть“, какъ онъ выразился.

— Можетъ-быть, вы уснете?—обратился я къ нему.

— Нѣтъ, теперь уже поздно. Лучше раньше ляжемъ.

Я сѣлъ подлѣ его кровати и сталъ спрашивать объ исповѣдникахъ, доволенъ ли онъ ихъ религіозностью.

— Въ общемъ это обыкновенные люди, но нѣсколько человѣкъ вызвали мое вниманіе. Невольно скажешь: какъ неисповѣдимъ Промыслъ Божій и сколько таится невѣдомаго въ тайникахъ души человѣческой!

Отецъ Петръ вздохнулъ, покачалъ головой и, подперши рукой голову, сталъ смотрѣть въ полъ. По лицу его сначала пробѣжала грустная улыбка, потомъ брови нахмурились, и взоръ сталъ неподвижнымъ. Этотъ моментъ показался мнѣ удобнымъ, чтобы исполнить свое намѣреніе и вызвать Владычинскаго на откровенность.

— Да, батюшка, вы правы! Много у людей скрывается въ душѣ, и нѣкоторые люди остаются загадкой даже тогда, когда ихъ хорошо знаешь.

Я проговорилъ эту фразу очень выразительно. Петръ Викторовичъ повернулъ ко мнѣ лицо и пристально смотрѣлъ.

— Вы удивляетесь моимъ словамъ, Петръ Викторовичъ,—продолжалъ я,—и, можетъ-быть, догадываетесь, о комъ я говорю? Да, дорогой мой, вы именно тотъ сфинксъ, котораго я никакъ не могу разгадать.

Владычинскій не далъ мнѣ договорить фразы.

— Василій Егоровичъ,—началъ онъ тихо,—вы коснулись такого вопроса, который для меня самого составляетъ большое мѣсто. Я себѣ стараюсь не отвѣчать на него, а вы хотите, чтобы я

отвѣтилъ вамъ. Но... извольте, я готовъ удовлетворить вашему любопытству.

— Нѣтъ, не любопытству, а сердечному, горячему желанію узнать васъ еще болѣе!

Владычинскій сидѣлъ на кровати, спустивъ ноги, и нѣкоторое время молчалъ; затѣмъ началъ надтреснутымъ голосомъ, не смотря на меня:

— Тотъ только счастливъ, кто смогъ добровольно выбрать себѣ путь въ жизни. Тогда онъ знаетъ, куда итти. Но что долженъ чувствовать человѣкъ, чужой волей брошенный туда, куда не влекла его душа? За что онъ тамъ могъ ухватиться и въ чемъ искать спасенія? Изъ такой борьбы люди выходятъ калѣками. Вотъ почему я кажусь сфинксомъ и вотъ разгадка тому, что вамъ кажется непонятнымъ!

Отецъ Петръ провелъ руками по своимъ роскошнымъ волосамъ и, перемѣнивъ тонъ, продолжалъ:

— Отецъ мой былъ деревенскимъ дьячкомъ. У него было трое дѣтей: я и двѣ меньшія сестренки. Какъ большинство мелкаго духовенства, онъ придерживался чарочки, но все-таки велъ домъ въ порядкѣ. У насъ было три лошади, четыре коровы, а это для деревенскаго хозяйства не мало. Матушка моя никогда не отличалась хорошимъ здоровьемъ. Она не то, что была опасно больна, а все недомогала. Это сдѣлалось съ тѣхъ поръ, когда отецъ, подъ пьяную руку, неосторожно толкнулъ ее и она упала съ крыльца. Когда я подросъ, меня отдали въ семинарію. Лѣтомъ, прѣзжая домой, я ясно видѣлъ, что отецъ годъ отъ году все больше и больше предается излишеству

и губить себя виномъ. Тягостно было слушать, какъ матушка горевала, боясь остаться больной съ тремя дѣтьми на рукахъ. Не разъ, оставаясь со мной наединѣ, она гладила меня по головѣ, горячо цѣловала и говорила: „Петя, голубчикъ, будь хоть ты намъ кормильцемъ! Самъ видишь, на отца надежда плохая... Богъ не оставитъ тебя“. Въ свою очередь, я покрывалъ ея милое лицо поцѣлуями и клялся положить послѣднія силы и пробиться въ люди, чтобы дать покой ей, хворой. И какъ же я старался! Когда товарищи бѣгали, играли, я не выпускалъ изъ рукъ книги и всегда шелъ первымъ ученикомъ. Бывало, архіерей вызоветъ меня на экзаменѣ, похлопаетъ по плечу и милостиво скажетъ: „Молодецъ, Владычинскій! Продолжай такъ учиться, я тебя не забуду“. Я слушалъ его, а самъ думалъ: „Спасибо за обѣщаніе, но я не хотѣлъ бы быть попомъ“. Меня тянуло къ себѣ совсѣмъ другое. Я хотѣлъ учиться и выдвинуться въ большіе люди. Когда меня перевели въ послѣдній классъ и я считалъ, что ничто не мѣшаетъ мнѣ осуществить мой планъ, какъ вдругъ получилъ извѣстіе, что отецъ умеръ. Это было для меня жестокимъ ударомъ. Приходилось уже думать не о карьерѣ, а о томъ, какъ устроить и поддерживать мать и сестеръ. Но что могъ сдѣлать я для своей семьи, если бы продолжалъ учиться? Я понималъ свою немощь и доходилъ до отчаянія. Въ одну изъ такихъ минутъ пріѣхала матушка и опять стала умолять не покинуть ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ она отправилась къ владыкѣ и, поклонившись ему въ ноги, объяснила свое положеніе. Архіерей, увидѣвъ передъ собой изможден-

ную женщину и узнавъ, что она моя мать, очень сочувственно отнесся къ ней и, отпустивъ, сказалъ: „Не безпокойся, я сдѣлаю все, что могу. Твоему сыну послѣ выпуска я дамъ хорошій приходъ“. И, дѣйствительно, онъ исполнилъ свое слово. Какъ только я получилъ дипломъ, преосвященный призвалъ меня, допустилъ къ рукѣ и мягкимъ голосомъ сказалъ: „Владычинскій, по твоимъ успѣхамъ тебѣ слѣдовало бы быть академикомъ, но Всемогущій Судья иногда рѣшаетъ не такъ, какъ намъ хочется. Долгъ христіанина и любящаго сына обязываетъ тебя не думать о себѣ, а принять близко къ сердцу участь твоей матери и сестеръ. Ищи невѣсту и принимай санъ, я буду тебѣ покровительствовать“. Что можно было отвѣтить на это, какъ не благодарностью? Я поблагодарилъ, еще разъ поцѣловалъ руку владыки и, сказавъ, что исполню его волю, вышелъ, едва удерживая слезы. Я какъ будто предчувствовалъ, что мое рѣшеніе искалѣчить мнѣ всю жизнь. Вскорѣ я получилъ указаніе, что въ одномъ изъ богатыхъ селъ овдовѣвшій священникъ сдаетъ мѣсто съ тѣмъ, чтобы зять женился на его дочери. Я отправился туда. Меня встрѣтилъ крѣпкій старикъ очень благообразной наружности. Узнавъ о цѣли моего пріѣзда, онъ сталъ чрезвычайно любезенъ, предупредителенъ и рисовалъ жизнь сельскаго священника очень радужными красками. Указывая на то, какъ отрадно возвѣщать божественное слово темному люду, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не забылъ упомянуть и о томъ, что умѣлой рукой можно получать за это обильную лепту. Смотря на мое молодое, красивое, съ наивной улыбкой лицо, онъ,

вѣроятно, нашелъ меня вполне подходящимъ мужемъ для его дочери, не отличавшейся ни красотой, ни лоскомъ, ни бойкостью. При такомъ сватовствѣ, какимъ было мое, конечно, не требовалось изліяній чувствъ. Мнѣ объявили, что принимаютъ мое предложеніе, и назначили день свадьбы. Софья Ивановна, сдѣлавшись моей женой, привязалась ко мнѣ всѣмъ сердцемъ, но я оставался равнодушнымъ къ ней. Мной руководила одна мысль—дать покой и пріютъ моей семьѣ, а о личномъ счастьѣ я и не думалъ тогда. Принимая санъ и вступая въ бракъ съ дочерью отца Ивана, я ставилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы моя матушка и сестры находились при мнѣ. На это будущій тестъ изъявилъ полное согласіе и съ чувствомъ проговорилъ: „Вы правы въ своихъ желаніяхъ, кровныхъ нельзя бросать на произволъ судьбы. Пусть переѣзжаютъ. Будемъ жить хоть въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ“. Выслушавъ такія теплыя слова, мнѣ не могло прійти въ голову, что они говорились не отъ чистаго сердца, а изъ расчета, чтобы не упустить меня. Поселившись въ селѣ Буграхъ, я скоро перетасилъ къ себѣ матушку и сестеръ. Первое время отецъ Иванъ присматривался ко мнѣ и поучалъ, какъ вести себя. Я служилъ обѣдни, заутрени, вечерни, ѣздилъ съ требами по крестьянскимъ хатамъ и понемножку входилъ въ кругъ своихъ дѣйствій. Но какъ только дѣло касалось свадебъ, крестинъ и погребеній, это все совершалъ отецъ Иванъ. Такой образъ дѣйствій показался мнѣ подозрительнымъ, и я обратился къ нему съ вопросомъ: почему онъ устраняетъ меня отъ исполненія на-

званныхъ обрядовъ. Это не понравилось ему, и онъ рѣзко замѣтилъ мнѣ: „Не вмѣшивайся, пожалуйста, не въ свое дѣло!“ Его слова, въ свою очередь, задѣли меня: „Почему же не въ свое? Я—штатный священникъ, и это именно мое дѣло. Прихожанамъ можетъ показаться, что я избѣгаю своихъ прямыхъ обязанностей“.—„Ты мнѣ, пожалуйста, рацей не разводи! Ты сытъ, одѣтъ, живешь въ теплѣ, и родичи твои ни въ чемъ не нуждаются. Скажи „слава Богу“ и благодари свою судьбу“. Тутъ я увидѣлъ, что я взятъ въ домъ не какъ самостоятельный человѣкъ, а какъ подручный священникъ, которымъ можно помыкать какъ угодно. Мое болѣзненное самолюбіе не выдержало, и я не могъ долѣе молчать. „Всякій штатный священникъ живетъ на доходъ отъ прихожанъ, и я существую не вашими милостями. Вы напрасно полагаете, что я могу находиться у васъ подъ опекой и думать вашей головой“. Тестъ посмотрѣлъ на меня широко открытыми глазами и съ ехидной улыбкой проговорилъ: „А, ты вотъ какъ сталъ поговаривать? Смотри, не обожгись!“ Съ самага прїѣзда моихъ родныхъ отецъ Иванъ хотъ и не показывалъ открыто неудовольствія на то, что они поселились въ его домѣ, но очень сухо относился къ матушкѣ, а на сестеръ даже покрикивалъ. Я нѣсколько разъ хотѣлъ вступиться, но Соня обезоруживала меня. Она выказывала столько заботъ больной женщинѣ и дѣвочкамъ, что мнѣ тяжело было огорчать ее. Послѣ нашего столкновенія обращеніе тестя съ моими родными еще ухудшилось. Тогда я, въ свою очередь, сталъ устраивать ему

сюпризы. Зная, что главной доходной статьей были свадьбы, за которые отецъ Иванъ дралъ съ крестьянъ немилосердно, я рѣшилъ, какъ только представится случай, обвинять молодыхъ, не торгуясь заблаговременно, и обвинчалъ. Придя изъ церкви, я отдалъ ему полученные мною два рубля. Это взбѣсило его до того, что онъ швырнулъ скомканныя бумажки на столъ, сталъ топтать ногами, кричалъ и ругалъ меня, какъ только можно было. Не помня себя отъ гнѣва, онъ дошелъ до того, что задѣлъ мою матушку и сестеръ, назвавъ ихъ побирушками. На это я отвѣтилъ ему угрозой, что, какъ штатный священникъ, имѣю право лишить его всякихъ сношеній съ прихожанами и сдѣлаю это, если онъ осмѣлится когда-нибудь сказать что-либо подобное. Позеленѣвъ отъ злости, тестъ, не имѣя, что возразить, твердилъ только: „Погоди! Погоди!“ Я, какъ человѣкъ кроткій по натурѣ, употреблялъ всѣ мѣры, чтобы избѣгнуть столкновеній съ отцомъ Иваномъ, но это оказывалось невозможнымъ. Онъ старался подорвать мой престижъ между крестьянами, обвиняя въ томъ, что я недостаточно богомоленъ, а помѣщикамъ и благочинному указывалъ на мой либерализмъ. Проповѣди были моимъ единственнымъ утѣшеніемъ, но я не могъ ничего говорить, въ чемъ бы тестъ и владѣльцы не усмотрѣли вреднаго. Однимъ словомъ, жизнь моя сложилась такъ дурно, что я не только ропталъ, а доходилъ до отчаянія. Одно утѣшало и радовало меня — ожиданіе будущаго ребенка. Наконецъ онъ родился. Я привязался къ нему всей душой, носилъ его на рукахъ, самъ убаюкивалъ и безпре-

станно подходилъ къ его кровати. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ отцомъ, я почувствовалъ большую привязанность къ Сонѣ и старался угодить тестю, чтобы хоть этимъ дать всѣмъ спокойствіе, но отецъ Иванъ былъ злопамятенъ и не могъ мнѣ простить проявленія самостоятельности. Онъ поминутно жаловался на большіе расходы, чѣмъ, конечно, намекалъ на то, что моя семья обременяла его. Положеніе дѣлалось день ото дня невыносимѣе, но я молчалъ, скрѣпя сердце. Видя, что наши распри съ тестемъ стали доходить даже въ церкви до непристойности, что подрывало уваженіе къ духовенству, я рѣшилъ уступать отцу Ивану и отойти на второй планъ. Такъ тянулось томительное, безотрадное время. Два года спустя, моя матушка, и безъ того больная, не смогла вынести ада, въ который попала, и быстро стала угасать. Передъ смертью она подозвала меня къ себѣ, перекрестила и сказала: „Спасибо, Петя, Богъ наградить тебя за то, что ты свою душу клалъ за насъ. Знаю, что не оставишь сестеръ. Но мнѣ тебя жалко, ты мученикъ, и я буду молиться за тебя и за Соню“. Ея смерть нравственно не произвела никакого впечатлѣнія на отца Ивана. Для него только стало въ домѣ однимъ ртомъ меньше, меня же кончина матушки глубоко потрясла. Только религія и любовь къ ребенку поддерживали мои силы... — Только религія и любовь къ ребенку поддерживали мои силы, — повторилъ о. Петръ, — однако и онѣ измѣнили. Я сталъ чувствовать потребность хоть какъ-нибудь забыться и не чувствовать тяжести своего положенія. Не пившій до тѣхъ поръ почти ничего,

я пересталъ избѣгать угощеній и не разъ возвращался домой навеселѣ. Это дало поводъ отцу Ивану еще сильнѣе насѣсть на меня. Онъ бранился, выговаривалъ, но я уже успѣлъ притупиться ко всему, не дѣлалъ никакихъ возраженій, а ходилъ молча или огрызался. Крестьяне, знавшіе характеръ и воззрѣнія отца Ивана, вполне сочувствовали мнѣ и выражали почтеніе за то, что я не заражаюсь меркантильностью стараго священника. Встрѣчаясь на улицѣ или въ хатѣ, старъ и малъ съ нескрываемымъ чувствомъ радости подходили подъ мое благословеніе. Это было лучшимъ доказательствомъ, что между мной и паствой была неразрывная связь. Да, она была! Исповѣдуя своихъ прихожанъ, я страдалъ ихъ страданіями и терзался ихъ муками. Они открывали мнѣ свою наболѣвшую душу и сбрасывали съ сердца накипѣвшую злобу на своихъ мучителей. Ко мнѣ приходили мученики, терпѣливо несшіе свой крестъ крѣпостного права. Ихъ изможденные тѣла и сознаніе полнаго безправія наводили на меня глубокую печаль. Я впиталъ въ себя міровую скорбь, охватившую тогда всю мыслящую Россію, и возсылалъ молитвы, чтобы Господь смилостивился и положилъ конецъ угнетенію братьевъ о Христѣ. Это чувствовали всѣ, притекавшіе ко мнѣ, и они смотрѣли на своего пастыря, какъ на моельщика и заступника передъ Богомъ. Могло ли что-нибудь связывать меня съ отцомъ Иваномъ, не понимавшимъ, что такое высшіе идеалы, къ которымъ обязанъ стремиться человѣкъ, созданный по образу и подобию Божію. Протекли года. Одна моя сестра вышла

замужъ за учителя, другая — за зажиточнаго купца. Обуза свалилась съ плечъ тестя, и намъ стало легче жить. Но судьба не перестала преслѣдовать меня. Единственный нашъ ребенокъ заболѣлъ и умеръ.

Проговоривъ это, отецъ Петръ поникъ головой, очевидно, переживая жгучія воспоминанія. Потомъ онъ вздохнулъ, оправился и продолжалъ:

— Много пережито, Василий Егоровичъ, и многое предано забвенію. Но эти дни не исчезнуть изъ памяти до конца моихъ дней. Послѣ такого страшнаго несчастья я окончательно потерялъ волю надъ собой. Вино, вино и вино — вотъ что сдѣлалось цѣлью моей жизни. Вставая утромъ, я уже брался за графинъ и цѣлый день ходилъ какъ въ туманѣ. Нерѣдко изъ прихода, куда я ѣздилъ съ требой, меня привозили на телѣгахъ въ безчувственномъ состояніи, какъ мертвое тѣло. Я доходилъ даже до того, что, какъ тварь безсловесная, валялся въ канавѣ. У кого билось въ груди сердце, тѣ понимали, что я заливаю безысходную тоску, но для отца Ивана я былъ только пьяницей, и онъ не стѣснялся при всѣхъ обзывать меня такъ. Если бы подлѣ меня была женщина энергичная, стоящая умственно въ уровень со мной, она могла бы повліять на чело-вѣка, сбитаго катастрофой съ нормальнаго пути, но Соня, добрая, забитая, недалекая и безцвѣтная женщина, могла только плакать и терзаться, что она и дѣлала. Прошло нѣсколько такихъ ужасныхъ лѣтъ. Я осунулся и пожелтѣлъ. Надежды на что-нибудь не оставалось въ моей душѣ; я чувствовалъ, что гибну, и покорился своей

участи. И я погибъ бы, если бь Самъ Богъ не явился ко мнѣ на помощь. Разъ, когда меня привезли изъ прихода едва стоявшимъ на ногахъ, я засталъ Соню плачущей, чего я давно уже не видѣлъ. Она подошла ко мнѣ и, растроганная, проговорила: „Петя, ты ведешь дурную жизнь, но Богъ не отвернулся отъ насъ. Онъ нашелъ насъ своею милостью—я опять буду матерью“. Ея слова были ударомъ для меня. Я старался понять, сообразить то, что она сказала, и чувствовалъ, какъ во мнѣ просыпаются чувства, которыхъ я давно не ощущалъ. Что-то тяжелое подкатило подъ сердце, я упалъ на столъ головой и зарыдалъ какъ ребенокъ. Съ того дня во мнѣ забушевала страшная борьба. Отстать отъ укоренившейся привычки къ вину сразу было невозможно. Стоило выпить немного, чтобы явилась неукротимая жажда пить еще и еще. Въ этой борьбѣ я доходилъ до изнеможенія и въ безсиліи бороться останавливался на мысли покончить съ собой. Я молился часами о ниспосланіи мнѣ воли одолѣть пагубную страсть, но условія жизни сельскаго священника таковы, что всѣ усилія были напрасны. Безлюдіе, отсутствіе книгъ, однообразіе, обиды, если священникъ отказывается отъ угощеній въ домахъ,—все это должно было пагубно вліять на человѣка, ослабѣвшаго духомъ. Соня, слышавшая не разъ мои разсужденія, простымъ умомъ дошла до того, что намъ нужно было дѣлать. „Петя,—сказала мнѣ она,—я вижу, какъ тебѣ трудно здѣсь бороться съ собой; уйдемъ изъ деревни. Ты не можешь быть сельскимъ священникомъ. Поѣзжай къ пре-

освященному, покаяйся ему, какъ на духу, и проси совѣта, какъ поступить“. Я ухватился за мысль Сони и, приведя себя въ порядокъ, черезъ нѣсколько дней поѣхалъ въ губернский городъ. Владыкой былъ тотъ же епископъ Никодимъ, который такъ милостиво отнесся ко мнѣ при выпускѣ. Увидя меня, онъ грубо спросилъ: „Ты зачѣмъ?“ Я поклонился ему въ ноги и подошелъ подъ благословеніе, но онъ не благословилъ меня, а молча смотрѣлъ и ждалъ, что я скажу. Я стоялъ, какъ приговоренный, опустивши голову, и только послѣ большого усилія могъ негромко проговорить: „Владыка, я большой грѣшникъ, пришелъ покаяться и просить у васъ духовной помощи“... Тутъ я не выдержалъ и заплакалъ. Это смягчило преосвященнаго. Морщины на его челѣ разгладились, и онъ безъ гнѣва спросилъ: „Пришелъ покаяться? Искать духовной помощи? Что жъ я могу для тебя сдѣлать, если ты забылъ совѣсть и живешь такъ грѣховно? Но ты вовремя пришелъ, потому что терпѣніе мое уже изсякло, и кара на тебя грянула бы не сегодня—завтра. Ты ли это, Петръ, — съ укоризной продолжалъ онъ, — на котораго я возлагалъ такія надежды? Если столько времени я смотрѣлъ сквозь пальцы на твое поведеніе, то только жалость воздерживала меня. Чего же теперь ты хочешь?“ — „Одного, владыка, чтобы вы выслушали меня и указали путь, по которому я долженъ слѣдовать“. — „Говори“, сказалъ мнѣ преосвященный Никодимъ и указалъ слѣдовать за собой. Придя въ скромно, изящно обставленный кабинетъ архіерейскаго помѣщенія, онъ сѣлъ въ большое кресло,

обтянутое коричневой клеенкой, и сдѣлалъ знакъ, что слушаетъ меня. Не только съ робостью, но съ душевнымъ трепетомъ я излилъ передъ нимъ свою душу, не утая и того, что стремился служить на иномъ поприщѣ и, уступивъ только необходимости поддержать близкихъ родныхъ, сдѣлался священникомъ; потомъ же, окрѣпши духомъ, стремился стать истиннымъ служителемъ Церкви и сталъ любимымъ пастыремъ своей паствы. Увидя, что владыка терпѣливо слушаетъ мою исповѣдь, я обрисовалъ безвыходное положеніе сельскаго священника, попавшаго въ руки лица, эксплуатирующаго темный людъ. Забывъ, что предо мной преосвященный, которому мы подчинены, я высказывался, какъ человѣкъ съ надорванной душой. Моя рѣчь походила на болѣзненный стонъ человѣка, доведеннаго до отчаянія и искавшаго спасенія. Владыка понялъ это и долго сидѣлъ въ глубокой задумчивости, потомъ всталъ, поднялъ глаза къ небу и упавшимъ голосомъ проговорилъ: „Боже, осѣняющій насъ Своей десницею и вразумляющій грѣшниковъ! Отпусти то, что содѣяно не во славу Твою!“ Затѣмъ, подойдя ко мнѣ, онъ положилъ руку на мою голову и продолжалъ: „Петръ, ты—та неизбѣжная жертва, которую требуетъ отъ насъ жизнь. Ты не чувствовалъ призванія быть духовникомъ и именемъ Бога разрѣшать грѣхи людей, но ты сдѣлался имъ случайно. Воистину ли ты полюбилъ потомъ свое служеніе—я не знаю, но отречься отъ сана и возвращаться въ міръ тебѣ поздно. Такихъ зовутъ разстригами и къ нимъ относятся съ презрѣніемъ, а ты, по своему уму и душев-

нымъ качествамъ, не заслуживаешь этого. Тебѣ нужно итти по избранной дорогѣ, но прилагать свой талантъ и усердіе тамъ, гдѣ тебя поймутъ и отвлекутъ отъ неизбѣжнаго соблазна. Ты будешь въ обществѣ равныхъ себѣ, а не избѣгающихъ тебя. Я устрою тебя полковымъ священникомъ. Это лучшее, что я могу указать. Согласенъ ли ты?“ Я упалъ на колѣни и съ горячей любовью цѣловалъ у преосвященнаго руки, которыхъ онъ уже не отнималъ. „Встань, Петръ,—сказалъ онъ, благословляя меня,—и иди съ миромъ. Да просвѣтитъ Господь твои мысли! Побѣждай въ село и молись о томъ, чтобы Господь разогналъ тучи, нависшія надъ тобой, и явилъ чудо, избавивъ тебя отъ грѣховнаго влеченія къ вину. Въ скоромъ времени ты получишь увѣдомленіе, на что можешь надѣяться“. Отвѣсивъ еще разъ низкій поклонъ владыкѣ, я обновленнымъ вышелъ изъ архіерейскаго помѣщенія. Предомной открывались такіе горизонты, о которыхъ я никогда не мечталъ. Домой я возвратился другимъ человѣкомъ. Соня, узнавъ рѣшеніе преосвященнаго Никодима, отъ радости повисла у меня на шеѣ, а потомъ, упавъ передъ образомъ на колѣни, твердила: „Господи, благодарю Тебя!“ Не такъ почувствовалъ себя отецъ Иванъ. Услышавъ о томъ, что свершилось, онъ сначала не повѣрилъ, а потомъ какъ-то съезжился и смотрѣлъ растеряннымъ. Ударъ былъ, дѣйствительно, слишкомъ силенъ. Духовное лицо, столько лѣтъ бывшее для цѣлаго прихода огромной величиной, вдругъ теряло почву и, какъ заштатный священникъ, не опиравшійся на зятя, должно было

обратиться въ ничтожество. Разставаясь со мной, онъ терялъ и дочь, единственного близкаго ему человѣка на свѣтѣ. Моему тестю въ будущемъ оставалось найти или пристанище въ монастырѣ, или доживать свой вѣкъ въ печальномъ одиночествѣ. Тутъ только отецъ Иванъ образумился и старался возратить то, что было уже потеряно. Онъ сталъ заискивать въ насъ, увѣряя, что все, что онъ дѣлалъ, было проявленіемъ отцовской любви и желаніемъ оставить послѣ себя средства, на которыя мы могли бы безбѣдно существовать. Но все было напрасно. Я не вѣрилъ ему и безповоротно рѣшилъ вступить на путь, указанный мнѣ преосвященнымъ Никодимомъ. Мои ожиданія продолжались около двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ пришла бумага, въ которой меня увѣдомляли, что я назначенъ священникомъ въ полкъ. Отецъ Иванъ растерялся. Трудно сказать, что было въ его душѣ, но по наружности его онъ сталъ неузнаваемъ. Куда дѣвался зычный голосъ, которымъ онъ громилъ крестьянъ, являвшихся къ „попу“ условливаться въ цѣнѣ за вѣнчаніе? Куда дѣвался бодрый видъ тестя и его наставительный тонъ? Все въ нашемъ домѣ измѣнилось, словно въ немъ лежалъ покойникъ. Дѣйствительно, у насъ вѣяло смертью, потому что порывались кровныя связи, распадалась семья. Тяжело было сознаться въ этомъ властному хозяину, царившему въ домѣ десятки лѣтъ, а еще тяжелѣе было признать себя побѣжденнымъ и просить пощады у тѣхъ, кого онъ безжалостно угнеталъ. Ненависть ко мнѣ, шедшему ему всегда наперекоръ и громившему за дѣйствія, не соответствовавшія ду-

ховному лицу, была велика сама по себѣ, но она усиливалась еще болѣе отъ сознанія, что я, врагъ, увожу съ собой его единственную дочь. Лицо и вся фигура отца Ивана показывали, какъ онъ глубоко страдалъ. Прійти же и раскаться въ своемъ заблужденіи и деспотизмѣ, которымъ онъ дѣлалъ намъ жизнь невыносимой, у него не хватало героизма. Тестъ томился, молчалъ и чего-то ждалъ, очевидно, того, что я первый захочу развязать узелъ, такъ крѣпко затянувшійся. Я же чувствовалъ себя легко и спокойно, уѣзжая изъ насиженного мѣста. Толпы крестьянъ приходили проститься со мной, и я видѣлъ искреннія слезы сожалѣнія, что я покидаю ихъ. Въ свою очередь, я объѣхалъ многія деревни, заходилъ въ хаты и благословлялъ встрѣчавшихъ меня. Смотри на сѣрыя похилившіяся избы, я чувствовалъ, что разставался съ мѣстомъ скорби, но близкимъ сердцу, и болѣлъ душой, что не смогъ исполнить своей миссіи, не внесъ свѣта въ этотъ темный уголокъ, не облегчилъ участи этихъ добрыхъ людей, и глубокая тоска давила мое сердце. Я старался оправдывать себя, обвинялъ другихъ, но въ глубинѣ души сознавалъ, что я не правъ, забывъ народное горе ради своего спокойствія, и былъ слабымъ дурнымъ пастыремъ. Въ каждомъ взглядѣ прихожанина я читалъ обвиненіе за мое малодушіе. Мои жалкія потуги бороться со зломъ казались мнѣ смѣшными. Я стыдился своего безсилія и желалъ, какъ можно скорѣе уйти изъ мѣста, напоминавшего мнѣ мое ничтожество. Наконецъ настало время отъѣзда. Чтобы не стѣснять отца Ивана лошадьми, я рѣшилъ

ѣхать въ праздникъ и пожелать въ этотъ день отслужить послѣднюю обѣдню. По этому случаю церковь до того набилась народомъ, что яблоку некуда было упасть, и на всѣхъ лицахъ я читалъ сожалѣніе о моемъ уходѣ. Когда я вышелъ, чтобы сказать прощальное слово, все замерло, словно въ храмѣ не было живыхъ людей. Не чувствуя въ себѣ силъ много говорить, я обратился къ прихожанамъ съ благодарностью за ихъ любовь и окончилъ свою рѣчь такими словами: „Братіе о Христѣ и духовныя дѣти! Мы съ вами молились тутъ усердно и просили у Бога защиты и милости; мы взывали къ Творцу о ниспосланіи намъ духа смиренномудрія, терпѣнія и любви. Любите же другъ друга! Только любовь дастъ вамъ утѣшеніе въ жизни; безъ нея человѣкъ обращается въ тварь. Терпите, все терпите, помня, что если Создатель, страдавшій за грѣхи наши, выносилъ жестокія терзанія, то что же мы — пылинки, съ нашими муками передъ Его великими муками. Не забывайте, что за незаслуженныя гоненія и горе вы наслѣдуете царствіе небесное, а ваши мучители будутъ отвержены Богомъ. Не предавайтесь отчаянію, потому что это одинъ изъ тяжчайшихъ грѣховъ. Напротивъ, мужайтесь; заря свѣта загорится и для васъ. Поминайте чаще слова пастыря, любившаго васъ, и вы будете всегда чувствовать душевное облегченіе. Прощайте же! Я буду молиться за васъ, и милосердый Богъ осѣнитъ васъ Своимъ покровомъ!“ Далѣе я не могъ говорить, слезы хлынули изъ моихъ глазъ, и я ушелъ въ алтарь. Наканунѣ Соня уложила наши вещи, и мы готовы были вполне къ тому,

чтобы выѣхать изъ Бугровъ. Уклонявшись долго отъ всякихъ разговоровъ съ тестемъ, я долженъ былъ на прощаніе высказаться. „Батюшка!—обратился я къ нему.—Несмотря на то, что я женатъ на вашей дочери, мы давно уже стали чужими“.— „Не я, а вы это сдѣлали!“ съ ожесточеніемъ проговорилъ отецъ Иванъ. „Не будемъ считаться,—спокойно отвѣтилъ ему я.—Все несчастіе въ томъ, что мы различно смотрѣли на вещи“. Я хотѣлъ разстаться съ нимъ, не сводя счетовъ, такъ какъ это было уже бесполезно, но тестъ остался вѣренъ себѣ и не выдержалъ. „Да, различно!—закричалъ онъ.—Вы хотѣли жить на шеѣ тестя, разыгрывая сердобольнаго священника, а когда это оказалось невозможнымъ, стали изображать огорченнаго героя и стали пьянствовать. Но все это намъ знакомо, и насъ удивить ничѣмъ нельзя. Вы уѣзжаете, думая, что попъ Иванъ—недостойный человѣкъ, а я соображаю иначе. Вы кто такой? Вами ли и вамъ подобными поддерживается то, что установлено духовенствомъ? Вы—краснобай, и больше ничего! Пусть дочь моя уѣзжаетъ съ вами и я останусь бобылемъ, но я не преклонюсь передъ такимъ, какъ вы, и просить прощенія у васъ не буду. Съ Богомъ, съ Богомъ, уѣзжай!“ Задорный тонъ, съ которымъ все это говорилось, сначала смутилъ меня, но я скоро оправился и, не возвышая голоса, отвѣтилъ тестю: „Да, батюшка, вы правы; меня во многомъ можно винить. Я пилъ и этимъ принижалъ званіе священника, но прихожане—люди и понимаютъ, что я тоже человѣкъ, способный поддаться грѣху, и они не осудили меня. Вы

видѣли, съ какою любовью и уваженіемъ они всегда относились ко мнѣ и съ какой жадностью слушали каждое мое слово. Я виноватъ не тѣмъ, что былъ неводержанъ къ напиткамъ, а другимъ. На моей совѣсти остался гнетъ, что я не сумѣлъ бороться успѣшно противъ вашего корыстолюбія, не слилъ свою жизнь съ ихъ жизнью, а бѣгу побѣжденнымъ и не сумѣвшимъ стать выразителемъ и насадителемъ свѣтлыхъ началъ, которыя намъ заповѣдалъ Христосъ. Вотъ что отзывается болью въ моемъ сердцѣ и что заставляетъ меня уйти отсюда, неся не побѣдно голову, а опустивши очи. Простите же меня за все то тягостное, что я невольно причинилъ вамъ, простите, такъ какъ Сынъ Человѣческій завѣщалъ намъ прощать“. Отвѣсивъ ему низкій поясной поклонъ, я подошелъ подъ благословеніе. Тутъ отецъ Иванъ не выдержалъ; перекрестивши, онъ заплакалъ и обнялъ меня. Проявилось ли въ немъ сознаніе своей неправоты, или онъ призналъ чистоту всегдашнихъ моихъ побужденій, но его слезы показались мнѣ искренними. Прижимая меня къ своей груди, онъ твердилъ: „Ты не понималъ меня, ты не понималъ!“ Видя, какъ рѣзко измѣнился отецъ Иванъ въ обращеніи, мнѣ стало легче на душѣ. Соня, узнавъ о перемѣнѣ, происшедшей съ отцомъ, радовалась какъ дѣвочка. Мы разставались съ тестемъ, можетъ-быть, навсегда, но уже не врагами. Наши счета были всѣ кончены, оставалась родственная связь, вызывавшая добрыя отношенія. Мнѣ даже жаль стало батюшку. Я видѣлъ ясно, какіе печальные дни придется переживать одинокому старику при но-

вомъ штатномъ священникѣ. Привыкнувъ быть полновластнымъ хозяиномъ надъ прихожанами и разомъ утратить всякое значеніе — такіе удары, конечно, нелегко переносить. Я однимъ успокоивалъ себя, что онъ, а не я, былъ причиной раздора съ нами. Будь у него другой характеръ, я не захотѣлъ бы его разъединить съ единственной дочерью и пригласилъ бы его жить съ нами, но, зная нравъ отца Ивана, я не допускалъ мысли поселиться вмѣстѣ. Это было бы безконечной пыткой, отъ которой страдали бы всѣ. Тестъ самъ понималъ это, но не могъ удержаться, чтобъ не высказать сожалѣнія и, провожая насъ, обмолвился: „Не судилъ Богъ, чтобы дочка закрыла мнѣ глаза. Вы будете далеко, но если... — тутъ тестъ замялся и, уныло посматривая то на меня, то на Соню, продолжалъ: — годы мои уйдутъ и наступитъ дряхлость, не покиньте отца. А пока я еще въ силахъ, не буду сидѣть безъ дѣла, стану трудиться“. Послѣ очень теплаго прощанія мы вышли изъ его дома, чтобъ навсегда покинуть Бугры. Такъ какъ день былъ праздничный, то все село высыпало на улицу, чтобы проводить насъ. Прощаніе наше было такое, что я теперь, когда прошло уже много лѣтъ, не могу вспомнить этого дня безъ волненія. Ко мнѣ бросались цѣловать руки, нѣкоторые кланялись въ ноги, и почти всѣ плакали, провожая истиннаго друга народа. Я самъ рыдалъ какъ ребенокъ.

Владычинскій опять замолчалъ отъ волненія, какъ бы собираясь съ мыслями. Его рассказъ, походившій на исповѣдь, приковалъ къ себѣ мое вниманіе, и я не хотѣлъ хотя бы однимъ словомъ

прервать его рѣчи. Помолчавъ немного, Петръ Викторовичъ продолжалъ:

— Наконецъ мы прибыли въ полкъ. Новая обстановка, новые люди и совершенно новыя отношенія сначала стѣсняли меня. Столько лѣтъ проживши въ деревнѣ, я одичалъ и конфузился, попадая въ офицерское общество. Но, постепенно осмотрѣвшись, я сжился со средой, въ которую попалъ. Со слабостью къ вину мнѣ стало уже нетрудно бороться, но все-таки нѣсколько разъ я не выдерживалъ и пилъ до излишества, хотя никто не узналъ объ этомъ. Попадая на пирушки, я старался не смотрѣть на водку, боясь, что вкусъ ея опять вызоветъ во мнѣ роковую жажду, и я не выдержу. Дѣлая надъ собой неимовѣрныя усилія, я позволялъ себѣ выпить нѣсколько рюмокъ портвейна или столоваго вина и этимъ постепенно отучилъ мой организмъ отъ прежней привычки и мирился съ тѣмъ, что сталъ пить вино, не производившее на меня такого дѣйствія, какъ водка. Но это было ненадежно. Мнѣ хотѣлось, чтобы какое-нибудь дѣло поглотило меня всего и не давало времени думать о возбужденіи. Но вы знаете, какъ обставлено положеніе полкового священника, чѣмъ онъ занятъ. Въ лѣтнее время приходится поочередно служить въ лагерной церкви, да и то только по праздникамъ, а окончатся лагери — и пойдешь въ уѣздный городъ, какъ я, гдѣ нѣтъ особеннаго храма для военныхъ. Ну, и гуляй, потому въ приходскихъ церквахъ свое духовенство, которому невыгодно пускать постороннее лицо. Остаются случайныя требы: свадьбы, крестины, похороны, но много

ли этого? Все это я переиспытать и поневоле́ стать задумываться, куда бы себя дѣтъ особенно въ длинные скучные зимніе вечера. Отвѣтъ пришель самъ собой. Сегодня карты, завтра, и такъ безъ конца. Какъ натура страстная, склонная къ порывамъ, я не могъ не только не втянуться, а увлекался безконечно. Когда наступалъ вечеръ, меня переставало уже тянуть къ чему-нибудь другому. Я шелъ отыскивать партію или звалъ кого-нибудь къ себѣ. Пристрастіе мое росло, и я незамѣтно для себя обратился въ заправскаго игрока. Временами на меня находить тягостное сознаніе, что такое поведеніе для духовника непростительно. Я борюсь съ собой и хочу сбросить новый гнетъ — и опять оказываюсь безсильнымъ. Въ своихъ уловкахъ я дохожу до того, что не только оправдываю то, что дѣлаю, но нахожу естественнымъ и хорошимъ игру, какъ противоядіе бывшему пристрастію къ вину. Жажда пить прошла совершенно. Я не боюсь уже теперь выпить двѣ-три рюмки водки; въ моей волѣ всегда стало во-время остановиться. Вотъ какъ сильна психическая дѣятельность въ человѣкѣ! Опасеніе, что послѣ выпитаго чрезмѣрно я потеряю самообладаніе въ игрѣ, стало для меня якоремъ спасенія. Стыдно въ этомъ сознаться, но я передъ вами — весь, безъ утайки. До сихъ поръ я никому не открывалъ своей души; вы первый вызвали меня на это. Не осуждайте же, когда увидите, что я, какъ хищникъ, нападаю на каждаго игрока, безъ сожалѣнія срываю банки и загребаю деньги. Я знаю, въ меня нужно бросить камнемъ и сказать: „Священникъ, духовное

лицо,—и обираетъ ближняго!“ но я не та натура, чтобы остановиться на полпути; меня не удовлетворяетъ мелочь, если я могу дойти до крупнаго. Жажда сильныхъ ощущеній такъ стала велика во мнѣ, что, не будь конечною цѣлью игры—деньги, игра стала бы кукольною комедіей и не волновала бы; другими словами, она обратилась бы въ праздную неинтересную забаву. Вы спросите, почему же я съ первымъ ударомъ великопостнаго колокола не беру картъ въ руки? Это время я не принадлежу себѣ. Я молюсь усердно о томъ, чтобы Господь простилъ мнѣ тѣ великія прегрѣшенія, которыя я совершаю, отрекаюсь отъ своего „я“ и хочу быть посланникомъ Божиимъ, которому дано разрѣшать грѣхи. Я убиваю свою плоть, забываю гордость, стараюсь преисполниться смиреніемъ и, дѣлая это, надѣюсь отстранить отъ себя гнѣвъ Божій. Вотъ, Василій Егоровичъ, каковъ я, котораго вы считаете загадочнымъ человекомъ. Все на свѣтѣ просто, какъ и проста сама жизнь.

Владычинскій всталъ съ кровати и сталъ прохаживаться по квартирѣ въ волненіи. Видя его утомленное лицо, я желалъ скорѣе дать ему покой. Напившись чаю, я предложилъ ему немедленно лечь въ постель.

Простившись со мной, онъ опять долго и долго молился, но я уже не наблюдалъ его, узнавъ, что человекъ этотъ не рисовался своею набожностью, а дѣйствительно сливался своими мыслями со Всевышнимъ.

Въ четыре часа утра мы были уже въ церкви, и отецъ Петръ читалъ правила. Такого чтенія я

не слышать никогда больше. Каждое слово раздавалось ясно на всю церковь и съ такою выразительностью, что невольно вызывало у говѣющихъ благоговѣніе.

Я удивился одному, какъ Владычинскій, обезсиленный постомъ и трудами, могъ выдерживать и не выказывать ни малѣйшей торопливости. Онъ отслужилъ заутреню, потомъ обѣдню, причастилъ семьдесятъ слишкомъ человѣкъ и вышелъ изъ церкви въ половинѣ перваго.

Ротный командиръ, какъ католикъ, въ церкви не былъ, а пріѣхалъ только къ причастію. Поздравивъ говѣльщиковъ, онъ простился съ отцомъ Петромъ, а я повезъ Владычинскаго обратно къ себѣ. Усѣвшись въ сани, я замѣтилъ:

— Ну, и служба жъ сегодня была. При вашей слабости и блѣдности простоять столько часовъ... это ужасно!

Батюшка кротно улыбулся и, вздохнувъ, проговорилъ:

— Когда Богъ даетъ силы, то для человѣка нѣтъ ничего невозможнаго.

Пообѣдавъ у меня и потомъ уснувъ, Петръ Викторовичъ горячо простился со мной и на артельной лошади уѣхалъ въ сосѣднюю роту.

VI.

Весной полкъ былъ стянутъ къ полковому штабу на тѣсныя квартиры и расположенъ по окрестнымъ деревнямъ. Изъ офицеровъ рѣдко кто находился при ротѣ, а большинство проживало въ городѣ.

Фронтковыя ученія производились на городскомъ выгонѣ, прилегавшемъ къ заставѣ. Для занятій роты приводились или очень рано утромъ, или около четырехъ часовъ пополудни. Шагистика и ружистика кончались въ восьмомъ часу, фельдфебели уводили солдатъ съ пѣснями на квартиры, и мы до слѣдующаго дня дѣлались свободными и проводили время въ свое удовольствіе.

Огромное скопленіе офицеровъ при полковомъ штабѣ очень оживляло городскую жизнь. Въ клубѣ устраивались экстренные танцевальныя вечера, на которыхъ молодежь залихватски отплясывала. Тамъ же картежная игра тянулась до свѣта. Но отецъ Петръ не ходилъ туда, предпочитая сражаться въ частныхъ домахъ, гдѣ никто не стѣснялъ его рѣзаться въ азартныя игры.

Обстоятельства его, бывшія послѣ проигрыша Корытцеву въ плохомъ состояніи, понемножку поправились, и отецъ Петръ щеголялъ въ прекрасной темно-сѣрой муаръ-антиковой рясѣ. Матвѣя Сергѣевича онъ сталъ побаиваться, и военныя дѣйствія были пріостановлены. Комично было смотрѣть, какъ эти люди, встрѣчаясь въ канцеляріи или у знакомыхъ, относились одинъ къ другому.

— Ну, что, батюшка, какъ дѣла?—съ ехидной улыбкой и потрогивая за плечо священника, спрашивалъ Матвѣй Сергѣевичъ.

— Превосходны-съ, превосходны!—съ изысканной вѣжливостью и отвѣшивая поклонъ, отвѣчалъ Петръ Викторовичъ.—Какъ ваши-съ?

— И мои недурны. Живемъ вашими молитвами.

Послѣдняя фраза всегда непріятно дѣйствовала на батюшку, но онъ старался не выказывать не-

удовольствія и переводилъ разговоры на другіе предметы.

Перерывъ, длившійся довольно долго, раздражалъ стороны болѣе и болѣе. Особенно Корытцевъ поступалъ не деликатно. Онъ вынималъ бумажникъ, туго набитый деньгами, и, похлопывая по немъ, подмигивалъ священнику.

— Петръ Викторовичъ, а вѣдь просятся къ вамъ въ карманъ.

— У васъ не такія деньги, чтобы отъ двора отбиться, крѣпко къ хозяину привязаны!

— Ученыя—правда! Могутъ постоять за себя, не то что ваши, захудалыя!

Зло кипѣло въ сердцѣ Владычинскаго настолько сильно, что онъ не разъ думалъ про себя:

„Ухъ, вздуть бы хорошенько этого нахала!“

Послѣ долгихъ сборовъ Петръ Викторовичъ набрался, наконецъ, храбрости и на одну изъ непристойныхъ выходокъ Матвѣя Сергѣевича отвѣтилъ вызовомъ:

— Миѣ было не до игры. Ни Великимъ постомъ ни на Святой недѣлѣ карты не шли въ руки. Да и вообще я рѣшилъ сдѣлать маленькій интервалъ, а если вы очень большого тона набрались, то давайте попытаемъ счастья!

— Bravo, bravo, батюшка!—одобрялъ капитанъ, усаживаясь за ломберный столъ.

Разговоръ происходилъ на вечерѣ у Комина, гдѣ собрались крупные игроки. Священникъ былъ въ ударѣ и срывалъ у Корытцева банкъ за банкомъ, но на этотъ разъ не лѣзъ очертя голову, а велъ игру степенно. Забравши тысячу рублей, онъ вдругъ неожиданно для всѣхъ забастовалъ.

Это взбѣсило Корытцева.

— Вы кончаете?—съ неудовольствіемъ спросилъ онъ священника.

— Да-съ, кончаю, съ васъ примѣръ взялъ. На сегодня съ меня довольно. Если каждый день по столку забирать, такъ хватить дѣтишкамъ на молочишко.

Врагъ, сѣвшій играть съ полной самоувѣренностью, былъ уязвленъ въ самое больное мѣсто. Ему показали характеръ, котораго прежде въ игрѣ батюшки не доставало.

— Молодецъ, Петръ Викторовичъ, наконецъ-то вы набрались благоразумія,—шепталъ я ему.—Смотрите же, крѣпитесь и сегодня не играйте больше!

— Не буду, голубчикъ, не буду! Выдержу себя!

Вечеръ кончился, и Владычинскій не взялъ картъ въ руки. На другой день, какъ и нужно было ожидать, Корытцевъ явился въ квартиру священника.

— А что, батюшка, не перекинемся ли?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, знаете, я не буду. Что-то не хочется.

— Вотъ глупости—„не хочется“! Велите-ка столкъ разставить!

— Такъ ужъ и быть, для васъ только, поиграемъ недолго,—соглашался Петръ Викторовичъ, усаживаясь противъ Корытцева.

Игра началась. Метали по очереди, но и на этотъ разъ Матвѣю Сергѣевичу не везло. Онъ то и дѣло доставалъ изъ бумажника радужныя. Это бѣсило его, и онъ то стучалъ рукой по столу, то швырялъ карты. Выигравши восемьсотъ рублей, батюшка опять забастовалъ.

— Вы что же, шутки со мной шутите?—дерзко проговорилъ капитанъ.

— Почему вы такъ думаете?—стараясь быть спокойнымъ, отвѣчалъ Владычинскій.—Игра—дѣло свободное, хочу—продолжаю, хочу—кончаю.

Корытцевъ перемѣнилъ тонъ и сталъ умолять:

— Пожалуйста, давайте, поиграемъ еще!

Но священникъ не уступалъ, и разозленный гость съ неудовольствіемъ ушелъ. На другой день утромъ вѣстовой принесъ Петру Викторовичу записку отъ Корытцева, который приглашалъ его и меня къ себѣ вечеромъ.

Когда Владычинскій вошелъ въ квартиру Матвѣя Сергѣевича, тамъ было человѣкъ семь, уже знакомыхъ ему лицъ. Ни о какой коммерческой игрѣ тутъ не было и помину. Всѣ знали, зачѣмъ сошлись, и немедленно стало раздаваться: „Уголь отъ десяти рублей“, „транспортъ съ кушемъ и по кушу очко“, „ва-банкъ“.

Петръ Викторовичъ старался маневрировать и ограничивался средними кушами, пока не утомилъ банкмета. Корытцевъ сталъ уже перебирать бумажки, лежавшія подлѣ него, и соображалъ, не забастовать ли, чтобъ уступить метать другому. Этимъ моментомъ воспользовался Владычинскій и, какъ орелъ, налетѣлъ на свою жертву. Написавъ на столѣ незначительную цифру, онъ небрежно спросилъ:

— Готово у васъ?

— Готово,—въ тонъ отвѣтилъ ему банкметъ.

Тогда Петръ Викторовичъ вскочилъ со стула, какъ ужаленный, и въ страшномъ волненіи, перебирая карты, опять сталъ смотрѣть въ потолокъ.

Корытцевъ поблѣднѣлъ. Вѣроятно, онъ пожалѣлъ въ душѣ, что не послушался внутренняго голоса, говорившаго ему, что время кончить игру. Тѣмъ не менѣе, порядочность игрока не позволяла ему отступить, и онъ съ покорностью ждалъ удара.

— По сто рублей очко,—заявилъ Петръ Викторовичъ.

Чтобы чѣмъ-нибудь досадить понтирующему, Корытцевъ потребовалъ обезпеченія.

— Деньги подъ карту!

— Ахъ, вы не вѣрите мнѣ? Достанемъ-съ,—улыбнулся священникъ и вытащилъ тысячу триста рублей.

Король данъ былъ соника. Отсчитавши въ банкѣ соотвѣтствующую сумму, Петръ Викторовичъ, обиженный недовѣріемъ, наотрѣзъ отказался продолжать игру.

Дня черезъ два игроки опять сошлись. Опять произошла жаркая битва, и опять пострадалъ капитанъ. На священника нашла добрая полоса. Въ такую пору игрокъ непобѣдимъ, и это нужно было бы принять въ соображеніе, но Корытцевъ зарвался и шелъ, что называется, безъ руля. Съ небольшимъ въ недѣлю онъ спустилъ священнику всѣ свои билеты и проигралъ двѣ тысячи казенныхъ денегъ, отпущенныхъ ему для закупки фуража. Когда эта вѣсть разнеслась по полку, то всѣ близко знавшіе Матвѣя Сергѣевича ожидали катастрофы. И дѣйствительно, Корытцевъ не допустилъ себя до преданія суду и покончилъ жизнь выстрѣломъ изъ пистолета.

Узнавъ о случившемся, отецъ Петръ, спасая свое достоинство, немедленно внесъ въ полкъ

числившіся за Матвѣемъ Сергѣевичемъ казенныя деньги и тѣмъ потушилъ дѣло, которое неминуемо возникло бы. Но самый фактъ самоубійства произвелъ на нравственную сторону священника потрясающее впечатлѣніе. Въ нѣсколько часовъ Владычинскій такъ измѣнился, что его трудно было узнать. Онъ понималъ, что пастырь, доведшій своего духовнаго сына до такого ужаснаго грѣха, какъ самоубійство, является не только тяжкимъ преступникомъ передъ Богомъ, но заслуживаетъ презрѣнія въ глазахъ общества. Возбужденіе противъ него въ полку было общее. Даже мнѣ казалось неловкимъ итти къ нему, но я отогналъ налетѣвшее на меня малодушіе и отправился къ отцу Петру.

Увидя меня, батюшка подошелъ и, тихо проговоривъ: „Спасибо, спасибо!“—опустился головой ко мнѣ на грудь.

— Успокойтесь, Петръ Викторовичъ,—утѣшалъ я его.—Одинъ Богъ безъ грѣха!

— Ужасно!.. Ужасно!.. — шепталъ онъ. — Кто могъ думать, что это случится? Былъ моментъ на послѣднемъ вечерѣ, когда я хотѣлъ спросить, какія онъ проигрываетъ деньги, но не сдѣлать этого, словно злой духъ удержалъ меня. Теперь мнѣ осталось одно—заболитъ мой грѣхъ, и я замолю его.

— Батюшка,—началъ я съ участіемъ.—Вамъ, какъ полковому священнику, придется совершить послѣдній обрядъ надъ Корытцевымъ. Будетъ ли это вамъ удобно? Подайте-ка лучше рапортъ о болѣзни!

— Бѣжать? Нѣтъ, Василій Егоровичъ, ни за что!—съ достоинствомъ отвѣтилъ онъ мнѣ.—Если я не могу укрыться отъ взора Всемогущаго Творца, то что мнѣ нареканія людей? Пусть бичуютъ меня, я даже желаю бичеванія. Моимъ смиреніемъ и душевными страданіями я въ собственныхъ глазахъ хоть сколько-нибудь искуплю грѣхъ. Я буду совершать обрядъ и желаю перенести униженіе. Отдавши же послѣдній долгъ усопшему, я уйду изъ вашего полка. Я уже подаль прошеніе о переводѣ меня въ одинъ изъ другихъ корпусовъ.

Во всемъ томъ, что говорилъ отецъ Петръ, слышалось отчаяніе. То, что собирался дѣлать священникъ, едва ли кто-нибудь другой рѣшился бы, но онъ геройски хотѣлъ перенести ниспосланныя муки.

Командиръ полка, находя неудобнымъ допустить Владычинскаго до отпѣванія Корытцева, призвалъ отца Петра къ себѣ, чтобы объявить, что онъ устраненъ отъ своей обязанности. Но увидя его, нѣкогда гордаго и цвѣтущаго, убитымъ, осунувшимся и со слезами на глазахъ, смягчился.

— Что вы сдѣлали? Что вы сдѣлали?—укорялъ онъ своего духовника.—И неужели у васъ хватитъ духа бросить горсть земли на гробъ того, кого погубили?

— Господинъ полковникъ, какъ милости прошу у васъ, не лишайте меня возможности отдать умершему послѣдній долгъ. Я явлю этимъ примѣръ смиренія и униженія, которымъ училъ Спаситель.

Командиръ полка посмотрѣлъ съ удивленіемъ на насъ, присутствовавшихъ при этомъ объясне-

ній, пожалъ плечами и, пораженный, проговорилъ:

— Совершайте!

Когда судебно-медицинская процедура надъ Корытцевымъ была окончена, Владычинскій сталъ служить надъ нимъ панихиды, а затѣмъ явился къ выносу его тѣла.

Прибывшіе для отданія воинской почести офицеры и нижніе чины не сочувствовали тому, что отцу Петру поручено отпѣваніе, но, когда увидѣли его, невольно у всѣхъ въ сердцахъ шевельнулось состраданіе. Видъ священника внушалъ ужасъ. Цвѣтъ лица у него былъ блѣдно-сине-зеленый, и глаза окружились темными пятнами. Батюшка суетливо облачился и дрожащими руками роздалъ свѣчи, но взоръ его не устремлялся на кого-нибудь, а блуждалъ въ пространствѣ. Въмѣсто звучнаго голоса отца Петра изъ его груди вырывались глухіе звуки.

Послѣ отпѣванія офицеры вынесли гробъ на рукахъ. Раздалась команда „на караулъ“, музыка заиграла „Коль славенъ“, и процессія подъ звуки похороннаго марша, въ сопровожденіи несмѣтной толпы, двинулась на кладбище, отстоявшее отъ храма болѣе, чѣмъ на версту.

Я не находился во фронтѣ и могъ свободно наблюдать Владычинскаго. Онъ шелъ погруженный въ себя, какъ будто на него не смотрѣли тысячи глазъ. Я представлялъ себѣ, какія муки долженъ испытывать этотъ человѣкъ, и удивлялся стоицизму, съ какимъ онъ переносилъ ихъ.

Отслуживъ нѣсколько разъ литію, Владычинскій съ искаженнымъ лицомъ бросилъ горсть

земли на гробъ своего бывшего противника и при общемъ холодномъ молчаніи собравшихся вокругъ могилы оставилъ кладбище. Однако силъ у этого человѣка хватило не надолго. Добравшись до квартиры, онъ лишился чувствъ. Когда я слѣдомъ за нимъ пошелъ успокоить Софью Ивановну, то увидѣлъ отца Петра лежащимъ на диванѣ, а подлѣ него матушку, старавшуюся привести его въ сознаніе.

Холодный ли день съ мелкимъ весеннимъ дождемъ, на что не обратилъ вниманіе Владычинскій, или потрясеніе подѣйствовало на него, но смерть Корытцева не прошла ему даромъ. Батюшка къ вечеру совершенно ослабѣлъ и слегъ въ постель. На другой день призванные врачи констатировали у него жестокий тифъ.

VII.

Полкъ выступилъ въ лагери на дивизионный сборъ, и я оставилъ Петра Викторовича больнымъ, между жизнью и смертью. Однако онъ выздоровѣлъ, и черезъ мѣсяцъ мы прочли въ приказѣ, что священникъ Владычинскій переводится въ полкъ другого корпуса, стоявшаго отъ насъ на большемъ разстояніи. Но прежде отправленія къ мѣсту новаго служенія отецъ Петръ, по распоряженію главнаго священника, былъ помѣщенъ въ одномъ изъ монастырей, гдѣ и прожилъ полгода на покаяніи.

Послѣ нашихъ добрыхъ отношеній я ожидалъ, что Петръ Викторовичъ не забудетъ меня и на-

пишетъ о своемъ житьѣ-бытьѣ. Но отъ него не было ни слуху ни духу. Прошло больше года. Я уже отчаялся узнать что-нибудь объ отцѣ Петрѣ, какъ вдругъ разъ вечеромъ ротный писарь подаль мнѣ увѣсистое письмо. Я не сразу могъ догадаться, отъ кого это посланіе, но, вскрывъ конвертъ, я увидѣлъ, что оно отъ Владычинскаго. Онъ писалъ:

„Дорогой другъ, Василій Егоровичъ!

„Жизнь человѣческая мчится по невѣдомому намъ пути. Въ этомъ прелесть нашего существованія и въ томъ же непрерывная цѣпь душевныхъ страданій. Счастливы тѣ, кому даны умѣніе и сила руководить своими желаніями и страстями, и горе тому, кто лишенъ этого. Простите за нѣсколько высокопарное вступленіе, но безъ него у меня не поднимается рука начать рѣчь о себѣ. Довольно прошло уже времени съ тѣхъ поръ, когда я пользовался вашимъ милымъ обществомъ и лишился его послѣ прискорбнаго случая, конечно, памятнаго вамъ. Я не хочу вѣрить, чтобы вы хоть изрѣдка не вспоминали о диковинномъ священникѣ, не имѣвшемъ силы устроить жизнь прилично своему сану. Да, Василій Егоровичъ, я не сумѣлъ этого сдѣлать. Но вы, которому я въ одну изъ минутъ откровенности разсказалъ про мое прошлое, не осудили и не отвратили своего сердца отъ человѣка, глубоко расположеннаго къ вамъ. Много уроковъ было мнѣ въ жизни, но послѣднимъ была смерть Корытцева. Она перевернула все мое существо, и мнѣ стыдно стало за то, что я считалъ простительнымъ. Ахъ, если бы мы могли всегда поступать такъ, какъ слѣ-

дуетъ! Общество, въ которомъ вращается человекъ, всегда захватываетъ каждого изъ насъ въ свои сѣти и дѣйствуетъ отравляющимъ образомъ. Прозабаніе въ уѣздномъ городѣ при отсутствіи умственной жизни и добраго вліянія много разъ подкапывало и не такія натуры, какова моя. Что дѣлаютъ люди, то дѣлаетъ человекъ. Не случись со мной печальной встрѣчи съ Матвѣемъ Сергѣевичемъ, я, навѣрное, до сихъ поръ рѣзался бы въ карты. Теперь конецъ этой позорной слабости. Я долго замаливалъ свой грѣхъ передъ престоломъ Всевышняго и далъ страшную клятву никогда не брать картъ въ руки. При этомъ извѣстіи вы невольно подумаете: чѣмъ же „озорной попъ, батка Владычинскій“ пополнить свою жизнь? Ужъ не вернулся ли опять къ пагубной страсти пить? Если хоть разъ вамъ въ голову запала такая мысль, то, я увѣренъ, дорогой мой, вы пожалѣли меня отъ чистаго сердца. Успокойтесь же, ничего подобнаго не случилось. Я не могъ оставаться только священникомъ; моя страстная натура искала еще чего-нибудь другого, что наполнило бы мое существованіе, и я нашелъ отраду въ искусствѣ. Всегда хорошо владѣя карандашомъ, я невольно натолкнулся на мысль попробовать свои силы въ живописи. Успѣхъ превзошелъ мои ожиданія. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ упорнаго труда изъ-подъ моей кисти стали появляться такія удачныя копіи съ картинъ, писанныхъ масляными красками, что я уже извлекаю изъ моей работы извѣстную выгоду. Если я скажу вамъ, что заработалъ уже до полутора ста рублей, то вы поймете, что это вдвойнѣ должно радовать меня, такъ какъ, кромѣ

художественнаго наслажденія, такая сумма для священника, при его маленькомъ окладѣ, куда какъ не лишняя. Затѣмъ я вспомнилъ свою скрипку, на которой учился играть, бывши въ семинарскомъ хорѣ, и теперь участвую въ очень симпатичномъ квартетѣ. Когда я измѣряю разстояніе, раздѣляющее мое прошлое отъ настоящаго, и вижу мою жену радостной, довольной и, лаская Маню, мечтаю о томъ, какъ внушить ей доброе правило въ жизни, то вы посочувствуете мнѣ, что я нашелъ то, что соотвѣтствуетъ моему сану и даетъ возможность жить разумно, прославляя Всевышняго. Обнимая васъ, желаю всего наилучшаго и, если позволите, моей дружеской рукой благословляю васъ на все доброе.

Петръ Владычинскій.

„Софья Ивановна шлетъ свои пожеланія и сердечный поклонъ. Ждемъ отвѣта. Напишите, если можно, подробно, какъ и что у васъ въ полку“.

Я, конечно, немедленно отправилъ ему отвѣтъ, но переписки продолжать не пришлось, такъ какъ сгушавшіяся на политическомъ горизонтѣ тучи перешли въ страшную грозу—началась Крымская кампанія. Событія быстро слѣдовали одно за другимъ, и раскаты орудій уже раздавались по берегу Чернаго моря и на Кавказѣ. Изъ скромныхъ земляныхъ укрѣпленій Севастополя выросла каменная твердыня. Началась правильная осада. Войскамъ, разбросаннымъ по необъятнымъ пространствамъ матушки-Руси, при бездорожьѣ и недостаткѣ перевязочныхъ средствъ трудно было скоро прибыть на театръ войны. Мы, подвигаясь, какъ говорится, черепашинымъ шагомъ, прибыли къ Сева-

стополю наканунѣ штурма, о которомъ начальство тайнымъ образомъ было предувѣдомлено. Поэтому прибывшія войска, несмотря на ихъ усталость, выдвинуты были на позицію сзади укрѣплений. Не успѣвши еще осмотрѣться и принохаться къ пороку, мы уже видѣли, какъ изъ нашихъ рядовъ вырывались жертвы и окровавленные трупы выносились за фронтъ.

Въ томительномъ ожиданіи прошла ночь. На другой день, едва занялась заря, какъ вся окрестность застонала отъ несмолкаемаго гула тысячей орудій. Кровь лилась рѣкой. Но вотъ бѣгутъ ординарцы и кричатъ: „Помощи! Помощи! Непріятель идетъ на штурмъ!“ Послышалась команда: „Вставай! Ружья воль-но! Шагомъ маршъ!“—и нашъ батальонъ поспѣшно направился къ бастіону. Подойдя къ укрѣпленію, мы увидѣли груды труповъ и порѣдѣлые ряды у бруствера. Солдаты немедленно бросились занимать мѣста. Вбѣжавши со своимъ взводомъ, я увидѣлъ, какъ французскія войска, выскочившія изъ третьей параллели, стремительно приближались. Минута была ужасная. Трескъ выстрѣловъ, густой дымъ, разстилавшійся вокругъ, крики раненыхъ, громкіе голоса начальниковъ, — все это сливалось въ такой хаосъ, среди котораго умъ тупѣетъ, и человѣкъ перестаетъ сознавать самого себя. Но кровавая схватка приближалась, и мы уже видѣли близко отъ гласиса французскія кепи. Вдругъ неподалеку отъ меня раздался зычнымъ голосомъ могучій призывъ:

— Братья, станемъ грудью за вѣру Христову, за царя и дорогую нашу родину! Ляжемъ костями,

примемъ вѣнецъ мученическій, но не уступимъ нашей твердыни!

Сначала я изъ-за дыма не могъ разсмотрѣть лица говорившаго, но вотъ пахнуло вѣтеркомъ, и я увидѣлъ отца Петра въ камилавкѣ, съ епитрахилью на груди и съ крестомъ, высоко поднятымъ въ рукѣ. Видъ священника, появившагося въ такой моментъ на возвышеніи, его рѣчь еще болѣе вдохновлявшая бившихся съ львиной храбростью солдатъ, и штурмъ былъ отбитъ.

Поспѣшно отступившій непріятель далъ намъ возможность вздохнуть свободнѣй, осмотрѣться и заняться пострадавшими. Ихъ была такая масса, что у насъ, непривычныхъ еще къ смерти, волосъ становился дыбомъ.

Едва отступили атаковавшія войска, какъ насъ засыпали снарядами. Десятки бомбъ и гранатъ разрывались и несли смерть. Приходилось тутъ же браться за лопаты и хоть немного засыпать бреши, образовавшіяся въ брустверѣ.

Среди всей этой суматохи въ укрѣпленіи я невольно обратилъ вниманіе на кучку сбѣжавшихся солдатъ, которые что-то съ любопытствомъ разсматривали и, снявши шапки, крестились.

Полагая, не убить ли кто-нибудь изъ начальства, я подошелъ убѣдиться, въ чемъ дѣло, и увидѣлъ отца Петра, лежавшаго на спинѣ и съ послѣднимъ вздохомъ крѣпко прижавшаго крестъ къ своему сердцу. Голова батюшки была слегка откинута назадъ, широко открытые глаза смотрѣли въ небо, и полуоткрытый ротъ какъ бы продолжалъ свой призывъ къ побѣдѣ. Чудное, вдохно-

венное выраженіе лица не оставило батюшку и въ послѣдній моментъ его жизни.

Такъ окончилъ свои дни этотъ неугомонный человѣкъ. Онъ нашелъ вѣчное успокоеніе на тысячномъ кладбищѣ, куда я всегда, когда бываю въ Севастополѣ, захожу съ благоговѣніемъ, чтобы помянуть память былыхъ героевъ и вспомнить моего друга, отца Петра.

Динарь.

Для офицера, живущаго на скромное жалованье и поставленнаго службою въ исключительныя условія, казенная прислуга занимаетъ въ его жизни очень видное мѣсто. Денщику приходится быть лакеемъ, поваромъ, кучеромъ, а нерѣдко и нянькой; на его попеченіи хозяйство, и ему же ввѣряется все имущество, такъ какъ многіе молодые люди по беззаботности не знаютъ, что такое запереть комодъ или сундукъ. Послѣ этого понятно, что, выбирая себѣ въ извѣстномъ родѣ опекуна, каждому офицеру приходится подумать, кого себѣ взять. Но ротные командиры зачастую поступаютъ эгоистично и стараются отдать въ услуженіе не подходящаго, а одного изъ малоспособныхъ къ фронту, лишь бы сбыть съ рукъ ненужнаго солдата. Такъ поступилъ и Косутинъ, когда я прибылъ на службу въ пѣхотный полкъ. Мнѣ указали на черемиса Ефима Григорьева, смотрѣвшаго гораздо старше своихъ лѣтъ, говорившаго ломанымъ русскимъ языкомъ и употреблявшаго кому бы то ни было исключительно мѣстоименіе „ты“.

Когда привели его ко мнѣ, онъ отвѣчалъ односложно: „Служаю“, „такъ точно“, „никакъ нѣтъ“,

при чемъ шурился, и на лицѣ его свѣтилась дѣтская улыбка. Григорьевъ слылъ въ ротѣ за необычайно честнаго человѣка, и я, не смущаясь его невзрачной наружностью, взялъ его къ себѣ денщикомъ. Да и онъ былъ доволенъ, такъ какъ тяготился нескончаемыми насмѣшками, направлявшимися на него въ ротѣ.

Этотъ человѣкъ напоминалъ собою скорѣй машину, чѣмъ живое существо. Упрямый до послѣдней степени, бережливый до смѣшнаго, вѣрностью походившій на самаго преданнаго цербера и домо-сѣдствомъ превосходившій лютаго мизантропа.

Черезъ нѣсколько дней я убѣдился, что записать, дѣйствительно, ничего не нужно и, уходя изъ дому, можно оставлять все на руки Ефима. Закупки производилъ также онъ и былъ до того расчетливъ, что мнѣ приходилось не разъ его ругать за скарденничество.

— Ты что же въ супъ столько мяса кладешь? Словно укралъ гдѣ-нибудь.

— Зачимъ больше! Больше ни надо. Ни съѣшь больше.

— Не твое дѣло разсуждать. Я не съѣмъ, тебѣ останется.

— У-у-у, что сказалъ,—хихикалъ Ефимъ и махалъ обѣими руками.—Минэ? Минэ не надо. Я съ ротнаго котла сытъ. Другой денщикъ въ карманъ сибѣ беретъ, а черемисинъ нѣтъ, потому черемисинъ—честный человѣкъ.

Национальная гордость была больнымъ мѣстомъ Ефима. Кстати или некстати, онъ то и дѣло выставялъ мнѣ на видъ, что онъ „черемисинъ“ и потому честный человѣкъ. Такое наивное хвастов-

ство заставляло меня не разъ улыбнуться, и я, чтобы подзадорить его, высказывалъ сомнѣніе:

— Ну, ужъ черемисы! Во-первыхъ, вы всѣ корявые...

— Зачимъ корявые?—перебивалъ онъ, не давая продолжать.—Черемисинъ у-си кра-асивый, а дѣвка, у, какой дѣвка! Хорошій дѣвка... Хи-хи-хи-хи!

Ефимъ заливался дѣтскимъ смѣхомъ, при чемъ морщился такъ, что глаза изображали двѣ узенькія скважины. Лицо до того тряслось, что рыжевatenькая борода его хлопала по груди.

— Ты, любезный, все хвастаешься. Вотъ чуваши—хорошій народъ.

При этомъ замѣчаніи лицо Ефима выражало ужасъ. Онъ переставалъ смѣяться и широко открытыми глазами смотрѣлъ на меня.

— Чу-а-шинъ?! Что ти сказалъ! Чуашинъ—ни-хорошій человѣкъ!

— Чѣмъ?

— Такъ... ни-хорошій человѣкъ.

— Да почему?

— Уси ни-хорошій человѣкъ.

— Да объясни чѣмъ.

— Говорю, ни-хорошій человѣкъ.

— Заладилъ одно—ни-хорошій человѣкъ, а ты объясни.

— Такъ, ни-хорошій человѣкъ.

Чтобъ разозлить патріота, я шелъ далѣе.

— Про васъ вонъ говорятъ, что вы елкамъ молитесь,—и это не вѣрно?

— Зачимъ елкамъ! Къ попу ходимъ, причастіе принимаемъ, потому черемисинъ—хорошій человекъ.

— Ты, пожалуй, скажешь, что и мордва хуже васъ.

Это замѣчаніе всегда прожигало Ефима, какъ искрой. Онъ поворачивался отъ меня корпусомъ и смотрѣлъ черезъ плечо съ укоризной, потомъ начиналъ опять хохотать.

— Мордвинъ, мордвинъ... Мордвинъ совсѣмъ ни-хорошій человѣкъ.

— Это по-твоему, а спроси кого другого, такъ и скажутъ, что вамъ далеко до нихъ.

— Кто скажетъ? Никто ни скажетъ. Хи-хи... Мордвинъ! Хи-хи-хи... мордвинъ! Къ попу не ходить, кошку ѣсть, какой это чловѣкъ? Нихорошій чловѣкъ мордвинъ.

Въ этой національной гордости и въ сознаніи своего превосходства, можетъ-быть, и была та сила, которая удерживала черемиса отъ двусмысленныхъ поступковъ. Онъ не только не пользовался моей копейкой, но не прикасался къ тому, что оставалось отъ моего стола.

Разъ я вошелъ въ квартиру, и меня обдало зловоніемъ. Откуда оно шло, я не могъ догадаться.

— Ефимъ, отчего тутъ такая вонь?

— Ни могу знать. Може-бить, крыса подъ поломъ сдохла.

Такой аргументъ показался мнѣ убѣдительнымъ. Но, подойдя къ шкапу, куда Григорьевъ ставилъ провизію, я замѣтилъ, что запахъ усиливается, а когда отворилъ дверку, то меня такъ и отшибло. На полкѣ стояла тарелка со сложенными на ней кусками оставшагося отъ стола мяса; на другой

навалены были отломки бѣлаго, чернаго хлѣба, баранокъ, сухарей...

— Ефимъ!—заоралъ я во все горло.

Испуганный денщикъ появился въ дверяхъ.

— Чего изволишь, вашъ бляродіе?

— Что у тебя тутъ за свинство?

— Како свинство?

— Зачѣмъ держишь здѣсь мясо и всякіе огрызки?

— Осталось, я и положилъ. Минэ не нужно,— я сытъ...

— Ахъ ты, дубина. Выбрось сейчасъ, и если впередъ ты осмѣлишься это сдѣлать, я тебя въ карцеръ отправлю.

— Изволишь приказать, я выброшу. Минэ не жалко, твое добро.

Шкапъ былъ очищенъ, но черезъ нѣсколько дней я опять нашелъ на прежнемъ мѣстѣ куски мяса и хлѣба.

— Ефимъ, ты опять туда наложилъ всякой дряни?

— Чичасъ уберу,—замѣтилъ денщикъ и спокойно унесъ тарелки.

Упрямство этого человѣка не знало границъ. Что разъ затесалось ему въ голову, того ничѣмъ нельзя было выбить. Онъ не только оставался вѣрнымъ себѣ въ поступкахъ, но и въ выраженіяхъ. Если я звалъ его, произнося: „Е-фимъ“, то и онъ отвѣчалъ мнѣ: „Чи-часъ“. Если же я отрывисто вскрикивалъ: „Ефимъ“, то и онъ коротко отвѣчалъ: „Ччасъ“. Когда я вставать съ постели, бывала та же исторія.

— Подай мнѣ брюки,—приказывалъ я ему.

— Како брюхо?—переспрашивалъ онъ.

— Панталоны.

— А-а, штаны, — киваль Ефимъ головой въ знакъ того, что онъ понялъ, наконецъ, и подавалъ требуемое.

Такъ продолжалось съ мѣсяцъ, послѣ чего онъ пересталъ произносить „како брюхо“, но, прежде чѣмъ исполнить, непременно добавлялъ: „А-а, штаны“.

Ефимъ научился въ ротѣ азбукъ, но дальше онъ по тупости не пошелъ, хотя и желалъ. Грамота такъ заняла черемиса, что онъ все свободное время сидѣлъ за букваремъ и мучился, составляя слова. Когда же я предложилъ ему свою помощь, то онъ наотрѣзъ отказался.

— Никакъ нѣтъ, никакъ нѣтъ, я ни умѣю.

— Такъ я тебя выучу.

— Благодаримъ покорно, вашъ бляродіе. Я ничего не пойму, напрасно будешь беспокоить себя.

— Такъ я поручу это сдѣлать ефрейтору Семенову.

— У-у-у, — съ неудовольствіемъ промычалъ Ефимъ. — Я—денщикъ, зачѣмъ меня учить, скажетъ, водка дай.

Скупость Ефима доходила до того, что онъ изъ своего солдатскаго жалованья и амуниčníchъ, т.е. четырехъ рублей пятнадцати копеекъ, получаемыхъ въ годъ, тратилъ только то, что брали съ него сапожники за шитье сапогъ; остальные деньги онъ копилъ и пряталъ ихъ, зашивая въ мундиръ. Скарденность его была такъ велика, что онъ жалѣлъ не только свое, но и чужое. Не отказывался выпить чаю, когда онъ оставался послѣ меня, для себя же ни разу не поставилъ самовара. Къ рус-

скимъ людямъ относился презрительно, находя ихъ слишкомъ расточительными и размашистыми. Бывало, про кого у него ни спросишь, услышишь одинъ только отвѣтъ:

— Нихорошій чиловэкъ. Водка пьетъ, булка покупаетъ. Зачимъ солдату булка?.. Хлѣбъ есть.

Съ такимъ субъектомъ пришлось мнѣ отправиться въ деревню, куда послана была на стоянку рота. Тамъ Ефимъ съ первыхъ же дней сталъ проявлять по отношенію и къ хозяевамъ и къ другимъ крестьянамъ нерасположеніе, доходящее до враждебности. Онъ осуждалъ ихъ образъ жизни, семейныя ссоры, въ особенности пристрастіе къ вину; я поминутно слышалъ, какъ онъ кричалъ то на одного, то на другого:

— Эй, ти, мужикъ, зачимъ пришоль? Пошоль вонъ!

Къ женщинамъ онъ проявлялъ еще большую антипатію.

— Папа (баба), ти, папа, вимой столъ. Контлеты буду дѣлать. Видишь, какая грязь тутъ. Бери мочалка, вытирай крѣпче,—бушевалъ и огрызался онъ съ утра до вечера, такъ что нерѣдко хозяева приходили съ жалобой:

— Ваше благородіе, прекратите вашего Ефима, смерть пришла, никто въ хатѣ потрафить ему не можетъ. Ужъ мы пытали и лаской и угощеніемъ. Ни на что не идетъ, какъ волкъ зубами ляскаетъ.

Когда я начинатьъ Григорьеву дѣлать замѣчанія, онъ выходилъ изъ себя, хмурился, махалъ руками и сыпалъ разными укоризнами.

— Парѣенъ—нихорошій чиловэкъ. Вчера пьянъ, сегодня пьянъ, зачимъ водка пьетъ и папа (баба)

его—нихорошій чловѣкъ. Обѣдать садится, руки не моетъ. Дѣвка тоже нихорошій чловѣкъ, все на улицѣ да на улицѣ.

— Это не твое дѣло, ты себя знай. Думаешь, черемисы только одни и хороши.

— Черемисинъ завсегда хорошій чловѣкъ, а мужикъ—свинья и папа—свинья и дѣвка—свинья.

— А вотъ если ты не усмиришься и придутъ еще разъ на тебя съ жалобой, такъ я тебя въ карцеръ отправлю.

— Что жъ, отправляй. А кто будетъ супъ варить? Я стараюсь, вашъ бляародіе, изо всѣхъ силъ стараюсь, а ты минэ карцеръ стращаешь. Развѣ я боюсь? Сажай и буду сидѣть.

Понимая, что съ такимъ дикаремъ ничего не подѣлаешь, я употреблялъ всѣ мѣры кротости, чтобы сдерживать въ Ефимѣ черемисскій пылъ.

— Чтобы у меня тихо было, понимаешь,—тихо,—подходилъ я къ нему и слегка постукивалъ пальцемъ по лбу.—Шевели мозгами, а то смотри.

Такой маневръ всегда имѣлъ успѣхъ. Опасался ли Ефимъ, что мое легкое прикосновеніе могло перейти въ болѣе внушительную расправу, или передъ глазами непосредственного чловѣка въ образѣ моемъ просыпалось понятіе о воинской дисциплинѣ, но Ефимъ сбавлялъ тону, вытягивался въ струнку и съ робостью говорилъ:

— Коли прикажешь, вашъ бляародіе, я что жъ... Они мнѣ не нужны. Пушай себѣ...

Кромѣ хозяевъ, другимъ враждующимъ лицомъ съ Ефимомъ былъ шустрый миловидный солдатикъ Михайловъ. Стоило ему встрѣтить гдѣ-нибудь Григорьева, чтобы между ними произошла

баталія, особенно когда Михайловъ былъ подъ хмелькомъ.

Я невольно былъ свидѣтелемъ подобной схватки. Стоя у воротъ, не будучи замѣченнымъ ими, я любовался картиной.

— Эй, ты, черемисская лопатка, чего смотришь? Думаешь, что я пьянъ?

— Вѣрный, вѣрный, что пьянъ.

— То и хорошо, значить, мнѣ весело.

— Како весело, зачимъ весело? Черемисинъ никогда много водка не пьетъ, потому черемисинъ—хорошій чиловэкъ.

— Эка невидаль. Тфу, вотъ вы кто. Россійскій чиловѣкъ пьетъ, потому у нихъ духъ вольный. Что въ голову вступило, то и дѣлаетъ, стало-быть, не задерживай. А у васъ, значить, сердце дохлое, коли вы все въ мѣру, да въ мѣру. Ну, и не равняетесь съ русскимъ чиловѣкомъ.

— Хи-хи-хи... русскій чиловѣкъ! Хи-хи-хи... русскій чиловѣкъ! Сапоги въ кабакъ, зипунъ въ кабакъ.

— На меня зато любая дѣвка взглянетъ, такъ улыбнется, а на тебя, на коряваго, никто.

— Кака дѣвка? На что дѣвка? Думать грѣхъ.

Очевидно, у Ефима не хватало больше аргументаціи, и онъ переходилъ на нравственную сторону, но Михайловъ не унимался и шелъ дальше.

— Грѣшимъ и каемся, потому живемъ всласть, а ты сиди за печкой да грызи сухарь. Скарета, мочалка. Счастье твое, что живешь у поручика, а то бы ты у меня запѣлъ черемисскую пѣсню не своимъ голосомъ.

Тутъ я не выдержалъ и расхохотался. Михайловъ быстро скрылся.

Какъ у всякаго нелюдима, такъ и у Григорьева должна же была проявиться къ кому-нибудь приязанность, и она проявилась. Истиннымъ другомъ для него стала моя гончая собака Громила. Относя ему пищу въ хлѣвъ, онъ подолгу стоялъ тамъ и неумолкаемо говорилъ. Казалось, эти два существа вполнѣ понимали другъ друга, потому что Громила, слушая Ефима, упирался передними лапами въ его грудь, пристально смотрѣлъ ему въ лицо, мигалъ глазами, подергивалъ губами и краснорѣчиво помахивалъ хвостомъ.

— О, ты—хорошій песъ, хорошій. Ты умный собакъ, умный. На охоту пойдемъ, зайцевъ убьемъ. Люблю тибѣ, очень люблю.

Если я отправлялся въ гости, то, вернувшись, видѣлъ торжествующую улыбку черемиса и слышалъ радостный докладъ:

— Три зайца убиль.

Какъ страстный охотникъ, Григорьевъ не пропускалъ случая накинуть на плечо ружье, захватить Громилу и удрать въ лѣсъ.

— Ты вотъ шляешься, а квартиру бросаешь,—говорилъ я ему.

— Никакъ нѣтъ, не бросалъ. Дверь заперъ, а вѣстовой на кухню былъ.

Большимъ неудовольствіемъ было для Ефима, если я, отправляясь на охоту, не бралъ его съ собой. Всѣ слѣдующія сутки онъ былъ угрюмъ и неразговорчивъ. Но я рѣдко лишалъ его этого удовольствія, потому что такой сотоварищъ, какъ Григорьевъ, былъ истинной находкой. Стоило по-

гнать Громиль зайца, то ужъ трудно было этому звѣрку не попасть въ троки. Чтобы перехватить „косога“, Григорьевъ съ изумительной быстротой перебѣгалъ огромныя пространства и добивался успѣха. Наблюдая, съ какимъ восторгомъ прислушивался Ефимъ къ отдаленному лаю Громилы, мнѣ невольно представлялись дикари, подкарауливавшіе и выслѣживавшіе врага. На лицѣ черемиса отражалась кровожадность; его щеки приподнимались, и въ глазахъ свѣтился зловѣщій огонь. Видя, какъ Громила гонялъ звѣря безъ усталости и отдыха отъ раннего утра до поздней ночи, Ефимъ долженъ былъ влюбиться въ собаку, какъ въ выразителя высшихъ свойствъ хищной натуры.

Зима тянулась скучная, однообразная. Сосѣдей было мало, и мнѣ поневолѣ приходилось убивать унылые дни, отправляясь съ Ефимомъ въ лѣсъ. Въ одно пасмурное утро я велѣлъ запрячь лошадь, захватилъ фляжку съ водкой, провизию и отправился въ березовую рощу, отстоявшую отъ квартиры версты на три. Едва мы спустили собаку, какъ услышали лай, и охота началась. Убить былъ одинъ заяцъ и вскорѣ другой. Мы позавтракали, и я хотѣлъ уже возвращаться, но Ефимъ не унимался:

— Вашъ бляродіе, еще рано, зачимъ домой ѣхать, пускай погоняетъ.

Я согласился. Не прошло и пятнадцати минутъ, какъ Громила погналъ „по-зрячему“. Заяцъ попался матерый и увелъ гончую со слуха. Долго мы поджидали, не раздастся ли лай, но бесполезно. Относилъ ли голосъ Громилы вѣтерокъ,

шуршавшій по сучьямъ березъ, или собака была слишкомъ далеко, но лая не было слышно. Я озаябъ и стоялъ недовольный. Прошелъ часъ, два, но собака не возвращалась. Наступили сумерки. Наконецъ стало совсѣмъ темнѣть. Бросить зимой въ лѣсу собаку, значить обречь ее на вѣрную гибель. Ефимъ выражалъ желаніе всю ночь проходить по снѣгу, но не вернуться безъ Громилы.

Раздосадованный тѣмъ, что послушался глупца и своевременно не кончилъ охоты, я сталъ ругать чѣремиса, стоявшаго въ тупомъ молчаніи. Вдругъ Ефимъ насторожилъ уши и съ радостью проговорилъ:

— Вашъ бляродіе, вашъ бляродіе, гонить.

Я сталъ прислушиваться, и дѣйствительно, до моихъ ушей донесся лай собаки. Звукъ приближался и приближался. Громила шелъ на насъ. Вдругъ онъ завизжалъ, какъ дѣлать всегда, увидя звѣря. Зная, что заяцъ опять можетъ увести его далеко, я, желая вызвать собаку изъ лѣсу, сдѣлалъ два выстрѣла, и мы стали вызывать на слѣдъ. Это было единственнымъ способомъ поймать Громилу. Послѣ моихъ выстрѣловъ гонъ вдругъ прекратился, и хотя Ефимъ надрывался, вызывая собаку, но она не шла на зовъ.

— Громилюшка! Громилюшка! А-ха-ха!

Каково же было наше удивленіе, когда мы увидѣли Громилу, не мчавшагося по обыкновенію, а идущаго, едва передвигая ноги. Я подбѣжалъ къ нему и замѣтилъ, какъ кровь капала съ его шеи на снѣгъ. Ефимъ пришелъ въ отчаяніе. Онъ схватилъ собаку на руки, унесъ ее въ сани, и мы быстро помчались домой, а чтобъ унять сочив-

шуюся кровь, я сталъ прикладывать къ ранѣ комы снѣгу.

Происшествіе съ Громилой, вѣроятно, произошло слѣдующимъ образомъ. Когда онъ, гоня зайца, приближался уже къ намъ, въ него на тропѣ впился волкъ, отчего Громила и завизжалъ. Когда же я сдѣлалъ два выстрѣла и Ефимъ неистово сталъ орать, то волкъ бросилъ собаку и удрасть отъ страха. Этимъ несчастный пестъ только и спасся.

Возвратившись домой, я велѣлъ промыть тепленькой водой рану и приложилъ арники. Умная собака какъ бы понимала заботы о ней, повизгивала слегка, когда арника пощипывала обнаженное мѣсто, но не сопротивлялась, а покорно лежала, смотря на меня широко открытыми глазами.

Ефимъ до того горевалъ, что не сталъ ужинать, съ неохотой поставилъ самоваръ, подаль мнѣ чаю, а самъ безотлучно находился въ прихожей, гдѣ на соломѣ лежала собака. Черезъ стѣнку до меня доносились любезности, расточаемыя Григорьевымъ Громилѣ.

— Попей, Громилюшка, молочка, попей, милый, — уговаривалъ охотникъ своего друга, подставляя ему миску, но Громила слегка шлепалъ хвостомъ по соломѣ и не поднимался.

— Погоди, волка, погоди, я тебѣ задамъ! — шепталъ черемись. — Разбойникъ какой, искусаъ тебя.

Ефимъ не пошелъ спать въ хозяйскую избу, гдѣ онъ помѣщался, а принесъ подушку въ прихожую и улегся недалеко отъ больной собаки.

Ночью я слышалъ, какъ Григорьевъ поднимался со своего ложа и, подойдя къ Громиѣ, что-то шепталъ. Въ этихъ заботахъ было много трогательнаго. Нелюдимый инородецъ, относившійся такъ черство къ человѣку, выказывать полную сердечность къ животному. Что же ихъ соединяло? Неужели только обоюдная страсть къ охотѣ. Сомнѣваюсь. Я видывалъ, какъ охотники любятъ хорошихъ собакъ, но то не походило на привязанность Ефима къ Громиѣ. Черемись, казалось, сливался всѣмъ существомъ со своимъ другомъ.

Прошло нѣсколько дней, прежде чѣмъ Громила прикоснулся къ пищѣ. Онъ горѣлъ и тяжело дышалъ. Но и въ это трудное время былъ чистоплотенъ и выходилъ на дворъ. Это приводило Ефима въ неописанный восторгъ.

— Вашъ бляародіе, другія-то гончія— фу!.. Хуже свиньи... А нашъ-то, нашъ-то...

Недѣлю спустя Громила повеселѣлъ, и хотя рана не зажила, но собака стала ѣсть.

Желая испытать, какое впечатлѣніе произведетъ на Громигу случай въ лѣсу, я снялъ со стѣнки ружье. Собака слегка взвизгнула и торопливо ушла отъ меня въ прихожую. Очевидно, воспоминаніе о катастрофѣ было свѣжо еще въ ея памяти.

Всю зиму я самъ не ходилъ уже съ Громилой на охоту и запретилъ Ефиму. Такъ прошло лѣто и, наконецъ, наступила осень. Полкъ разошелся по зимнимъ квартирамъ. Наша рота осталась при штабѣ для занятія карауловъ. Денщикъ мой, какъ прослужившій установленный срокъ, долженъ былъ въ числѣ другихъ уйти въ запасъ. Когда Ефиму

было это объявлено, онъ не только не выразить радости, а, напротивъ, какъ будто заскучалъ и все собирался мнѣ что-то сказать, но не рѣшался. Наконецъ не выдержалъ и съ большимъ усиленіемъ заговорилъ:

— Вашъ бляродіе, а вашъ бляродіе, продай мнѣ Громилу.

— Что такое? Продать тебѣ Громилу?

— Такъ точно. Я вамъ двадцать пять рублей дамъ. Изъ дома присилялъ, жалованье копилъ.

Я не могъ не улыбнуться.

— Ахъ ты, глупый, на что мнѣ твои двадцать пять рублей. Ты знаешь, какъ я дорожу собакой. Такихъ гончихъ изъ тысячи одну выберешь.

— Это вѣрный, это вѣрный ты говоришь. Да вы еще себѣ купишь, а у насъ, въ Козьмодемьянскомъ, такихъ нѣтъ, — говорилъ онъ умоляющимъ голосомъ, и, очевидно, слезы подступали къ его глазамъ.

— Сказано, не продамъ, чего тебѣ еще? Убейся вонъ.

Ефимъ помахалъ головой, почесалъ въ затылкѣ и неохотно вышелъ.

Когда наступилъ отпускъ нижнихъ чиновъ, я взялъ себѣ другого денщика, и Григорьева отправили къ воинскому начальнику, откуда препровождаются запасные на родину. Разставшись съ Ефимомъ, я думалъ, что никогда больше съ нимъ не увижусь, но случилось иначе.

Сдавъ дежурство въ полку, я возвратился на квартиру и, пообедавъ, хотѣлъ лечь отдохнуть, но неожиданно новый денщикъ Карпухинъ разогналъ мой сонъ.

— Ваше благородіе, Громила ушелъ:

— Какъ ушелъ?

— Такъ точно. Въ хлѣвѣ нѣтъ его.

— Вѣрно, ты не заперъ дверей?

— Никакъ нѣтъ-съ. Хорошо заперъ-съ, а кто выпустилъ, не могу знать.

— Поболтается и придетъ.

— Я тоже думалъ-съ, оттого и не докладывалъ, а его со вчерашняго дня нѣтъ.

Это извѣстіе такъ разстроило меня, что я распушилъ Карпухина и сталъ обдумывать, какія мѣры принять для розыска собаки и гдѣ именно ее искать. Многое приходило мнѣ въ голову, но заподозрѣть Ефима въ кражѣ я никакъ не могъ. Честность этого человѣка была настолько изумительна, что я не повѣрилъ бы, если бы кто-нибудь высказалъ подобное предположеніе. Но разочарованіе скоро наступило.

На слѣдующее утро едва я всталъ съ постели, какъ Карпухинъ доложилъ мнѣ:

— Ваше благородіе, Семень Михайловъ желаетъ васъ видѣть.

— Что ему нужно? Позови.

Михайловъ вошелъ.

— Что скажешь?

— Ваше благородіе, осмѣлюсь доложить, Ефимъ Григорьевъ увелъ вашего Громилу.

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— Какъ, Ефимъ? Почему ты знаешь?

— Самъ видѣлъ и спросилъ, куда ведешь собаку, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „Баринъ подарилъ мнѣ за службу“. Я, зная ваше пристрастіе къ

Громилѣ, не повѣрилъ и рѣшилъ итти доложить вашему благородію.

— Что жъ Ефимъ спокойно и безъ замѣшательства сказалъ тебѣ, что я подарилъ ему Громилу?

— Напротивъ того, ваше благородіе, весь изъ лица перемѣнился, даже какъ будто его въ дрожь ударило. Лицо перекосило, глазами заморгалъ таково часто-часто. Тутъ я не выдержалъ и сталъ его укорять: „Эхъ ты, говорю, черемисская морда, креста на шеѣ не носишь. За всѣ благодѣянія, которыя оказывалъ тебѣ поручикъ, ты отплатилъ какъ сушій подлецъ. Вѣдь такой жизни, какая была тебѣ у нихъ, вовѣкъ не найдешь. Тебѣ бы за нихъ вѣчно Богу молить, а ты въ воры пошелъ“. На мои слова у него и отвѣтить, стало-быть, нечѣмъ было, потому скосоурился и пошелъ, куда всѣ шли,—на вокзалъ.

На красивомъ открытомъ лицѣ Михайлова ясно выражалось негодованіе.

— Спасибо, спасибо,—проговорилъ я и, вынувши кошелекъ, хотѣлъ дать ему денегъ, но тотъ сдѣлалъ шагъ назадъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, я не изъ-за этого, а какъ вы, бывший для насъ замѣсто отца родного, такъ я и не стерпѣлъ, чтобы не прійти.

Раздосадованный такимъ неожиданнымъ открытіемъ, я хотѣлъ тотчасъ отправиться на желѣзную дорогу и, уличивъ Ефима въ кражѣ, отправить въ штабъ, гдѣ его, конечно, задержали бы и предали бы суду. Но я колебался. Мнѣ жаль стало Григорьева. Я понялъ, что какъ же велика была привязанность солдата къ собакѣ, если онъ,

всегда отличаясь честностью, не выдержалъ и измѣнилъ себѣ. Не зная, какъ поступить, я добрыхъ полчаса ходилъ въ волненіи по комнатѣ, то рѣшаясь наказать воришку, то колеблясь губить его. Въ концѣ-концовъ, я все-таки хотѣлъ ѣхать на вокзалъ и крикнулъ Карпухина, чтобъ онъ подалъ мнѣ одѣться. Но денщикъ, войдя, не далъ повторить приказанія и съ глупой улыбкой заявилъ:

— Ефимъ пришелъ, и Громила на дворѣ.

Я окончательно былъ сбить съ толку и въ недоумѣніи проговорилъ:

— Ефимъ?! Пришелъ? Позови его.

Когда Григорьевъ вошелъ, лицо его было до того искажено, что казалось страшнымъ. Я не рѣшался заговорить и смотрѣлъ молча.

— Вашъ бляродіе, прикажи ему выйти, — махнулъ онъ головой на Карпухина.

— Выйди.

Когда мы остались одни, Ефимъ упалъ на колѣни и едва слышно лепеталъ:

— Вашъ бляродіе, вашъ бляродіе... Прости минэ. Нечистый попуталъ. Просилъ тебя, вы не продали тогда собака. Съ тѣхъ поръ словно кто мое сердце убилъ. Смотрю на Громилу, а самому тошно. Петля хотѣлъ на шею надѣтъ. Прости, вашъ бляродіе, васъ Богъ наградить за это. Служилъ вѣрный, нитка ни пользовался, не то что копейка. Ни срами меня, скажи, что дарилъ Громилу, чтобы никто Ефима воромъ не считалъ. Не суда боюсь, а совѣсти. Черемисинъ—честный чиловекъ, чужое не возьметъ никогда. Грѣхъ попуталъ, грѣхъ попуталъ.

Никогда у меня не было такъ хорошо на душѣ, какъ въ эти минуты: мнѣ впервые приходилось видѣть, какъ искренно и глубоко можетъ страдать человѣкъ. Я расчувствовался до того, что хотѣлъ даже подарить Громилу, но удержался. Его поступокъ все-таки былъ неблаговиденъ, и я устыдился выказать ему сочувствіе. Но мнѣ все-таки хотѣлось что-нибудь сдѣлать для него.

— Нехорошо, Ефимъ, плохо, — сказалъ я съ укоромъ. — Ну, да Богъ тебя проститъ. Не гордись же и не говори, что черемисинъ „самый хорошій человѣкъ“. Иди на вокзалъ; я сейчасъ приѣду туда и сдѣлаю все, чтобъ тебѣ не было совѣстно передъ товарищами.

Григорьевъ бросился ко мнѣ, схватилъ руку и сталъ цѣловать.

— Хорошо, хорошо, иди себѣ, — успокоивалъ я его и позвалъ Карпухина.

Когда я приѣхалъ на вокзалъ, группы запасныхъ виднѣлись на платформѣ. Неподалеку отъ одной изъ нихъ стоялъ Ефимъ.

— А, Григорьевъ! — обратился я къ нему, при этомъ вынулъ кошелекъ и далъ ему рублевую бумажку. — Спасибо тебѣ за службу. Желаю всего хорошаго.

Солдаты, очевидно, прослышавшіе о происшедшемъ, молча, съ удивленіемъ смотрѣли на происходившее.

Вскорѣ запасныхъ посадили въ вагоны, и поездъ тронулся, увозя Ефима къ его черемисамъ въ козьмодемьянскую глушь.

У л и к и.

Это было очень давно. Тогда войска не размѣщались, какъ теперь, въ казармахъ или въ приспособленныхъ домахъ частныхъ лицъ, а въ большинствѣ случаевъ разбросаны были по деревнямъ; отбывавшіе же караульную службу—у городскихъ обывателей. При такой системѣ постоя до-сматривать за нижними чинами было очень трудно. Ну, какъ въ самомъ дѣлѣ офицеру или унтеръ-офицеру итти поздно ночью повѣрять, ночуетъ ли дома Ивановъ или Петровъ. Приходилось бы стучать въ ворота, будить спящихъ и появленіемъ своимъ пугать дѣтей. На этомъ соображеніи рѣдко кто изъ насъ рѣшался производить обходъ. Такимъ образомъ мы не знали, какъ наши подчиненные проводили ночь. Сообразивши это, солдаты болтались по притонамъ, и оргіи ихъ длились нерѣдко до тѣхъ поръ, пока приходилось итти на сборню для фронтовыхъ или устныхъ занятій. Съ этого времени дѣлался возможнымъ контроль, и дисциплина вступала въ свои права.

Въ ротѣ, которой я командовалъ, былъ большой порядокъ. На своего фельдфебеля Васильева, какъ на разумнаго, строгаго, исполнительнаго служаку,

я полагался вполнѣ. Унтеръ-офицеры были также наподборъ — трезвые, и я, не опасаясь какихъ-нибудь безпорядковъ, смѣло шелъ въ городъ отбывать караульную службу, хотя подходила Святая недѣля, когда праздничная гульба вредно отзывается на солдатскихъ нравахъ.

Какъ разъ въ это время домашнія обстоятельства заставили меня отлучиться изъ полка и уѣхать въ отпускъ на нѣсколько дней. Командиръ полка, зная хорошо мою роту, охотно отпустилъ меня. Передъ отъѣздомъ я, сдѣлавъ нѣкоторыя указанія замѣстившему меня офицеру и давъ строгій наказъ Васильеву глядѣть въ оба, уѣхалъ къ роднымъ, ждавшимъ меня съ нетерпѣніемъ. Фельдфебель, провожая меня, еще разъ твердилъ свое:

— Не извольте беспокоиться, ваше благородіе. У насъ сумнительныхъ людей въ ротѣ нѣтъ, а ежели кто сдѣлаетъ что-нибудь выпимши, мы его заберемъ въ сборню, чтобы протрезвился.

Успокоенный такимъ образомъ, я уѣхалъ къ роднымъ и прогостилъ у нихъ пять дней.

Возвратившись, я тотчасъ же потребовалъ къ себѣ Васильева, который и отпраповалъ мнѣ о благополучіи въ ротѣ.

— Новаго ничего нѣтъ въ полку?

— Никакъ нѣтъ-съ, ничего. Только въ городѣ случилось маленькое происшествіе.

— Какое?

— У Московской заставы, изволите знать, ваше благородіе, въ своемъ домикѣ барыня жила, го-спожа Калинина, такъ ее и кухарку порѣшили.

— Какъ порѣшили?

— На первый день праздника, утромъ, нашли мертвыми.

— И не узнали, кто это сдѣлалъ?

— Есть подозрѣніе, что кто-нибудь изъ солдатъ, потому въ комнатѣ нашли пуговицу, а кто именно— не узнали.

Командиръ полка, къ которому я явился, въ свою очередь, сообщилъ мнѣ о загадочномъ преступленіи и просилъ усилить надзоръ за нижними чинами.

— Намъ уже обидно и то, что явилось подозрѣніе на солдатъ,—добавилъ онъ.—Я, конечно, не придаю значенія разговорамъ и думаю, что убійца подбросилъ пуговицу нарочно, чтобы на править слѣдователя на ложный слѣдъ. Но довольно уже и того, что заподозрѣнъ солдатъ. Военскіе чины обязаны охранять жизнь и спокойствіе гражданъ, и мы не должны допускать даже сомнѣнія въ томъ, что мы не друзья, а враги, которыхъ надо опасаться. Если среди честныхъ служакъ завелась какая-то каналья, то ее надо отыскать, во что бы то ни стало, и выбросить, какъ паршивую овцу, которая все стадо портить. Не думайте, что я намекаю на вашу роту, я знаю, что она находится въ хорошихъ рукахъ, и въ вашей части отличная дисциплина, но люди всегда и вездѣ—люди.

Нельзя было не согласиться съ высказаннымъ, и я, какъ рьяный служака, также въ глубинѣ души возмущался городскими нареканіями. У ротнаго командира съ его подчиненными существуетъ тѣсная связь. На добраго, строгаго и справедливаго начальника солдаты смотрятъ какъ на главу семьи

и часто обращаются со своими нуждами. Одинъ жалуется, что сапоги износили раньше времени и не на что купить новыхъ, у другого мыла нѣтъ, третьему нужна почтовая марка, и такъ безъ конца. Въ такихъ случаяхъ трудно отказывать, и начальникъ, не жалѣющій десятка, другого рублей, приобретаетъ безграничную любовь, такъ какъ является не только начальникомъ, но и человекомъ, оказывающимъ участіе служивому, не имѣющему способовъ добыть денегъ. Мои отношенія были именно таковы, и я гордился тѣмъ, что добился порядка въ ротѣ не беспощадною строгостью, а разумною требовательностью и гуманностью. Но зналъ ли я своихъ солдатъ, какъ слѣдуетъ, то-есть то, что они чувствуютъ, думаютъ? Нѣтъ. Я требовалъ хорошаго поведенія, исполнительности по службѣ и знанія военного дѣла, но семейная сторона и то, что они оставили на родинѣ, мнѣ было совершенно неизвѣстно. Удачный смотръ, хорошая стрѣльба, щегольской парадъ, за которые ротные командиры получаютъ благодарность,—вотъ, что дорого въ мирное время для каждаго начальника. Озабочаясь, чтобы въ солдатскомъ котлѣ пища была хороша, ротный командиръ считалъ всѣ свои обязанности по отношенію къ нижнимъ чинамъ исполненными. Однимъ словомъ, рота представлялась не группою людей, имѣющихъ свои особенности, а какимъ-то общимъ тѣломъ, живущимъ по особому кодексу. Дурной поступокъ лица могъ испортить репутацію роты, и начальство, нисколько не стѣсняясь, выражало свое негодованіе такъ: „Такая-то рота, я вамъ задамъ, вы у меня узнаете, какъ вести себя!“

Такой взгляд дѣлалъ часто то, что поневолѣ нѣкоторые грѣшки оставались покрытыми. Но такой фактъ, какъ убійство, никто не рѣшился бы скрывать, а, напротивъ, считалъ святой обязанностью виновнаго предать правосудію.

Меня особенно возмущало убійство Калининой потому, что это была милѣйшая старушка, жившая въ своемъ домикѣ на краю города и, какъ вдова полковника, сущесгвовавшая на небольшую пенсію по мужѣ. Такъ какъ рѣдкая рота не имѣла штрафованныхъ нижнихъ чиновъ, то они были и у меня, но всѣ ихъ считали только мелкими воришками. Въ крупномъ же преступленіи никто не могъ заподозрѣть ихъ.

Будучи вполнѣ убѣжденнымъ, что среди моихъ подчиненныхъ не скрывается злодѣй, я шелъ въ ротную сборню въ самомъ благодушномъ настроеніи духа. Выслушавъ рапортъ дежурнаго и попробовавъ на кухнѣ пищу, я поздоровался съ ротой, выстроенной шеренгами и державшей ружья на-караулъ. Осматривая стоящихъ, я дѣлалъ нѣкоторые замѣчанія и такимъ образомъ дошелъ до рядового Кузякина, у котораго большой палецъ лѣвой руки былъ перевязанъ тряпкой. Я не придалъ этому никакого значенія, но не могъ обойти молчаніемъ поврежденія, такъ какъ солдатъ, находящійся въ ротѣ, долженъ быть здоровъ.

— Что это у тебя палецъ перевязанъ?

При этомъ вопросѣ спрашиваемый вздрогнулъ, поблѣднѣлъ и измѣнился въ лицѣ.

— Дверью прищемилъ, ваше благородіе,—отвѣтилъ онъ, стараясь быть развязнымъ и съ такой улыбкой, которая удивила меня.

Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза. Мой взглядъ окончательно смутилъ солдата. Волненіе охватило все его существо,—щеки стали нервно передергиваться и ноздри раздувались. Я понялъ, что въ душѣ этого человѣка происходитъ что-то особенное... Я уже хотѣлъ отойти отъ него, но вдругъ какая-то неясная мысль зашевелилась въ моемъ мозгу...

„Ушибленный палецъ... Что жъ тутъ такого,—думалъ я,—это со всякимъ можетъ случиться! Но отчего онъ вздрогнулъ и поблѣднѣлъ?“ Я опять сталъ смотрѣть на него. Онъ показался мнѣ жалкимъ, уничтоженнымъ. Рота, не понимавшая, что происходитъ во мнѣ, и видя, что я стою въ нерѣшительности, пожирая глазами ихъ товарища, какъ бы замерла.

— Такъ ты говоришь, дверью прищемилъ?

— Такъ точно,—произнесъ глухимъ голосомъ Кузякинъ.—На квартирѣ...—добавилъ онъ съ большимъ усиленіемъ.

Не будь Кузякинъ штрафованнымъ, меня не поразило бы такъ его смущеніе, но тутъ поневолѣ закралась ужасная мысль въ голову: „Ужъ не онъ ли былъ героемъ загородной драмы?“

Я самъ испугался своего подозрѣнія. Мнѣ казалось неумѣстнымъ являться въ роли слѣдователя или сыщика, и я хотѣлъ уже отойти. Но вдругъ мнѣ представилось, что должна была чувствовать пріѣхавшая единственная дочь Калининой, рыдавшая надъ трупомъ убитой матери. Вмѣстѣ съ этимъ въ моей душѣ, какъ эхо, раздалось напоминаніе командира полка о присягѣ и долгѣ.

Мое колебаніе мигомъ исчезло, и я рѣшилъ не останавливаться ни передъ чѣмъ.

— Взять у него ружье и обыскать,—обратился я къ унтеръ-офицерамъ—Петрову и Аксенову.

Что сдѣлалось съ Кузякинымъ въ этотъ моментъ—трудно описать! Ружье едва не выпало изъ его рукъ, голова опустилась и руки повисли. Въ карманахъ не оказалось ничего. Дѣло дошло до сапоговъ. Въ одномъ также ничего не было, но едва сняли другой, какъ изъ него выпалъ кошелекъ, въ которомъ оказалось тридцать пять рублей денегъ.

— Это у тебя откуда?

— Выигралъ въ орлянку,—проговорилъ онъ, дѣлая надъ собою усиліе.

— У кого?

— Не знаю, кто они такіе были.

— А кто видѣлъ, какъ ты игралъ?

— Изъ нашихъ никого не было.

Разспрашивать Кузякина о томъ, знаетъ ли онъ что-нибудь объ убійствѣ и бывалъ ли въ томъ домѣ, было бы слишкомъ наивно. Я понималъ, что если можно найти какія-нибудь улики, то нигдѣ въ иномъ мѣстѣ, какъ только въ солдатскомъ сундукѣ.

— Снять съ него патронныя сумки, нарядить конвой и отправить его за мной на его квартиру.

Мое распоряженіе произвело на роту потрясающее впечатлѣніе. Окинувъ взглядомъ стоявшихъ и скомандовавъ: „Къ ногѣ!“, я видѣлъ, какъ у всѣхъ были широко открыты глаза и лица подернуты блѣдностью.

Попавъ между двумя конвойными, Кузякинъ шелъ торопливой походкой, опустивши голову въ землю и лишь изрѣдка бросая взгляды по сторонамъ. Встрѣчавшіеся намъ на пути останавливались и съ любопытствомъ смотрѣли на наше шествіе. Наконецъ мы подошли къ воротамъ. Аксеновъ, шедшій впереди, отворилъ калитку и, приложивши руку къ козырьку, пропустилъ меня войти.

Дворъ, черезъ который приходилось проходить, былъ грязенъ. Посреди него стояла телѣга съ поднятыми кверху оглоблями, а сбоку виднѣлся колодезь, вокругъ котораго на козлахъ лежали корыта. Одна маленькая собачка, наторщившись, надрываясь отъ злости, хрипло лаяла, стараясь держаться отъ меня въ нѣкоторомъ отдаленіи. Другой, сѣрый цѣпной песъ, поднимаясь на заднія лапы, описывалъ круги, выражая желаніе сорваться съ цѣпи. Изъ дверей выглядывало нѣсколько ребятишекъ, а надъ ними возвышалась рыжеватая борода хозяина.

Аксеновъ, взбѣжавши по лѣстницѣ, растолкалъ дѣтей и, распахнувъ дверь, громогласно объявилъ:

— Здѣсь, ваше благородіе.

Я вошелъ въ квартиру. Это былъ большой, десятиаршинный срубъ, отдѣланный на городской ладъ. Тутъ все указывало на зажиточность мѣщанскаго пошиба. Стѣны оклеены были дешевыми обоями, на окнахъ стояли фуксіи, герань и бальзамины, въ углу висѣло нѣсколько большихъ образовъ. За перегородкой виднѣлась огромная постель съ периной и подушками. Черезъ сѣни

помѣщалась кухня съ большою русскою печью и скамьями вокругъ стѣнъ.

Увидя меня въ сопровожденіи цѣлой „свиты“, хозяинъ растерялся и съ разинутымъ ртомъ смотрѣлъ на насъ.

— У васъ квартируетъ Кузякинъ?—началь я.

— Такъ точно-съ, у насъ... на кухнѣ.

— Гдѣ его вещи?

— А вонъ тамъ-съ, подъ лавкой стоятъ.

Я прошелъ въ указанное мѣсто. Аксеновъ и Петровъ вытащили сундукъ и, взявши у Кузякина ключъ, открыли его. Въ числѣ вещей оказались, кромѣ казеннаго имущества, двѣ неношенныя ситцевыя сорочки, тонкое бѣлье и еще нѣсколько бездѣлушекъ...

Я сталъ уже упрекать себя въ неосмотрительной поспѣшности и почувствовалъ себя даже неправымъ передъ обиженнымъ солдатомъ. Но что-то, чего я до сихъ поръ не могу объяснить себѣ, хотя уже прошли десятки лѣтъ, толкало меня не останавливаться. Мысль, запавшая въ голову, пересилила деликатность, и я безотчетно, какъ бы повинуюсь наитію свыше, искалъ слѣдовъ преступленія.

— Какъ ведетъ себя вашъ постоялецъ?—обратился я къ хозяину.

— На что лучше, солдатъ хорошій.

— Часто отлучается изъ дому?

— Коли на службу уходитъ, а то больше дома.

— Не видали ли вы, что онъ въ орлянку игралъ?

— Можетъ-быть, гдѣ и игралъ, но мы не видѣли.

Хозяева обыкновенно никогда ни въ чемъ не выдавали своихъ постояльцевъ.

— Ну, а какъ онъ проводилъ праздники?

Хозяинъ, бравый мѣщанинъ, безъ запинокъ и самымъ успокоительнымъ тономъ объявилъ:

— Къ примѣру, какъ, то-есть, повѣрка кончалась, такъ возвращался. Спервоначалу у воротъ сидѣлъ, а потомъ съ нами спать ложился.

— И никуда не отлучался?

— Ни Боже мой!

— Куда ему отлучаться, — вторила жена мужу. — Онъ тихій и смирный. Водкой не зашибается, плохихъ компаніевъ не водить.

Послѣ такого заявленія мнѣ оставалось только уйти. Вдругъ меня озарила мысль. Сообразивъ, что солдаты на вечера ходятъ не въ мундирахъ, а въ шинеляхъ, я потребовалъ ее къ себѣ для осмотра.

— А гдѣ твоя шинель? — спросилъ я Кузякина.

При этомъ словѣ глаза Кузякина, казалось, хотѣли выскочить изъ орбитъ.

— Виноватъ, ваше благородіе, игралъ въ орлянку и положилъ ее на скамью, а когда оглянулся, то ея не оказалось.

Его растерянный видъ убѣждалъ меня, что Кузякину именно отъ шинели грозитъ какая-то опасность, и я крикнулъ:

— Искать шинель!

Унтеръ-офицеры бросились шарить подъ кроватью, въ чуланѣ, на дворѣ, но нигдѣ шинели не оказалось.

Русская печь не плотно прилегала къ стѣнѣ; взяли кочергу и простукали ею пустое простран-

ство. Первые удары были по полу. Такъ шло до угла. Вдругъ кочерга стала ударять въ мягкое.

— Тутъ что-то есть, ваше благородіе, — сказалъ Аксеновъ.

Подладившись, унтеръ-офицеръ съ нѣкоторымъ усиленіемъ тащилъ какую-то вещь. Едва на нее упалъ дневной свѣтъ, всѣ въ ужасѣ отскочили. Это была солдатская шинель, вся покрытая огромными темными пятнами...

При видѣ такого очевиднаго доказательства я почувствовалъ дрожь во всемъ тѣлѣ и нѣсколько секундъ не могъ сказать ни одного слова. Я смотрѣлъ на Кузякина, и мнѣ стало невыразимо жаль его. Лицо его какъ-то потемнѣло, онъ весь скорчился и тяжело дышалъ. Наконецъ я овладѣлъ собою и съ волненіемъ заговорилъ:

— Ты видишь, Кузякинъ, что скрываться больше нельзя. За пролитую кровь Богъ караетъ.

— Ваше благородіе, — лепеталъ Кузякинъ, — моя душа чиста, никакихъ я этихъ дѣловъ не знаю.

— Да шинель-то эта чья? Развѣ не твоя?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я свою забылъ на улицѣ.

Подъ шинелью подкладка, на которой ставится клеймо и пишется фамилія, была вырѣзана, слѣдовательно, доказать, кому принадлежитъ вещь, было нельзя. Но я не сталъ разбирать подробности и отправилъ Кузякина вмѣстѣ съ вещественнымъ доказательствомъ на полковую гауптвахту.

Отправивъ командиру полка донесеніе о случившемся, я чувствовалъ себя очень неловко, потому что такой поступокъ солдата компрометировалъ роту. И дѣйствительно, на другой день

меня предали суду. Допрежь этого каждаго слова дурного конфузился, а теперь все стало гипочемъ. И объ одномъ-то я сталъ думать, какъ бы домой прійти не съ пустыми руками, а чтобы было на что хату выстроить и домикомъ зажить. До того корысть заѣла, что на каждаго съ завистью смотрѣлъ, грѣха пересталъ бояться, отъ храма Божьяго отворачивался. Одно лукавый шепталъ въ ухо: „Не упускай случая!“ Такъ дошло до Святой. Дѣло праздничное, занятій не было, и пошелъ я съ землякомъ, портнымъ, пройти за городъ. Завелъ онъ меня въ кабакъ и сталъ угощать. Я, какъ непьющій, шибко захмелѣлъ, однако, ничего себѣ, пошелъ бодро, а ужъ сердце раскипѣлось — удержи нѣтъ. Ну, а куда пьянаго человѣка потянетъ? Знамо дѣло, ваше благородіе... дѣло молодое... къ женскому полу. А у меня съ калининской кухаркой любовь была, да такая, что, окромя ее да меня, никто не зналъ. Тихонько, бывало, впуститъ меня, да такъ же и выпуститъ. И на этотъ разъ такъ, да у меня ужъ на умѣ была одна мысль: какъ бы похозяйничать въ старушкиномъ домѣ. Когда Агаея заснула, я потихоньку всталъ и на цыпочкахъ пробрался въ комнаты. При свѣтѣ лампадки вижу — комодъ стоитъ, а въ этомъ-то комодѣ, какъ доказывала Агаея, и лежали хозяйскія деньги. Сталъ это я потихоньку ножикомъ дерево вырѣзать, чтобы, стало-быть, замку не препятствовать отвориться, и дѣлаю таково тихо, что чуть слышно. Рѣзанулъ это я послѣдній разъ, потащилъ, — ящикъ и выдвинулся. Рукою пошарилъ, — портмонэ какъ разъ тутъ. „Вотъ, — думаю, — задача: безо

всякаго случаю уйду“. Только это я подумалъ,— а хозяйка въ дверяхъ и, увидавши меня, какъ закричитъ „воры!“—да ко мнѣ. Тутъ я, не помня себя, этимъ же ножомъ, что комодъ отворялъ, и вдарилъ ее въ грудь; такъ меня кровью всего и обдало! Ополоумѣвши, выбѣжалъ я въ кухню... Агаея не спитъ, и свѣтъ на столѣ. Какъ глянула она на меня, что я весь въ крови, тоже голосъ подала. Съ хмелю ли, со страха ли, а пуще всего, чтобы концы схоронить, то-есть улику уничтожить, пырнулъ и ее.

Все это Кузякинъ разсказалъ какъ бы впопыхахъ и изрѣдка вскидывая на меня глазами.

— А гдѣ жъ ты палецъ ушибъ?

— Дверью прищемилъ, потому ничего не помнить, былъ какъ ума рѣшившійся.

— Почему ты шинель не бросилъ гдѣ-нибудь? Вѣдь хозяева могли сразу увидѣть.

— Шибко пьянъ былъ, соображать ничего не могъ, опять же со страха. Притомъ дѣвочка-подростокъ отворяла, ей и невдомекъ. А если бъ я втѣпору ума не рѣшилъ, не запихалъ бы за печку. А то выдралъ подкладку и забилъ ее къ полу. Все думалъ— вотъ-вотъ какъ-нибудь вынесу. Да, видно, отъ Бога не скроешься!

Кузякинъ опять отеръ слезы кулакомъ и обратился ко мнѣ:

— Вотъ зачѣмъ, ваше благородіе, я и обезпокоилъ васъ. Пущай же знаютъ всѣ, что Кузякинъ никому не хотѣлъ покаяться, окромя своего ротнаго, который намъ былъ замѣсто отца родного.

— Больше ты ничего не имѣешь мнѣ сказать?

Кузякинъ зарыдалъ и повалился мнѣ опять въ ноги.

— Ваше благородіе, не оставьте!—умоляющимъ голосомъ стоналъ онъ.—Пушай я пропадаю, а они-то... они, мои дѣти малыя, за что? Такую къ нимъ жалость чувствую.... Такую жалость! Не оставьте ихъ!

— Что же я могу сдѣлать?—сконфуженно проговорилъ я.

— Нонче, слышно, объ ребятахъ большую заботу вездѣ имѣютъ. Заступитесь и за моихъ, а я объ васъ буду вѣчно Бога молить!

Я не могъ болѣе выносить этой сцены и, побѣщавъ сдѣлать все, отъ меня зависящее, вышелъ изъ конторы.

Какъ молодому офицеру, жизнь не представлялась мнѣ тогда такою сплошною, потрясающею драмою, какой она есть на самомъ дѣлѣ. Воришка, а потомъ убійца... Что можно думать о такомъ человѣкѣ? А между тѣмъ этотъ преступникъ—не кто иной, какъ добрый семьянинъ, жертвующій своею жизнью ради благосостоянія дѣтей. Случай съ Кузякинымъ былъ откровеніемъ для меня. Я понялъ навсегда, какъ иногда тяжело исполнять свой долгъ и какая пропасть отдѣляетъ формальную сторону жизни отъ внутренней. До сихъ поръ, вспоминая Кузякина, я чувствую неловкость на сердцѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшаю себя тѣмъ, что его послѣдняя просьба была исполнена: общество горячо отнеслось къ участи дѣтей погибшаго человѣка.

Кузякинъ, попавъ въ острогъ, таялъ какъ свѣча и, не дождавшись сессіи окружнаго суда, умеръ въ тюремной больницѣ.

Послѣдніе счѣты.

I.

Послѣ долгаго ожиданія Россія дожила, наконецъ, до 19 февраля 1861 года. Народная радость была такъ велика, что охватила собой всѣ слои общества. Грандіозность событія подавляла умъ, но сердца лихорадочно бились отъ восторга, что рухнули вѣковыя оковы рабства, и мы входили въ семью культурныхъ государствъ.

Въ то время, о которомъ ведется разсказъ, я былъ очень юнымъ офицеромъ и служилъ въ стрѣлковомъ батальонѣ, стоявшемъ на постаѣ въ нѣсколькихъ уѣздахъ Тамбовской губерніи. Въ селѣ Лѣвыхъ Ламкахъ, Моршанскаго уѣзда, гдѣ помѣщался нашъ ротный дворъ, значилось восемьсотъ дворовъ, изъ которыхъ добрая треть была молоканскіе. Населеніе состояло изъ государственныхъ крестьянъ, т.-е. людей, которымъ ожидаемая свобода не могла непосредственно чѣмъ-нибудь измѣнить положенія. Поэтому большинство очень спокойно относилось къ предстоящему событію. Но когда наступилъ достопамятный день и церковный звонъ сталъ сзывать къ обѣднѣ, громадныя толпы крестьянъ двинулись къ храму. Со-

бравшіеся молиться были въ праздничныхъ костюмахъ; на ихъ лицахъ смѣшивалось удивленіе съ безотчетной радостью. Очевидно, они инстинктивно сознавали величіе переживаемой минуты.

Когда священникъ громкимъ голосомъ прочелъ первую фразу манифеста: „Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ“, то всѣ молящіеся стали на колѣни, и многіе попадали ницъ. Дальнѣйшее чтеніе манифеста загипнотизировало всѣхъ, и въ церкви стояла такая тишина, что, казалось, слышно было дыханіе. Едва кончилось чтеніе, какъ послышался сдержанный говоръ, и многіе стали обнимать другъ друга.

Я стоялъ какъ въ чадѣ. Мнѣ, экзальтированному юношѣ, представлялась безпредѣльная Русь, въ которой съ этого дивнаго момента исчезнетъ безправіе и затихнутъ стоны рабовъ. Только конфузясь проявить свою чувствительность, я сдерживалъ слезы, подступавшія къ моимъ глазамъ.

По окончаніи молебна рота выстроилась у главнаго входа. Командиръ поздравилъ солдатъ съ высочайшей милостью, пропустилъ свою часть повзводно церемоніальнымъ маршемъ и отпустилъ солдатъ по домамъ, а насъ зазвалъ къ себѣ на квартиру, гдѣ мы пропировали до глубокой ночи.

Когда прошли первые дни всеобщаго энтузіазма, мы невольно стали интересоваться, какъ простились бывшіе владѣльцы со своими слугами и какія возникли между ними отношенія. Но провѣрить этого мы не могли, такъ какъ вблизи отъ насъ были только два громаднхъ помѣщичьихъ имѣнья, гдѣ крестьяне издавна платили оброкъ и не знали барщины. Доносились до насъ слухи о

небольшихъ волненійхъ, но эти слухи затихали, и мы надѣялись благополучно уйти на лагерный сборъ въ Тамбовъ.

Какъ вдругъ, въ среду на Страстной недѣлѣ, прибылъ на ротный дворъ конный фурштадтъ съ бумагой, въ которой предписывалось ротѣ захватить боевые патроны и на подводахъ двинуться въ село Пичаево, гдѣ и поступить въ распоряженіе генерала Винценгероде, присланнаго изъ Петербурга наблюдать за правильнымъ ходомъ дѣлъ по освобожденію крестьянъ въ Тамбовской губерніи. Такое извѣстіе показалось намъ очень непріятнымъ. Пасха была въ тотъ годъ поздняя, 23 апрѣля, стало-быть, весна стояла въ полномъ разгарѣ. Солнце сильно грѣло, березки одѣвались зеленью. Въ ожиданіи лѣтнихъ трудовъ мы предвкушали удовольствіе мирно встрѣтить Свѣтлый праздникъ, а тутъ приходилось тащиться за семьдесятъ верстъ, испытывать всякія неудобства и, въ заключеніе всего, попасть, можетъ-быть, въ жестокую передрагу. Однако нужно было не охать, а дѣйствовать, и мы, разсавивъ по три и четыре солдата на подводу, тронулись въ путь.

Въ Страстную субботу прибыли мы въ указанное мѣсто и застали уже тамъ нашего командира. Разговѣвшись на слѣдующій день у него „чѣмъ Богъ послалъ“, мы въ тотъ же день выступили въ деревню Гагариново, принадлежащую господамъ Протасовымъ.

Никогда не забуду того тягостнаго впечатлѣнія, которое я испыталъ, входя въ опустѣлую деревню. На улицѣ не было никакого движенія, только у воротъ стояли дряхлые старики, подростки и го-

лосили женщины, державшія на рукахъ маленькихъ дѣтей. Видя это, я почувствовалъ нестерпимую тоску и старался не смотрѣть на несчастныхъ, своимъ плачемъ надрывавшимъ намъ душу.

Насъ встрѣтили: мировой посредникъ, исправникъ, становой приставъ и засѣдатель земскаго суда. Такъ какъ намъ не приказано было взять съ собой котлы и провизію и люди должны были продовольствоваться отъ жителей, то засѣдатель, развязно прохаживаясь передъ фронтомъ, съ цинизмомъ обратился къ солдатамъ:

— Вы, ребята, того... не зѣвай! Захотите поросятинки—тащи поросенка, потребуется курица—пѣтуху голову долой. Пусть эти мерзавцы знаютъ, что такое бунтовать и выказывать неповиновеніе.

Мы, офицеры, старавшіеся внушить подчиненнымъ гуманность и дисциплину, видѣли, что подбодриванья чиновника производили на солдатъ дурное впечатлѣніе.

Офицерамъ, собравшимся наскоро и захватившимъ съ собой только самыя необходимыя вещи, представлялось рѣшительно невозможнымъ поселиться въ деревнѣ, гдѣ не имѣлось никакихъ удобствъ, и каждый изъ насъ рисковалъ попасть въ лапы раздраженныхъ хозяевъ. По этимъ-то соображеніямъ мы и очутились въ хоромахъ господъ Протасовыхъ, гдѣ и устроились съ комфортомъ. Къ нашимъ услугамъ былъ великолѣпный столъ съ тонкими винами и обширная библіотека какъ съ русскими, такъ и съ иностранными книгами.

Въ этомъ же домѣ, въ бельэтажѣ, помѣстился генералъ Винценгероде, къ которому въ теченіе

цѣлаго дня являлись съ донесеніями разныя лица. Только вечеромъ мы видѣли, какъ онъ спускался по лѣстницѣ и прогуливался по парку.

Нижніе чины размѣстились по хатамъ.

Помѣщикъ находился въ отсутствіи, а имѣньемъ управлялъ обрусѣлый нѣмецъ. Дознаваясь, что довело управляющаго и крестьянъ до раздора, обострившагося настолько, что понадобилось привести войска, мы услышали исторію, повторявшуюся во всѣхъ темныхъ углахъ матушки Руси, а Гагариново было именно однимъ изъ такихъ темныхъ угловъ. Степная деревня, отстоявшая отъ уѣзднаго города на нѣсколько десятковъ верстъ, отброшенная въ сторону не только отъ какой-нибудь магистральной дороги, но и отъ почтоваго тракта, стало-быть, отрѣзанная отъ всего свѣта,— что она могла знать, и какіе слухи могли доходить до нея? Во всей округѣ почти не существовало отхожаго промысла, а все время поглощалось полевыми и домашними работами на себя, работами на барина—и такъ безконечные годы. Вдругъ проносится вѣсть о волѣ. Конечно, неразвитымъ головамъ это слово должно было показаться совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ оно оказывалось на самомъ дѣлѣ. Личная свобода съ четырехдесятинымъ надѣломъ на душу да еще съ обязательствомъ оставаться временно-обязанными и попрежнему выѣзжать на господскія десятины не могла удовлетворить людей, ожидавшихъ, что господство помѣщиковъ окончилось, и наступило ихъ время. Естественно, что такое положеніе о крестьянахъ должно было показаться не болѣе, какъ продѣлкой помѣщиковъ, и стоило пустить нелѣпую молву

о томъ, что существуетъ „настоящее положеніе“, скрываемое помѣщиками, чтобъ окончательно сбить съ толку даже благонамѣренныхъ хозяевъ. Кому нужно было тогда мутить мѣстное населеніе,—осталось необнаруженнымъ, но намъ самимъ пришлось видѣть „грамоту“, написанную шрифтомъ, подходящимъ къ славянскому. Отобрали эту грамоту у дряхлаго старика Архипа, которому односельчане довѣрили хранить ее. Все говорило о томъ, что происходившія волненія были ничѣмъ инымъ, какъ выраженіемъ крайняго невѣжества и полного недовѣрія къ лицамъ, въ чьемъ вѣдѣніи такъ долго находилась деревня.

Заботой генерала Винценгероде было разяснить бунтовавшимъ, что люди, смущавшіе ихъ,—лжецы и что никакой другой грамоты, кромѣ читанной въ церкви, нѣтъ, но кому же онъ могъ объяснить, когда хозяева, несмотря на принятыя мѣры, не возвращались къ своимъ домамъ. Мы видѣли, какъ на горизонтѣ двигалась вереница конныхъ и пѣшихъ людей, направлявшихся въ сосѣдній лѣсъ, гдѣ, какъ говорили, и скрывались бѣжавшіе.

Генералъ Винценгероде поступалъ съ удивительнымъ спокойствіемъ. Онъ не посылалъ ловить кого-нибудь, не дѣлалъ облавъ, а предоставилъ все времени. Захваченныхъ онъ не арестовывалъ, а объяснялъ неблагоразуміемъ поведеніе ушедшихъ и приказывалъ передать отсутствующимъ, чтобъ они добромъ возвратились въ свои хаты. Однако слова гуманнаго генерала не дѣйствовали. День шелъ за днемъ, а мы сидѣли и ждали у моря погоды.

Чтобы сократить томительные дни, мы брали изъ помѣщичьяго арсенала ружья и отправлялись

охотиться на вальдшнеповъ, которыхъ было множество въ паркѣ. Такъ прошло съ недѣлю. На деревнѣ стали появляться молодые парни, но „старики“ упорствовали и не шли съ повинной. Вдругъ, въ одинъ день послѣ заката солнца, къ Гагаринову стали приближаться группы конныхъ и пѣшихъ крестьянъ, и тутъ же пронесся слухъ, что въ сосѣднемъ Чембарскомъ уѣздѣ, Пензенской губерніи, гдѣ, по Высочайшему повелѣнію, наблюдалъ за введеніемъ положенія генераль Дренякинъ, произошло что-то ужасное, но что именно, мы до утра не могли узнать. Только часовъ въ девять вернулся находившійся при генералѣ Винценгероде чиновникъ особыхъ порученій и разсказалъ слѣдующее:

— Видывалъ я, господа, на своемъ вѣку многое, но того, что было вчера, представить себѣ не могъ. Крестьяне въ Чембарскомъ уѣздѣ волновались такъ же, какъ и здѣсь. Чего-чего только не предпринималъ Дренякинъ, чтобы вразумить бунтовавшихъ? Этотъ поистинѣ гуманнѣйшій чловѣкъ болѣлъ душой, что всѣ его усилія оказывались тщетными, но все-таки не рѣшался прибѣгнуть къ жестокости. Только вчера, когда крестьяне стали швырять камнями въ проходившую роту и раскроили черепъ одному солдату, Дренякинъ увидѣлъ, что медлить далѣе опасно, и приказалъ согнать на площадь всѣхъ, кого находили въ деревняхъ. Но и тутъ, подойдя къ толпѣ, спокойно убѣждалъ покориться, не огорчать царя-батюшку неповиновеніемъ и выдать зачинщиковъ.

„На такое отношеніе крестьяне отвѣтили крикомъ и насмѣшками. Послѣ этого генераль ото-

шелъ отъ нихъ и, обратившись къ стоявшимъ войскамъ, велѣлъ зарядить ружья.

„Но грозное приготовленіе, однако, не смутило толпу, и она стала гикать, ожидая, что это не что иное, какъ пустая угроза. Тогда Дренякинъ приказалъ сдѣлать по толпѣ залпъ холостыми патронами. Это какъ бы развеселило массу. Она еще болѣе стала неистовствовать.

„— Пушаетъ, пушаетъ, холостушками палить! Небось, царь-батюшка не дозволить убивать своихъ вѣрныхъ рабовъ!

„Это вывело Дренякина изъ послѣдняго терпѣнія. И вотъ...—говорившій умолкъ и прежде, чѣмъ продолжать, вытеръ платкомъ потъ, выступившій у него на лбу...—раздался другой залпъ, и нечеловѣческіе крики огласили воздухъ. Увидя убитыхъ и раненыхъ, толпа осатанѣла и подалась впередъ, но встрѣченная другимъ залпомъ — смѣшалась и бросилась вразсыпную. Солдаты, высланные ловить бѣжавшихъ, хватали каждого попавшагося и тащили къ генералу, неподвижно стоявшему на мѣстѣ. Блѣдный какъ полотно, съ широко открытыми глазами, онъ смотрѣлъ на то, что происходило передъ нимъ, и не обмолвился ни однимъ словомъ. Когда, наконецъ, нахвачанныхъ образовалась огромная группа, Дренякинъ обратился къ батальонному командиру:

„— Майоръ, окружите взятыхъ и держите подъ строгимъ карауломъ впредь до моего распоряженія.

„Тотчасъ густой цѣпью поставленъ былъ конвой, а генераль подозвалъ къ себѣ исправника, сказалъ что-то вполголоса и въ сопровожденіи

состоявшихъ при немъ отправился въ ближайшую хату. Тамъ онъ потребовалъ списки виновныхъ и сталъ отмѣчать, кого подвергнуть какому наказанію.

„Такъ прошло часа два. На площадь привезены были три воза розогъ и шпицрутенговъ, и генералъ прибылъ къ мѣсту экзекуціи. Непреклонный, угрюмый, онъ спокойно назначалъ наказанія. Начался такой ужасъ, что отъ одного воспоминанія меня обдастъ холодомъ.

„Нужно было видѣть въ эту минуту Дренякина. Онъ стоялъ, опустивши голову въ землю, и мучительная душевная боль отражалась на его миломъ, симпатичномъ лицѣ. Но для спокойствія мѣстности такая мѣра была необходима, и онъ не остановился ни передъ чѣмъ. Послѣдствія, какъ видите, оправдали его суровость. Едва слухъ о Чембарскомъ погромѣ дошелъ до гагариновскихъ крестьянъ, и они смирились“.

Дѣйствительно, вскорѣ явилась къ Винценгероде депутація отъ крестьянъ, просившихъ помилованія. Генералъ вышелъ и долго кричалъ на стоявшихъ на колѣняхъ.

На другой день приказано было всѣмъ взрослымъ мужчинамъ собраться на лужайку, неподалеку отъ барскаго дома. Заслышался опять женскій вой, и рано утромъ унылые, подавленные гагариновцы шли къ назначенному мѣсту. Они знали, что ожидаетъ ихъ, такъ какъ на зарѣ еще привезены были два воза розогъ.

Къ шести часамъ утра роты, прибывшія для усмиренія, стояли подъ ружьемъ, окружая со всѣхъ сторонъ собравшуюся толпу бунтовавшихъ, а за

фронтомъ лежали ссыпанныя съ телѣгъ орудія наказанія. Утро было сначала сѣренькое, но потомъ тучи разсѣялись, и на небѣ показалось яркое весеннее солнце. Какимъ диссонансомъ это было съ тѣмъ, къ чему мы готовились!

Въ началѣ седьмого Винценгероде въ полной парадной формѣ, въ сопровожденіи состоявшихъ при немъ подошелъ къ злополучному мѣсту и громко поздоровался съ солдатами.

Молодецкія роты гаркнули:

— Здравія желаемъ вашему превосходительству!

При этомъ возгласѣ толпа крестьянъ опустилась на колѣни. Генераль подошелъ къ нимъ и, стараясь быть покойнымъ, началъ, не возвышая голоса, но потомъ не выдержалъ и говорилъ горячо:

— Вы одумались и вернулись. Но почему вы не слушали, когда васъ убѣждалъ мировой посредникъ? Безсовѣстные, неблагодарные! Царь-батюшка дать вамъ волю и думать, что вы будете молиться за него и исполнять то, что его именемъ станутъ объяснять вѣрные слуги престола. Чѣмъ же вы отплатили за добро, которое вамъ сдѣлали? Не только всѣ отказались исполнять обязательную работу на помѣщиковъ, но нѣкоторые ворвались въ усадьбу и угрожали жизни управляющаго. Что почувствуетъ нашъ добрый Монархъ, когда узнаетъ, что вы забыли стыдъ, совѣсть и стали бунтовать?

На это изъ толпы послышались сначала отдѣльные голоса, а потомъ загудѣла цѣлая толпа:

— Виноваты!.. Врагъ попуталъ!.. Каемся!..

— Теперь вы каетесь, когда увидѣли, что ваши злые умыслы не удались? Нѣтъ, голубчики, вамъ

нуженъ урокъ, чтобы вы навсегда запомнили, что бываетъ за неповиновеніе.

Толпа опять загудѣла:

— Батюшка, помилосердуй! Никогда не будемъ!

Но генераль отвернулся и, обратившась къ командиру батальона, твердо сказалъ:

— Приступите.

Изъ толпы стали выводить вызываемыхъ по списку, и экзекуція началась.

Попавъ въ первый разъ въ жизни въ подобную передрагу, я до того смутился, что при первыхъ ударахъ чуть не потерялъ сознанія и, чтобы оправиться, ушелъ за фронтъ. Увидя это, ротный командиръ подошелъ ко мнѣ и строго замѣтилъ:

— Вы поступаете безтактно. Не малодушничайте и идите къ своему мѣсту.

Экзекуція продолжалась; а жгучія, неотвязныя мысли, отъ которыхъ мнѣ становилось жутко на душѣ, копошились въ моей головѣ. При насъ разыгрывалась народная драма, а мы накануне еще, выбравъ изъ помѣщицѣй коллекціи дорогія ружья, подстрѣливали вальдшнеповъ и упитывались лакомыми блюдами. Я старался разогнать давившія меня думы, но свистъ розогъ и ужасные крики наказываемыхъ не давали забыться.

Винценгероде, стоявшій въ сторонѣ и, очевидно, истомленный тѣмъ, что происходило, неожиданно окончилъ эту тяжелую сцену.

— Довольно!—проговорилъ онъ.

Затѣмъ подошелъ къ толпѣ и, поднявъ угрожающе руку, закричалъ:

— Смотрите же, чтобъ у меня было все покойно! Не то... я съ вами и не такъ расправлюсь.

Можете расходиться по домамъ, а вы, голубчики, далеко прогуляетесь.

Съ послѣдними словами онъ обратился къ пѣтерымъ, стоявшимъ подъ конвоемъ и осужденнымъ генераломъ къ ссылкѣ на поселеніе. Это были зачинщики бунта и люди, признанные вредными для общества.

Толпа поплелась въ деревню, а арестованныхъ отвели въ одну изъ помѣщичьихъ избъ.

Въ девять часовъ я вышелъ на дежурство. Въ обязанность мою входило смотрѣть за порядкомъ въ деревнѣ, распредѣлять по ротамъ подводы, на которыхъ на слѣдующій день мы должны были тронуться въ обратный путь, и повѣрять караулъ, приставленный къ арестованнымъ. Войдя въ хату, гдѣ помѣщались осужденные, я засталъ очень грустную картину. Одинъ лежалъ на полу, уткнувши голову въ руки; другіе, съ осунувшимися лицами, сидѣли молча. Девяностолѣтній Архиппъ, у котораго найдена была грамота, стоялъ на колѣняхъ передъ образомъ и молился. Красноватые лучи заходящаго солнца освѣщали этого многострадальнаго патріарха крѣпостной деревни, придавая его лицу выраженіе святости. При моемъ появленіи старшій унтеръ-офицеръ скомандовалъ обычное „смирно“. Всѣ караульные встали, за ними поднялись арестованные, въ томъ числѣ и молившійся Архиппъ. Тяжело было смотрѣть на старика, и я не могъ удержаться, чтобъ не заговорить съ нимъ:

— Эхъ, дѣдушка! Въ твои годы и попалъ ты въ такую бѣду. Жаль мнѣ тебя!

Старикъ низко поклонился и, выправившись, съ грустью заговорилъ:

— Милый баринъ, спасибо тебѣ на ласковомъ словѣ. Въ такой часъ, какъ теперешній, очень ты меня наградишь имъ, но не тебѣ судить насъ. Такіе, какъ ты, у меня внуки. Да и гдѣ тебѣ знать наше крестьянское дѣло? Міръ великъ, супротивъ его не пойдешь. Опять же—ежели и муку принимать, то кому же, какъ не мнѣ? Много ли осталось всей моей жизни? Не стану грѣшить—тягостно идти на чужбину и тамъ сложить свои кости, но, видно, Богъ такъ судилъ. На все Его воля, Онъ все разсудитъ. А тебѣ за ласку низко кланяюсь и буду поминать въ своихъ молитвахъ; скажи мнѣ, какъ тебя звать?

Я назвалъ свое имя, Архиппъ нѣсколько разъ повторилъ его и, подойдя ко мнѣ, поцѣловалъ въ плечо.

Неожиданный исходъ сцены потрясъ не только меня, но я видѣлъ, какъ волненіе охватило солдатъ, находившихся въ караулѣ. Чтобъ не выказать того, что у меня было на сердцѣ, я заговорилъ съ унтеръ-офицеромъ:

— Прокофьевъ, озаботься же, чтобъ арестованнымъ доставлена была пища и на ночь солома; особенно похлопочи, чтобъ старику было покойно.

Наскоро проговоривъ это, я кивнулъ Архиппу и поспѣшно вышелъ изъ хаты.

На утро еще до восхода солнца подводы были запряжены, солдатъ разсадили на телеги, и транспортъ тронулся. Арестованныхъ же отправили въ уѣздный городъ подъ конвоемъ.

Трясаясь на подводѣ, мы думали, что наша роль усмирителей окончилась и мы благополучно прибудемъ въ Ламки, гдѣ, захвативъ имущество, отправимся въ Тамбовъ въ лагеря. Оказалось, что на пути насъ ожидать маленькій сюрпризъ.

Проѣхавъ верстъ тридцать, мы увидѣли на дорогѣ сотскаго, стоявшаго съ пакетомъ въ рукѣ, а отъ ближайшей усадьбы двигался экипажъ, подлѣ котораго шли какіе-то люди. Ротный командиръ взялъ у сотскаго конвертъ, вскрылъ его и прочелъ слѣдующее:

„Моршанскій уѣздный предводитель дворянства П. покорнѣйше проситъ наказать двумястами ударами розогъ временно обязаннаго крестьянина-повара „такого-то“ за явное неповиновеніе“.

Едва ротный командиръ окончилъ чтеніе бумаги, какъ подѣхала пролетка, изъ которой вышелъ становой приставъ. Подойдя къ намъ, онъ отрекомендовался и объявилъ, что привелъ лицо, надъ которымъ должна быть произведена экзекуція. При этихъ словахъ изъ-за экипажа вышелъ другой сотскій съ большой охалкой розогъ подмышкой.

Намъ оставалось исполнять требуемое. Солдатамъ приказано было слѣзть съ телѣгъ и выстроиться. Наряженные люди подошли и взяли дрожащаго отъ страха повара.

— Ваше превосходительство... миленькій... за что?.. Богъ видитъ, ни въ чемъ неповиненъ... завсегда старался... и, окромя одобренія, ничего не получалъ... лихіе люди оговорили...

Но несчастному не пришлось продолжать свои причитанія...

Двинувшись въ путь, мы невольно спрашивали одинъ другого, почему намъ поручено было сдѣлать то, что всегда исправно совершалось на барскихъ конюшняхъ. Справиться съ сотнями душъ, оказывавшими неповиновеніе, могла, конечно, только воинская часть, но высылать одного человѣка и останавливать для наказанія его триста пятьдесятъ солдатъ и восемь офицеровъ намъ казалось прямо непростительнымъ. Мы боялись, какъ бы весь нашъ путь не сопровождался подобными случаями. Однако все обошлось благополучно, мы безъ дальнѣйшихъ приключеній прибыли на свои зимнія квартиры и, забравъ ротное имущество, отправились въ Тамбовъ, гдѣ ежегодно стояли лагерь.

II.

Занятые службой, мы далеки были отъ того, что происходило лѣтомъ въ селахъ и деревняхъ. Изрѣдка долетали до насъ слухи о волненіяхъ, но эти слухи скоро затихли, и намъ въ перспективѣ опять видѣлись Ламки. Но въ концѣ іюля совершенно неожиданно получилось распоряженіе, что нашъ батальонъ переводится въ Новохоперскъ, уѣздный городъ Воронежской губерніи. Мы недоумѣвали, зачѣмъ понадобилось забросить насъ въ такую глушь, но скоро все разъяснилось. Оказалось, что въ мѣстности, куда насъ направляли, поблизости не стояло войска, а въ селахъ Красненькомъ, Пыховкѣ и Алферовкѣ, съ много-

тысячнымъ населеніемъ, начались между крестьянами волненія, угрожавшія перейти въ открытое сопротивленіе. Въ виду этого мы должны были тотчасъ же послѣ лагернаго сбора, т.-е. въ началѣ сентября, двинуться въ походъ, но насъ задержали до ноября въ Тамбовѣ, куда долженъ былъ прибыть съ Кавказа другой стрѣлковой батальонъ, и размѣстили въ селахъ по тракту къ Новохоперску. Такимъ образомъ только въ половинѣ ноября, когда завернули хорошіе морозы и выпалъ глубокий снѣгъ, мы отправились къ мѣсту назначенія.

На четырнадцатый день батальонъ вступилъ въ Новохоперскъ. Городъ, расположенный на крутомъ берегу Хопра, имѣлъ всего двѣ церкви и постройки напоминалъ уѣздные города средней руки. Черезъ нѣсколько дней роты разошлись на широкія квартиры, и это движеніе произвело въ уѣздѣ свое дѣйствіе. Видъ солдатъ, идущихъ въ строю, всегда дѣйствуетъ внушительно, а слухи о недавнихъ погромахъ наводили на всѣхъ страхъ.

Упомянутыя нами Красненькое и Пыховка населены были малороссами, какъ извѣстно, народомъ упрямымъ и несговорчивымъ, поэтому въ каждое изъ этихъ селъ было поставлено по ротѣ. Жители перваго оказались благоразумнѣе, Пыховка же выказала большое упрямство, и тамъ произведена была жестокая экзекуція. Я находился въ другой ротѣ и зналъ о происшедшемъ только по рассказамъ товарищей. Усмиреніе Пыховки такъ повліяло на всю мѣстность, что мы простояли зиму совершенно покойно. Обострившіяся отношенія между крестьянами и помѣщиками раз-

рѣшались мирнымъ путемъ, и мы, переведенные въ Новохоперскъ для поддержанія порядка, бездѣйствовали всю зиму и вели скучную жизнь за холустья.

Наступило лѣто, мы отбыли лагерный сборъ подъ городомъ и опять разошлись по селамъ. Стоянка солдатъ по хатамъ считалась тогда несколько не мѣшавшей учить войска и поддерживать въ нихъ воинскій духъ и дисциплину. Поэтому роты стояли бы и стояли на широкихъ квартирахъ, но батальонный штабъ очень терпѣлъ, не имѣя подходящихъ помѣщеній. Начальству пришлось уступить просьбамъ нашего командира, и насъ перевели въ сосѣдній городъ Тамбовской губерніи, Борисоглѣбскъ. Это былъ уголокъ другого сорта. Въ немъ начинало ясно проявляться вѣяніе новой жизни. Оживляющимъ лицомъ являлся Дмитрій Васильевичъ Садомцевъ, бывшій уѣзднымъ предводителемъ дворянства. Мировые посредники, избранные имъ, отличались большой энергіей и умѣло относились къ своимъ обязанностямъ, поэтому столкновений не было съ самаго начала эмансипаціи. Всюду, гдѣ возникали недоразумѣнія, Садомцевъ являлся самъ на мѣсто, и все умиротворялось. При такомъ положеніи дѣлъ мы были вполне увѣрены, что тишина нигдѣ не будетъ нарушена и насъ не потребуютъ, какъ военную силу.

Однако наша увѣренность оказалась заблужденіемъ. Въ концѣ мая, когда Садомцевъ уѣхалъ въ землю Войска Донского, гдѣ у него въ степи было заарендовано двѣнадцать тысячъ десятинъ общественной земли, въ имѣніи князя Г. возникли

безпорядки. Ни увѣщанія мирового посредника ни угрозы исправника не могли возстановить согласія между княжескимъ управляющимъ и временно-обязанными крестьянами, обязавшимися отработать помѣщичью землю. Тогда полетѣло донесеніе тамбовскому губернатору. Тотъ снесся съ корпуснымъ командиромъ, а отъ него пришло распоряженіе двинуть двѣ роты нашего батальона для умирненія бунтовавшихъ.

Опять вереница подводъ, на которыхъ усажены были солдаты, опять степная дорога и на этотъ разъ палящіе лучи солнца.

Въ имѣніи, куда мы пріѣхали, не было барскихъ хоромъ. Въмѣсто помѣщичьяго дома, нѣсколько лѣтъ назадъ сгорѣвшаго, построены былъ флигель, гдѣ и жилъ управляющій имѣніемъ. Такъ какъ кромѣ офицеровъ, прибывшихъ съ ротами, собрались въ имѣніе: мировой посредникъ, исправникъ, становой приставъ, жандармскій офицеръ, командовавшій присланными ротами майоръ и докторъ, то помѣстить всѣхъ въ господскомъ домѣ оказалось невозможнымъ, и намъ отведены были крестьянскія хаты, чему мы отчасти были рады, такъ какъ не забыли неловкости, которую ощущали, пользуясь гостепріимствомъ управляющаго господъ Протасовыхъ.

Полагая, что непокорные крестьяне такъ же, какъ и гагариновскіе, покинутъ свои избы и разбредутся, куда кто можетъ, мы были очень удивлены, увидя нѣсколько группъ домохозяевъ, стоявшихъ въ разныхъ мѣстахъ деревенской улицы. Пропуская насъ мимо себя, они снимали шапки и почтительно кланялись, но по ихъ блѣднымъ, вы-

тянутымъ лицамъ можно было понять, съ какимъ чувствомъ они встрѣчали незваныхъ гостей. Не-хорошо было и у насъ на душѣ. Отвѣчая на ихъ поклоны, никто изъ насъ не рѣшался заговорить съ кѣмъ-нибудь. Зная уже по опыту, какими отвратительными подробностями сопровождается „усмиреніе“, я заранѣе представлялъ себѣ эти лица въ томъ унижительномъ положеніи, въ какомъ были передъ нами жители Гагаринова. Особенно тягостно было сознаніе, что никто не въ силахъ вернуть того, что случилось, и кара явится неизбѣжнымъ эпилогомъ деревенской драмы. Еще тяжелѣе намъ стало, когда, войдя въ хату, увидѣли плачущихъ женщинъ и дѣтей. Мы пробовали утѣшать ихъ и говорили, что „Богъ милостивъ, и все обойдется благополучно“, но никто не хотѣлъ этому вѣрить. Одна древняя старуха, помнившая хорошо старину, съ отчаяніемъ отвѣтила намъ:

— И-и, батюшка! Годковъ сорокъ тому назадъ тоже къ намъ солдаты присылали, такъ и теперь вспомнить страшно. Окромя того, что не осталось во дворахъ ни теленка, ни поросенка, ни курицы, что хворосту обломали обѣ мужицкія спины—ужасти!

На наши увѣренія, что теперешніе солдаты не таковы и не посмѣютъ безобразничать, а будутъ довольствоваться тѣмъ, что дадутъ хозяева, старуха грустно покачала головой и, махнувши рукой, вышла изъ избы.

Отдохнувъ послѣ утомительной дороги, мы пошли въ усадьбу узнать, въ какомъ положеніи находится дѣло, ради котораго мы пріѣхали, и долго ли намъ придется пробыть въ душной избѣ и валяться на соломѣ.

Когда мы вошли въ домъ, тамъ въ большой комнатѣ, вокругъ стола, сидѣли перечисленные выше начальствующія лица, и тутъ же стоялъ управляющій. Это былъ плотный мужчина среднихъ лѣтъ, съ лысиной на теменѣ, бритой бородой и большими усами. Споръ шелъ очень горячій, но не приводилъ ни къ чему, такъ какъ поведеніе крестьянъ приносило экономіи громадныя убытки. Несогласія возникли отъ слѣдующаго: до эмансипаціи въ имѣніи существовала барщина; когда же наступила воля, крестьяне, получившіе свободу, желали отдѣлаться отъ сношенія съ ненавистнымъ управляющимъ, но онъ настаивалъ на томъ, чтобы поля убирались прежнимъ порядкомъ. Долго шли препирательства, но мировой посредникъ, не имѣя возможности отказать князю Г., склонилъ крестьянъ къ уступчивости, и они подписали соглашеніе. Вотъ тутъ-то и пошла кутерьма. Г. В. сталъ привязываться ко всякой малости. Проѣзжая по полю, онъ придирался ко всему и безпощадно заставлялъ перепахивать десятины, если нападать на огрѣхи; на покосахъ требовалъ, чтобы трава срѣзалась какъ бритвой. Бабамъ тоже не было спуска, и онѣ должны были дѣйствовать серпами такъ, какъ требовалъ управляющій. Долго мучились мужички, наконецъ, не выдержали и гдѣ-то, на покосѣ, такъ распорядились съ ненавистнымъ человекомъ, что онъ едва живой вырвался изъ ихъ рукъ, а въ заключеніе всего объявили, что на барскія поля больше не выйдутъ, а хотятъ перейти на оброкъ. Но такъ какъ стоялъ май мѣсяцъ, когда рабочихъ рукъ въ той мѣстности въ горячую пору и

добыть почти невозможно, а застѣяны были тысячи десятинъ, то уступить бунтовавшимъ значило оставить неубранными громадныя пространства и этимъ причинить помѣщику вредъ. Еще если бы крестьяне вели себя съ тактомъ и обязались при переходѣ на оброкъ убрать поля за плату, а то они поклялись не входить ни въ какія соглашенія, пока имѣньемъ будетъ управлять В. Это-то и понудило его обратиться къ властямъ и требовать защиты. Мировой посредникъ опять хотѣлъ убѣжденіемъ добиться соглашенія, но озлобленные крестьяне не хотѣли ни о чемъ и слышать, чѣмъ и вызвали присылку къ нимъ войскъ.

Высказывая свою претензію, г. В., вѣроятно, вспоминалъ расправу, которая была надъ нимъ учинена, и не сдавался. Упираясь на полную довѣренность, полученную имъ отъ князя, онъ требовалъ, чтобъ крестьянамъ ихъ неповиновеніе не прошло даромъ. Особенно гнѣвъ его обращался на бывшаго бурмистра Ивана Евдокимова, который будто бы и былъ главнымъ зачинщикомъ. Провѣривъ, что крестьяне дѣйствительно позволили себѣ насилія, угрожая даже поджечь флигель, и видя, что переговоры ни къ чему не ведутъ, комиссія сдѣлала распоряженіе о созывѣ на утро въ усадьбу всѣхъ домохозяевъ деревень, принадлежащихъ князю Г.

Узнавъ о такомъ постановленіи, мы поняли, что наступаетъ экзекуція, и съ непріятнымъ чувствомъ отправились ночевать въ деревню. Поздно вечеромъ намъ принесли приказъ — къ шести часамъ утра привести роты къ усадьбѣ.

Въ назначенное время мы выстроились въ карре, посреди котораго стояла толпа крестьянъ, числомъ болѣе двухсотъ. За фронтомъ появились неизмѣнные спутники усмиренія — громадные вороха розогъ. Но прежде, чѣмъ приступить къ наказанію, мировой посредникъ подошелъ къ крестьянамъ, стоявшимъ съ обнаженными головами, и обратился къ нимъ съ прочувствованнымъ словомъ:

— Ребята, еще разъ по-Божески совѣтую вамъ — покоритесь и выходите на работу, которую обязались производить. Не то ваше упрямство не доведетъ васъ до добра. Вы видите, пришли войска, это не шутка. Вамъ не позволять безчинствовать. Если вы смиритесь, то наказанію будутъ подвергнуты немногіе изъ васъ, какъ зачинщики, а станете упорствовать — пеняйте на себя.

Толпа загудѣла, и отъ нея выдѣлился высокій крестьянинъ лѣтъ сорока пяти. Это былъ мужчина атлетическаго сложенія, съ сильнымъ выразительнымъ лицомъ и большой свѣтло-русой бородой.

— Ваше высокоблагородіе, — началъ Иванъ Евдокимовъ, бывший до освобожденія вотчиннымъ бурмистромъ, — нешто мы лиходѣи и желаемъ себѣ лиха? Но ежели терпѣть далѣе невозможно? До воли Иванъ Михайловичъ кровь изъ насъ пилъ и не токмо, что нашего брата-мужика обижалъ, а бабъ позорилъ. Неужели жъ и теперь намъ терпѣть отъ него? Мы всѣ передъ вами, дѣлайте съ нами, что указано, а мы отъ своего слова не уйдемъ и покоряться ему не станемъ.

Мировой посредникъ пытался заставить замолчать Ивана Евдокимова, но его могучій голосъ

гремѣлъ какъ труба. Наконецъ исправникъ не выдержалъ и, выдвинувшись впередъ, закричалъ:

— Молчать, скотина! Передъ кѣмъ ты стоишь? Какъ смѣешь возвышать голосъ? Вотъ я тебѣ! Господинъ майоръ, прикажите-ка разложить его.

Ивана Евдокимова схватили и повалили на землю.

Я не могъ себѣ представить ничего подобнаго, что происходило передъ моими глазами, да и теперь, когда прошло сорокъ четыре года, при воспоминаніи на меня находитъ ужасъ. Выдержавъ четыреста розогъ, этотъ спартанецъ ни разу не крикнулъ, а только едва слышно стоналъ. Какую надо было имѣть желѣзную натуру, чтобы такъ стоически выносить жесточайшее наказаніе?

При первыхъ ударахъ исправникъ сказалъ ему:

— Тебя будутъ сѣчь до тѣхъ поръ, пока ты не покоришься и не выразишь желанія итти на барскую работу.

Но Иванъ Евдокимовъ остался непоколебимымъ. Сколько бы сыпать ему исправникъ, отличавшійся жестокостью, неизвѣстно, если бы докторъ не подошелъ къ нему и негромко не сказалъ:

— Это не смертная казнь. Онъ можетъ умереть...

Заявленіе врача подѣйствовало, и несчастнаго отпустили. Онъ всталъ, застегнулся, перекрестился большимъ крестомъ и, поднявъ руки къ небу, громко проговорилъ:

— Господи, Ты видишь правду!

Эти слова, вырвавшіяся съ усиліемъ, произвели на всѣхъ потрясающее дѣйствіе.

— Отвести его подъ арестъ!—закричалъ исправникъ.

Послѣ увода Ивана Евдокимова экзекуція продолжалась, и наказано было человѣкъ сорокъ.

Большинство не выдерживало физической боли и скоро выкрикивало согласіе итти на работу, но добрый десятокъ слѣдовалъ примѣру своего вожака, и имъ также „всыпано“ было по двѣсти ударовъ.

Отупѣлая отъ страха и злобы толпа стояла молча, но по выраженію лицъ можно было понять, какая тяжесть лежала у всѣхъ на душѣ.

Когда крестьяне были отпущены по домамъ и солдатъ повели по квартирамъ, во дворъ на взмыленной тройкѣ вѣхалъ тарантасъ, а въ немъ со своимъ письмоводителемъ сидѣлъ уѣздный предводитель дворянства Садомцевъ. Увидя, что сотскіе подбираютъ разбросанныя по лужку розги, Дмитрій Васильевичъ приподнялся съ сидѣнія и, обращаясь къ неудалившимся еще мировому посреднику, исправнику и другимъ лицамъ, распоряжавшимся „усмиреніемъ“, громко закричать:

— Натѣшились? Воспользовались моимъ отсутствіемъ и учинили расправу? Какой стыдъ, какой позоръ! Клянусь, что съ этого дня въ нашемъ уѣздѣ не повторится того, что разыгралось сегодня, или я отойду отъ того дѣла, которому служу.

Проговоривъ это, онъ выпрыгнулъ изъ тарантаса и поспѣшно вошелъ въ домъ. Сбросивъ накидку, Дмитрій Васильевичъ въ волненіи прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и, остановясь, въ порывѣ негодованія заговорилъ:

— Что мы дѣлаемъ... Что мы дѣлаемъ? Кѣмъ мы выставляемъ себя въ глазахъ всего свѣта? Извергами, безбожными истязателями! Что подумаетъ о насъ нашъ добрый обожаемый монархъ? Въ его душѣ можетъ зародиться сожалѣніе, что онъ поторопился даровать свободу и права человѣка людямъ, считавшимся до сихъ поръ выючнымъ скотомъ. При одномъ сомнѣніи, что это можетъ случиться, я желаю умереть, чтобъ не дожить до той минуты, когда почувствую, что я вмѣстѣ съ другими — жалкое, ничтожное существо, а не сотрудникъ и помощникъ въ дѣлѣ величайшей реформы. Царямъ рѣдко говорятъ правду, и въ этомъ наше несчастіе. Кто ему скажетъ, что въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ есть благородныя сердца, которыя бьются любовью къ родинѣ и преклоняются передъ волей великаго государя? Сегодняшнее событіе могутъ представить, какъ проявленіе злобы, съ которой обрушился владѣлецъ на своихъ бывшихъ рабовъ, а мы, кому ввѣрено руководить дѣломъ, оказались неспособными быть достойными и вѣрными слугами своего государя. Отчего меня не было?! Отчего меня не было?! Задохнуться можно отъ отчаянія!..

Въ эти минуты Садомцевъ быть дивно хорошъ. На его простомъ, красивомъ русскомъ лицѣ, съ черными усами и небольшой бородкой выразился порывъ вдохновеннаго общественнаго дѣятеля. Всѣ стояли какъ окаменѣлые, и ни у кого не нашлось смѣлости произнести хоть одно слово. Зная, какой любовью пользовался Дмитрій Васильевичъ у губернатора и какъ велика была его популяр-

ность въ обществѣ, даже исправникъ, обыкновенно рѣзкій, молча стоялъ, отвернувшись.

Садомцевъ выпилъ полстакана воды изъ графина, стоявшаго на столѣ, и немного успокоился.

— Есть арестованные?—спросилъ онъ отрывисто.

При этомъ вопросѣ г. В. выступилъ и почти тельно доложилъ:

— Шесть человѣкъ намѣчены къ удаленію изъ общества, какъ вредные люди.

— Въ ссылку?! — побагровѣвъ, закричалъ Садомцевъ и близко подошелъ къ управляющему.

Тотъ попятился. Предводитель продолжалъ:

— Вотъ они, вершители судебъ! Какой-то проходимецъ, темный субъектъ и распоряжается не только имуществомъ, а даже жизнью людей. Вы доносили, что васъ хотѣли убить и въ клочья разорвали платье, — это ложь и клевета! А что вы безбожно притѣсняли крестьянъ, — всѣ знаютъ. Сосланъ никто не будетъ — порукой въ томъ моя честь. Я немедленно ѣду въ Тамбовъ и доложу губернатору, чтобы сослали не этихъ несчастныхъ, а выслали васъ, какъ лицо, вносящее смуту и нарушающее общественное спокойствіе. Вашему князю представлено будетъ дѣло не такъ, какъ доносили вы, а какъ оно было на самомъ дѣлѣ.

Проговоривъ это, Садомцевъ взялъ шапку и объявилъ:

— Арестованныхъ освободить. Это я беру на свой страхъ, а то, что здѣсь произошло, будетъ мною тщательно разсмотрѣно, и сдѣлано надлежащее представленіе.

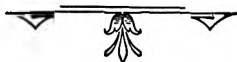
Онъ крикнулъ, чтобъ подавали лошадей, и вышелъ на крыльцо. Мы послѣдовали за нимъ.

Если бъ не боязнь показаться безтактными и слашавыми, мы бросились бы всѣ обнимать Дмитрія Васильевича, такъ геройски вступившагося за тѣхъ, кого некому было защищать.

Предсказанія старухи не сбылись. Не только поросенокъ или теленокъ, но даже курица не была тронута ни въ одномъ дворѣ. Удивленные крестьяне никакъ не ожидали во время экзекуціи такого отношенія къ себѣ и всей деревней высыпали провожать насъ, когда мы садились на подводы, чтобъ тронуться въ обратный путь.

Послѣ этого случая я никогда уже не являлся въ составъ отряда усмирять „бунтовавшихъ“, и тяжелый случай съ крестьянами князя Г., гдѣ представитель помѣщика сводитъ съ освобожденными послѣдніе счеты, былъ и для насъ послѣдними тяжелыми днями, когда оканчивалось чело-
вѣческое безправіе.

Какъ мы слышали потомъ, представленіе Садомцева было уважено: никто изъ крестьянъ не былъ сосланъ, а г. В. княземъ Г., по желанію губернатора, былъ удаленъ отъ управленія имѣніемъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Въ дни тревоги	47
Забытая рота	136
Эвакуація	224
Съ крестомъ въ рукѣ	255
Дикарь	322
Улики	341
Послѣдніе счета	357

